Василий
АРДАМАТСКИЙ

ПЕРЕД ШТОРМОМ





Василий
АРДАМАТСКИЙ

ПЕРЕД ШТОРМОМ

(Роман-хроника)

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1989

ББК 63.3(2)522

А79

Ардаматский В. И.

А79 Перед штормом: (Роман-хроника).— М.: **Политиздат**, 1989.— 304 с.: ил.

ISBN 5—250—00518—7

Перу известного советского писателя В. Ардаматского принадлежат хорошо знакомые читателю романы «Сатурн» почти не виден», «Возмездие», «Суд», «Последний год» и многие другие.

В своей новой книге писатель, используя архивные (в том числе и зарубежные) документы, давние публикации, мемуары, восстанавливает подлинную историю попа Гапона, сыгравшего трагическую роль в годы первой российской революции.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

А $\frac{0902020000-081}{079(02)-89}$ 268—89 **ББК 63.3(2)522+84Р7**

Заведующий редакцией *К. К. Яцкевич*

Редактор *Н. Б. Чунакова*

Младший редактор *Л. Г. Еремина*

Художник *О. А. Карелина*

Художественный редактор *А. Я. Гладышев*

Технический редактор *Н. К. Капустина*

ИБ № 7744

Подписано в печать с матриц 31.03.89. Формат $70 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 13,30. Усл. кр.-отт. 13,65. Уч.-изд. л. 14,24. Доп. тираж 200 000 экз. Заказ № 4660. Цена 70 коп.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

ISBN 5—250—00518—7

ОТ АВТОРА

Меня спрашивали, почему я вдруг решил написать о Гапоне?

Иногда вместо ответа я спрашивал: а что вы знаете о нем?

И слышал то, что и я знал еще со школьных лет. Было у меня к Гапону и нечто личное, вроде бы и не очень-то значительное, однако хранившееся в глубине памяти и сейчас всплывшее даже из далекого детства, когда я вместе с родителями жил в своем родном уездном городке Духовщина, в собственном доме об три окна на Смоленскую улицу, одно из которых застил посаженный отцом каштан.

У нас в столовой на стене висела картинка «Кровавое воскресенье», наверно, вырезанная из какого-нибудь журнала. Однажды я эту картинку раскрасил: подбелил снег на площади перед Зимним дворцом, подчернил фигуры убитых, рассеянные по площади, и распахнутую рясу попа Гапона, стоящего с поднятым вверх крестом, разбрызгал по снегу красные пятна крови. Не знаю, но, может быть, именно это раскрашивание как бы приблизило меня тогда к тому страшному воскресенью. А тут еще отец вдруг сказал, что он в это время был в Петербурге студентом. Я накинулся на него с расспросами, как это все происходило, но, к моему великому огорчению и даже досаде, оказалось, что ничего этого он не видел, так как именно в эти дни гостил на рож-

дественских каникулах в Нижнем у своего товарища по институту. Я не мог понять, как он мог уехать в такие дни?

Но вскоре та самая раскрашенная мной картинка послужила причиной запомнившейся мне крупной ссоры отца с местным священником Соколовым, частенько бывавшим в нашем доме. Отец был школьным учителем пения и одновременно регентом хора в местном соборе, и оттуда, наверное, шла их дружба, они любили сиживать за графинчиком, обсуждая всякие дела земные. Я с большим удовольствием слушал их беседы. Соколов был красивый моложавый старик с пушистой черной бородкой, стелившейся на его широкой груди, в которой, как в глубоком колодце, гулко гудел мягкий и сочный басовитый голос.

В тот день, войдя в столовую, где на столе уже стоял приготовленный графинчик с закуской, священник приблизился к картинке, долго близоруко ее рассматривал и спросил сердито:

— Кому пришло в голову размалевывать это красками?

Отец кивнул на меня. Соколов отвернулся от картинки и сел за стол:

— Я бы своему сыну этакое не позволил. Зачем подмалевывать Гапона, этого богом проклятого душегубца?

— Почему же это он душегубец? — возразил отец.— Стрелять в рабочих приказал царь. Так? Значит, он и есть душегубец!

Соколов быстрым движением руки вспушил свою бороду и осудительно покачал головой:

— Эх, Иван Степанович, поздно нам с вами судить царя, если его самого пристрелили товарищи рабочие. Так что, можно сказать, обе стороны как бы в расчете,— он опрокинул рюмку внутрь бороды,

сладко крякнул и наколол вилкой селедочку.— Так что царство небесное его величеству, а Гапону — прохвосту и лжесвященнику — в аду кипеть в котле огненном.

— А царь, значит, по-вашему,— воскликнул отец,— гуляет с царицей в райских кущах?

Соколов обстоятельно прожевал селедочку и закатил глаза к потолку:

— Всевышний — судья всему и всем. Всевышний, Иван Степанович, а не мы с вами, грешные.

Отец как-то торопливо глотнул из своей рюмки и заговорил энергично и раздраженно:

— Ну, нет уж, дорогой наш батюшка, категорически не согласен. Я давно наблюдаю эту неувязочку с вашим всевышним: что же это он — всеведущий — сперва допустил такое безобразие (кивок на картинку), там людей поубивали, а потом он один и судит, и определяет, кто грешен в том, а кто свят? А люди для него что? Пешки без всякой цены и без личного мнения?

Соколов вскочил, опрокинув стул, и зарокотал гневным басом:

— Давно наблюдаю, Иван Степанович, что нет у вас истинной веры в бога, а без нее вы как слепой и ничего вам не дано понять, даже собственного богохульства!

Вскочил из-за стола и отец. Они стояли друг против друга, и отец кричал в лицо Соколову:

— Это вы нас слепыми делаете! А каждое наше прозрение объявляется богохульством! Знаете, в бога я верю, но при этом не зажмуриваюсь до слепоты! Вот так! А что касается этого (кивок на картинку), так что Гапону, что царю одно место — в аду! И нигде больше! Иначе грош цена вашей божьей справедливости!

Соколов молитвенно вскинул обе руки:

— Господи! Прости меня, грешного, что дошел до такого! — с этими словами он выскочил из столовой. Хлопнула дверь, и я увидел, как он, обеими руками подхватив рясу, пробежал по двору к калитке, забыв в передней на вешалке черную шляпу, которая потом долго висела там как знак того, что примирения не было...

Эта ссора произвела на меня сильное впечатление. Конечно, я был целиком на стороне отца, и спустя немного времени это нашло свое выражение.

В те двадцатые годы в нашем городе, в народном доме, в рождественские дни устраивались молодежные балы-маскарады с премиями за лучшие костюмы. Надо сказать, что большинство костюмов бывали на политические темы и в карнавальной сутолоке можно было видеть Чемберлена в картонном цилиндре, Антанту в вызывающем платье, битых белых генералов в драных галифе с отпечатком сапога на ягодицах и т. п. В этот раз я и мой дружок и сосед по улице Мотя Фраймович приготовили для карнавала костюм «Царь и поп Гапон». Мотя был царь, на нем балахоном висел сюртук с эполетами из золоченой бумаги, я в поповской рясе изображал Гапона. Мы срепетировали спор царя с попом о том, кому из них положен рай, а кому — ад. В момент приближения к нам комиссии, присуждающей призы, должен был появиться третий участник номера — Амитька Шейдин — в рабочей блузе, с молотом в руке и прокричать приговор: «Обоих — в ад!» Но Амитька опоздал. Комиссия уже смотрела другие костюмы, когда Амитька наконец объявился и начал диким голосом выкрикивать свой приговор. Никто ничего не понимал. Никакого приза нам не дали.

В тот год меня принимали в комсомол. На бюро

уездного комитета все шло хорошо, но вдруг взял слово секретарь укома Леня Ковалев и сказал: «Принять его можно, но надо указать, чтобы он усилил свое политическое самообразование, а то он давеча на нашем карнавале показал костюм абсолютно непонятного политического смысла». Так и было записано. Вот что наделал мне этот чертов поп Гапон!

И совсем не случайно на выпускном экзамене в девятилетке я взялся за сочинение на тему «Кровавое воскресенье» и получил за него среднюю оценку. Учитель написал: «Все очень запутано и непонятно». Опять этот Гапон давал мне о себе знать...

Спустя десять с небольшим лет, в блокадном Ленинграде, в покинутой людьми замороженной квартире я подобрал на полу потрепанную книжку под заглавием «Убийство Гапона», на обложке красовался его благообразный, как у Христа, лик. Я взял книжку, а вечером, в гостинице, при свете коптилки читал под грохот артобстрела. Такое чтение не забывается, тем более что из книжки я узнал, что Гапон был порядочный негодяй и вдобавок агент царской охранки.

После войны у меня началось увлечение историей, которое не увяло и по сей день. История стала и темой моей литературной работы, отсюда мои документальные романы «Возмездие», «Последний год» и другие. А лет восемь назад я занялся сбором материала о Гапоне. Возникла внутренняя потребность для самого себя определить, какое же место в истории он занимает? Есть ли у него вообще там какое-нибудь место? Тут мне неожиданно помогла одна находка — подробная запись выступления А. В. Луначарского в Ленинграде перед студентами, будущими историками, сделанная одним из слушателей, потом учителем истории Фраминским. Луна-

чарский сказал так: «Гапон личность преотвратительная, но, увы, историческая, хотя он в нашу историю пробрался с черного хода и остался там только потому, что произошло это, когда Россия была на сносях революцией, а все при том оказавшиеся не могут не стать для нас объектами любопытства, а то и изучения». Эти слова стали для меня своеобразным ключом подхода к личности Гапона. В том, что писать о нем надо, я не сомневался...

И как же можно? Знать, что в нашей истории, в истории революции было такое «Кровавое воскресенье» 1905 года, когда по приказу царя была безжалостно расстреляна мирная манифестация петербургских рабочих — что ускорило революционный взрыв,—и при этом ничего не знать о человеке, который ту манифестацию спровоцировал, но и сам шел вместе с рабочими, попал под пули и в живых остался случайно?

Итак, поп Гапон. Кто он такой? Полицейский провокатор — это мы знаем и повторяем со школьной скамьи, и все нам о нем вроде бы ясно. А вот Горький, который лично знал Гапона, в течение многих лет не смог до конца разобраться, кто же он такой, этот поп? Он видел Гапона вечером 9 января, тот произвел на него жалкое впечатление («ощипанная курица»), но это не помешало Алексею Максимовичу помочь Гапону скрыться от полиции и даже уехать за границу. Главный вопрос, на который Горький долго искал ответ, был такой: как же Гапону удалось поднять и повести за собой десятки тысяч рабочих?

Эта моя работа — попытка ответить на этот вопрос, проведя тщательное исследование и судьбы самого Гапона, и исторических обстоятельств, в которых он появился и действовал, став серьезной опасностью для революционного движения, и РСДРП по-

вела против Гапона и гапоновщины решительную борьбу.

Он действительно пробрался в историю с черного хода, но пробрался же! А в истории, особенно в истории революции, не должно быть белых страниц, а может, даже белых строчек.

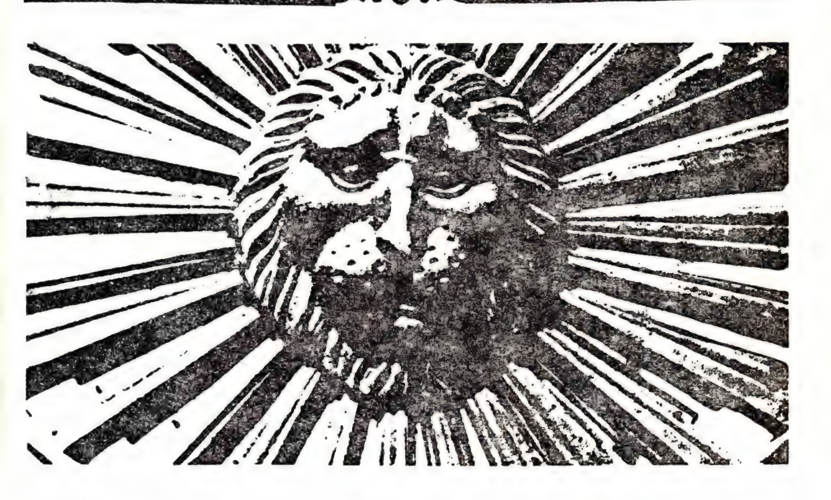
Среди личностей, сыгравших какую-то роль в ту предштормовую годину, Гапон занимает свое место временщика, случайно прибившегося к революции, попытавшегося ее предотвратить. Но расстрел спровоцированного им мирного шествия рабочих к царю стал сильнейшим толчком к революции, ибо тот расстрел был и расстрелом веры рабочих в царя-батюшку, вызвал их классовую ярость к монарху и монархии. Нет, нет — все не так просто с Гапоном, как кажется...

Гапон как личность формировался в совершенно точном времени и в определенных обстоятельствах накануне революции. К звездному часу его вели и церковь с ее невежественными иерархами (и здесь в судьбе Гапона явно просматривается похожесть на судьбу Распутина), и многорукая царская охранка в лице знаменитого Зубатова, которому Гапон пришелся ко двору, и партия эсеров, руководству которой в одночасье взбрело в голову заработать на Гапоне политический капитал, что даже один из ее лидеров — Б. Савинков потом назвал «печальным шедевром нашего мелкого политиканства». Его вели и различные по чину царские сановники, пожелавшие приложить руку к появлению нового пророка, спасителя России и трона, и, наконец, само время, которое умный генерал охранки Спиридович назвал «тусклой порой неверия в какие бы то ни было объективные идеалы и слепых надежд на чудо. А в этой сумятице общественного сознания рождались и смута, и такие спасители России, как поп Гапон...».

Сверх всего, Гапона вел по жизни его собственный изворотливый ум авантюриста и пробойно-нахальный характер человека, который во имя популярности и славы был готов на все.

Мне остается только пригласить вас, читатель, вместе со мной заглянуть в прошлое и понаблюдать, как там происходило то, что так или иначе было связано с Гапоном...

I



Начальник московской охранки Сергей Васильевич Зубатов не пробрался, а вошел в историю как организатор легальных, под контролем полиции, объединений рабочих с целью отвлечения их от политической борьбы. Пресловутая зубатовщина названа Лениным «полицейским социализмом».

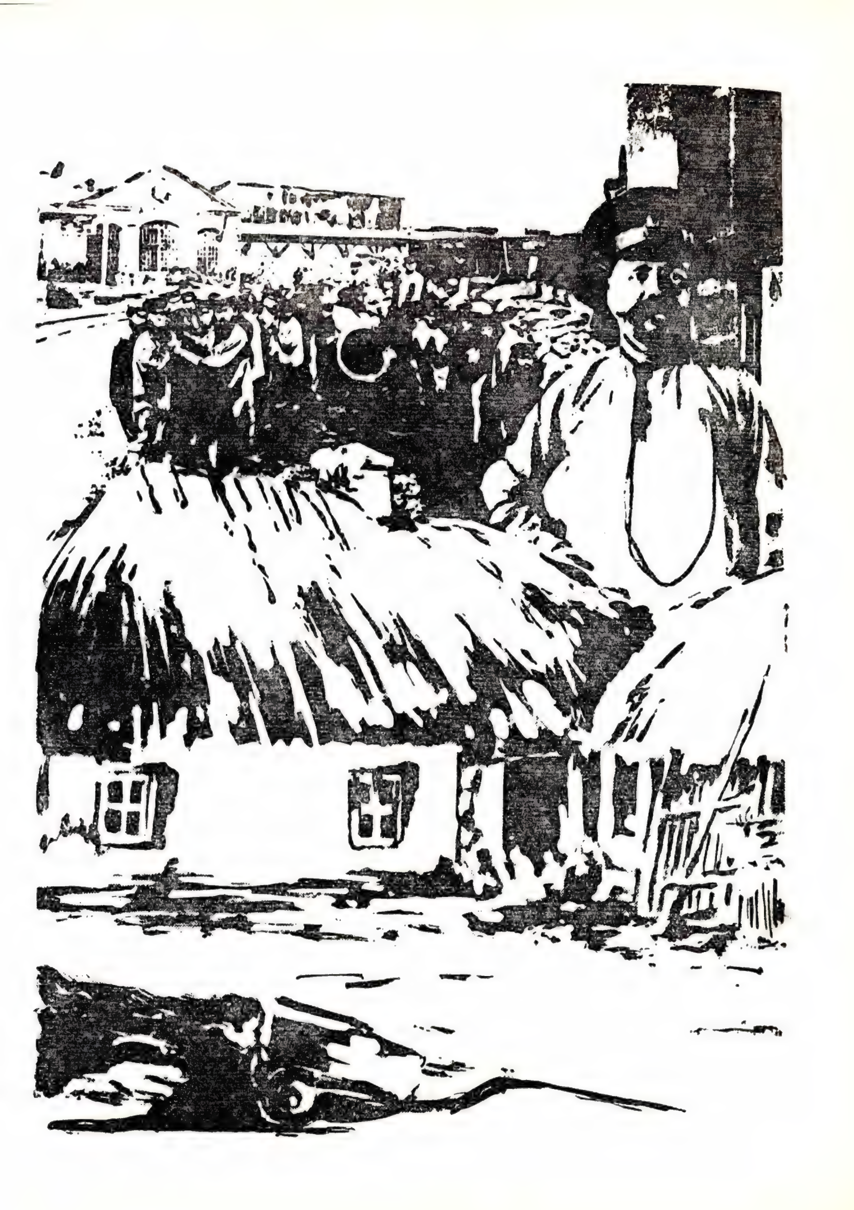
Поскольку Зубатов сыграет решающую роль в судьбе Гапона и по сути станет его духовным наставником, здесь к месту рассказать, кто он такой, сам Зубатов? Откуда взялся? Как стал одним из столпов царской охранки?

Это было во второй половине прошлого века, когда революционное движение в России переживало болезненный кризис. Партия «Народная воля», изжив себя, посте-

пенно уходила с арены политической борьбы, заплатив за свои ошибки жизнью многих своих замечательных представителей. На террор народовольцев против царских сатрапов власть ответила беспощадным террором. Но на смену народовольцам уже поднималась родившаяся в глубинах рабочих масс партия социал-демократов. Однако царская охранка продолжала наносить удары по народовольцам, поставив своей целью, по выражению Зубатова, «вырубить этот лес до последнего пня».

До Зубатова начальником Московского охранного отделения был Бердяев — умный и хитрый жандарм, которого тот же Зубатов впоследствии назовет своим главным учителем и факелом, осветившим целую эпоху служения охранки российскому престолу, явно имея в виду «эпоху» провокаторства как главного метода в ее работе.

На окраине Москвы, в доме тогда еще уцелевшего народника Денисова, тайно собиралась группа молодых людей, главным образом студентов, которые толковали о политике, спорили о том, как лучше вести борьбу с самодержавием. Однажды, зимой 1887 года, там появился юноша в студенческой куртке, которого хозяин дома представил только по имени — Сергей. Он принес с собой рукопись известного в то время общественного деятеля Гольцева «О Земском соборе» и начал читать ее вслух. Рукопись вызвала яростный спор, ее критиковали за умеренность изложенной в ней политической программы и говорили о том, что надо продолжать придерживаться идей и принципов народовольцев. Спустя несколько дней участники этой группы были арестованы. Среди арестованных оказался и Леонид Меньщиков, который вскоре стал сотрудником московской охранки и проработал на этом поприще двадцать лет. В 1909 году он эмигрирует за границу, где выступит с разоблачением. Меньщиков будет утверждать, что только для того и пошел в охранку, чтобы разузнать подробно о ее деятельности, а затем разоблачить. В Москве в 1925 году в историко-революционной библиотеке



журнала «Каторга и ссылка» вышла книжка Л. Меньщикова «Охрана и революция», в которой описана и история появления в охранке Зубатова. Тогда же, в 1887 году, оказавшись в тюрьме, Меньщиков довольно быстро установил, что их кружок в доме Денисова «завалил» тот самый студент Сергей, который и стал потом Сергеем Васильевичем Зубатовым, начальником Московского охранного отделения.

У предыдущего начальника, Бердяева, по свидетельству Меньщикова, был особый метод обработки арестованных, который он называл «чайным»: когда он за чашкой чая проводил душеспасительные беседы с арестованным, добиваясь его согласия стать агентом охранки. Через это бердяевское чаепитие прошел и сам Меньщиков. Прошел через него и Зубатов. Но сотрудником охранки он стал позже, а сначала активно поработал провокатором. Одной из его первых «побед» стала выдача революционной группы народовольца М. Гоца, которого полиция очень боялась, но долго не могла к нему подобраться. В общем, Меньщиков оспаривает утверждение, будто родоначальником провокации был Зубатов, и считает изобретателем этого метода Бердяева. Так или иначе, но Зубатов сделал свою стремительную карьеру охранника, искусно и широко применяя именно провокаторство, и это он руководил такими крупными провокаторами, как З. Жученко, А. Серебрякова, многие другие и, наконец, Е. Азеф.

Особую, какую-то прямо патологическую слабость Зубатов питал к провокаторам в юбке. Жученко он называл не иначе как «мое солнышко Зиночка», Серебрякову именовал «наша мамочка». Однажды он сообщил «нашей мамочке», что за ее блистательную деятельность по охране монархии премьер-министр Столыпин назначил ей княжескую пожизненную пенсию — 1200 рублей в год, и произнес: «Ты навеки вошла в историю державной России, и наша держава будет тебе во веки веков благодар-

на». Об этом рассказала сама Серебрякова, стоя перед советским судом, так как уже при Советской власти она была арестована и осуждена по заслугам. Ей пришлось ответить за всех, кого она отправила на виселицу.

Меж тем сам Зубатов получил за «мамочку» из высочайших рук орден Владимира, а его верный подручный Евстрат Медников, который ее «вел»,— большую денежную награду. И для Жученко Зубатов выхлопотал пожизненную пенсию еще посолиднее, чем Серебряковой,— 3600 рублей. Ей вообще повезло больше. Даже когда Жученко была разоблачена, она с помощью Зубатова смогла и это обратить в свою пользу, объявив себя беззаветной слугой самодержавия, и предложила эсеру Бурцеву* опубликовать ее заявление в печати. По этому поводу Зубатов писал ей в 1909 году: «Очень рад, дорогой мой друг, что мы сошлись с вами во взглядах на жизнь в дальнейшем открыто (т. е. уже не тайно.— *В. А.*). Перед обществом вы прекрасно отчитались и объяснились, вполне реабилитировав значение секретной агентуры... Не устроиться ли вам официально при департаменте в качестве руководительницы и воспитательницы секретной агентуры? Выведите мне, пожалуйста, агентурных внучат... Это 1) даст исход случайно оборвавшейся вашей кипучей энергии и займет вас с головой; 2) высоко полезно будет для дела». Но Жученко его советам не вняла, поселилась в Бельгии, где в покое и продолжала свою черную жизнь...

В своем кругу Зубатов любил рассказывать, что двадцатый век он встретил на посту в служебном кабинете Московского охранного отделения в Гнездниковском переулке. И это была правда.

В последний декабрьский вечер уходившего в историю столетия он допрашивал арестованную накануне учительницу Лисакову из подмосковного местечка Люберцы. Са-

* Бурцев В. Л. (1862—1942) — один из издателей журнала «Былое», на страницах которого разоблачались многие провокаторы царской охранки.

ма по себе она не представляла для него ни особой трудности, ни особого интереса. Еще утром Лисакова подтвердила Зубатову все, что уже знала о ней его служба, а теперь рассказывала и нечто новое. Да, у нее на квартире тайно собирался кружок революционно настроенных рабочих, они вслух читали Карла Маркса, обсуждали современную жизнь России, задыхавшейся в атмосфере произвола монархической власти, и высказывали надежду на революцию, которая все изменит и раскрепостит великие силы страны. Но сами они ни в каком заговоре против государя не участвовали. Учительница поименно, с указанием домашних адресов назвала всех членов кружка. Выяснилось, что за большинством из них охранка давно уже следила. Был среди кружковцев токарь с местного завода Грибанов. Охранка имела и о нем свои данные: 34 года, отец двоих детей. Грамотный, много читает. Но религиозный, исправно посещает церковь. Дирекция завода характеризовала его как высококвалифицированного, безотказного рабочего.

Зубатов просил Лисакову рассказать о нем подробней.

— Прекрасный, нравственно чистый человек,— начала та,— одна беда: страшный спорщик, из-за него в кружке все время возникали серьезные споры. Фактически он расколол кружок.

— В чем же была суть спора? — мягко поинтересовался Зубатов.

— Он не понимает роли революционной теории, отвергает всякую политическую борьбу и считает, что рабочие должны бороться за экономические права, а все остальные теории, в том числе и марксизм,— это опасная фантазия, сбивающая с толку рабочего человека. Переубедить его мы не сумели, хотя очень старались, видя его опасность для революционной пропаганды в том, что на заводе у него было немало последователей. Однажды двоих из них он привел в кружок. С ними у нас произошла форменная баталия.

— Удалось их переубедить? — спросил Зубатов небрежно, хотя был весь внимание — речь шла о том, что тогда его как раз очень интересовало: он только начинал создавать свои полицейские объединения рабочих с программой легальной экономической борьбы.

— О нет, куда там,— отрывисто вздохнула Лисакова.

Сделав сбоку на листе протокола допроса запись: «Установить и разработать Грибанова и его друзей», Зубатов поздравил Лисакову с наступлением Нового года и объявил ей, что она свободна и может уехать домой.

А сам еще долго сидел за столом, просматривал дела и размышлял о том, как лучше уберечь от марксистов легальные рабочие объединения. Может, поэтому он будет потом не раз говаривать, что идея этих объединений родилась вместе с двадцатым веком.

К началу века Россия пришла в состоянии быстро развивавшегося экономического кризиса, который прежде всего отозвался на промышленности. Повсеместно фабриканты и заводчики закрывали малоприбыльные предприятия, в стране стремительно росла безработица. На действующих предприятиях хозяева перекладывали всю тяжесть своих убытков на плечи рабочих, произвольно увеличивали продолжительность рабочего дня, снижали расценки, осуществляли грабительскую систему штрафов, рассчитывали за самую малую провинность, и никакой управы на них не было.

Неудачно для России начавшаяся русско-японская война еще больше обострила внутреннее положение в стране и вызвала резкое усиление антимонархических настроений. На малейшую попытку протеста власти отвечали террором.

Большевики бесстрашно и терпеливо разъясняли рабочим, что никто не избавит их от ненавистного гнета, что освободиться от него они смогут только собственными силами. Повсеместно возникали рабочие стачки, забастовки, и в 1905 году в стране бастовало уже почти три мил-

лиона рабочих. Разразилась первая в истории России революция...

Но Зубатов не мог до конца понять всю сложность обстановки и был убежден, что делает все во спасение монархии. Лучшие государственные умы, такие, как председатель Комитета министров Витте, ощущали надвигавшуюся грозу и искали защиты от нее. «Мы не должны,— писал Витте в 1904 году,— пренебрегать никакими возможностями потушить занимающийся пожар». Так что неудивительно, что и он окажется покровителем зубатовщины, а позже и гапоновщины.

В то время Зубатову довелось допрашивать одного студента из Петербурга, который тайно приехал в Москву, чтобы вести революционную агитацию среди солдат Московского гарнизона. Это было нечто новое и очень опасное — революционеры подбирались к армии, главному оплоту династии. Поэтому Зубатов решил провести допрос сам.

Студент был взят еще на вокзале с полным карманом листовок. Был он совсем мальчишка, но, по признанию самого Зубатова, труднее допроса у него не было. То, что этот молодой нахал не отвечал на самые важные вопросы,— ладно. Но он смеялся. Смеялся — и все! Зубатов сделал ему резкое замечание. Студент сказал:

— Вы пытаетесь нарастающую бурю революции остановить растопыренной ладонью, а это же, право, смешно. Даже если вы переловите всех нас, революция все равно грядет.

— Сама собой не грядет,— начал Зубатов.

— Именно сама собой! — весело воскликнул студент.— И вообще, нельзя рассуждать о революции, будучи политически неграмотным. Почитайте Маркса — и вы поймете, что я прав: революция грядет! Она победит неизбежно, и ее совершим не мы, ее глашатаи, а рабочий класс, который вы в темном своем заблуждении считаете необразованным быдлом.

После допроса Зубатов распорядился принести ему Маркса и принялся читать. Об этом он сам расскажет будущему жандармскому генералу Спиридовичу, а тот напишет в своих воспоминаниях, опубликованных в Германии, куда он эмигрирует во время Октябрьской революции:

«Это была моя предпоследняя встреча с Зубатовым. Проездом с юга в Петербург я оказался в Москве и нанес ему краткий визит. Он был полон энергии и своей извечной самоуверенности. С шутками и прибаутками он рассказал мне о самом трудном в его практике допросе студента, который обвинил его в том, что он не знает Маркса. И как после этого он затребовал принести ему Маркса, целый день его читал и чуть не стал марксистом. И громко при этом смеялся. А я думал о том, что хорошо смеется тот, кто смеется последним. Увы, марксистом он не стал, и это подтвердил трагический конец его служебной карьеры».

Конец Зубатова и зубатовщины еще впереди, но тогда он еще был начальником московской охранки. Более того, за успехи в борьбе с революционной крамолой его вскоре перевели в Петербург, начальником особого отдела департамента полиции, и как раз там возле него появился Гапон, в котором он увидел продолжателя своей идеи «умиротворения» рабочих.

Начиная провокацию против рабочего движения, Зубатов в 1902 году в записке министру внутренних дел Плеве писал: «Идей социал-демократов половина рабочих вообще понять не может в силу своей крестьянской неразвитости. В это время мы предлагаем им не связанный с опасностью попасть под удар полиции легальный путь к улучшению их экономического положения». И дальше в подтверждение своей мысли приводил пример успешного урегулирования конфликта на подмосковном Люберецком заводе. (Помните учительницу Лисакову, которую допрашивал Зубатов?) Именно там, в Люберцах, и был создан один из первых зубатовских легальных кружков рабочих...

Вот и Гапон спустя три года в письме столичному гра-

доначальнику Фулону будет заверять его, что всякие социал-демократические элементы он близко не подпустит к «своим рабочим объединениям и это сделают сами рабочие, которые целиком приняли предложенный мною на основе братской взаимопомощи легальный путь улучшить свое положение».

Да, ни Зубатов, ни тем более Гапон не понимали грозной взрывоопасности обстановки в государстве и не могли трезво оценить свои возможности, но были убеждены, что самой историей, а то и всевышним они призваны стать провозвестниками благоденствующей державной России. Именно тогда в полицейских кругах стала крылатой фраза Зубатова: «Мы набьем тюрьмы эсдеками, и пусть они там устраивают свою революцию». А газета «Московский листок» под портретом Гапона печатала такую цитату из его выступления перед рабочими: «Я поведу вас в будущую Россию божьей благодати». Тем не менее то, что делали Зубатов и Гапон, в какой-то мере тормозило развитие революционного движения, иначе не было бы необходимости заниматься этими персонами, их деятельностью и судьбой.

Как только возникла зубатовщина, против нее развернула непримиримую борьбу революционная социал-демократия. В. И. Ленин писал: «Мы обязаны неуклонно разоблачать всякое участие Зубатовых... жандармов и попов в этом течении и разъяснять рабочим истинные намерения этих участников». И дальше было известное ленинское предсказание, что *«в конце концов* легализация рабочего движения принесет пользу именно нам, а отнюдь не Зубатовым». Проследить исполнение ленинского пророчества — одна из задач этой книги...

Стачки и забастовки не прекращались по всей стране, в том числе на предприятиях Москвы и Петербурга.

Для руководства революционным движением рабочих, создания искровских организаций и борьбы с зубатовщиной находящийся в эмиграции Ленин посылает в Россию самых опытных работников партии. В Москву был направ-

лен Николай Эрнестович Бауман, которому пришлось приложить немало усилий, чтобы вместе с московскими социал-демократами обнажить перед рабочими истинное назначение зубатовщины. Искровцы внимательно следили за деятельностью зубатовских организаций, использовали любую возможность вырвать рабочих из рук полиции. Они старались проникать на зубатовские собрания, лекции, беседы, хоть это и было очень рискованно, сближались с обманутыми рабочими, исподволь переубеждая их. В прокламациях Московского комитета РСДРП, на страницах «Искры» разоблачались руководители зубатовских обществ — платные агенты охранки.

Бауман позднее вспоминал: «Я наблюдал, я следил буквально с замиранием сердца, как падала, разрушалась, уничтожалась зубатовщина, срывалась эта мерзкая липкая паутина после каждого полученного на московских фабриках и заводах номера «Искры».

Только в первые месяцы 1902 года МК издал шесть прокламаций против зубатовцев. Когда же Зубатов перенес деятельность своих обществ в Петербург, «Искра» сразу забила тревогу, опубликовала статью Ленина «Московские зубатовцы в Петербурге». В январе — феврале 1903 года Петербургский комитет выпустил четыре антизубатовские прокламации.

Второй съезд партии рекомендовал всем российским социал-демократам и впредь «продолжать неустанную борьбу против зубатовщины во всех ее видах, разоблачать перед рабочими своекорыстный и предательский характер тактики зубатовских демагогов и призывать рабочих к объединению в одном классовом движении борьбы за политическое и экономическое освобождение пролетариата».

И эта напряженная работа партии принесла свои плоды. Рабочий люд отвернулся от Гапона, не верил его посулам. Зубатовщина терпела крах... «Случилось то,— писал Ленин,—на что давно уже указывали социал-демократы, говорившие зубатовцам, что революционный инстинкт

рабочего класса и дух его солидарности возьмет верх над всякими мелкими полицейскими уловками».

Один из особо доверенных сотрудников Зубатова, капитан Синицын, находясь в послереволюционной эмиграции во Франции, опубликовал воспоминания в милюковских «Последних новостях». «Под разрушительным напором революции,— писал он,— зубатовская идея мирного альянса пролетариев и фабрикантов под эгидой полиции умирала на глазах, и этого уже не могли остановить даже такие зубатовские удачи, как организация массового шествия московских рабочих с венками к памятнику Александра Второго, про которое даже в нашей среде родилась частушка:

«Венки несли мастеровые, их в зад толкали городовые...» И хотя царь за это шествие осыпал Зубатова высочайшими милостями, вплоть до перевода его в Петербург, это только немного отсрочило окончательную катастрофу Зубатова и его рождественской сказки. В этом смысле последней его надеждой стал поп Гапон. И раз уже вспомнилась мне эта отвратительная фигура, скажу о ней несколько слов. Мы, работники охранного отделения, не терпели его дружно, хотя он был у нас своим человеком. Лично я считал и считаю его провокатором рабочих беспорядков в Питере, и в частности знаменитой забастовки на Путиловском заводе, где вся красная каша и заварилась...

А Зубатов верил в Гапона вплоть до дней собственной катастрофы».

Катастрофу Зубатова, о которой пишет Синицын, вызвали события, происшедшие в Одессе, Минске, Харькове и других городах, где вспыхнули всеобщие рабочие забастовки. В Одессе, куда Зубатов послал своих особо доверенных людей, чтобы провести умиротворительную работу, разразилась мощная забастовка, буквально парализовавшая город и порт. В печать проникли сообщения о том, что подстрекателями ее были люди охранки совместно с социал-

демократами. На улицах Одессы пролилась кровь. Царь был в ярости и потребовал у министра внутренних дел строжайшего расследования событий на юге. Стала известна его фраза, что Зубатов «обманул себя и всех нас». Дни служебной карьеры полковника были сочтены.

В общем, зубатовщина сработала против него самого, как это и предсказывал Ленин...

Но пока катастрофа с ним еще не произошла, Зубатов продолжал поддерживать Гапона.

Как же все-таки этот священник полтавской кладбищенской церкви сумел добраться до таких высот?

Есть его книжечка «История моей жизни» *. Впервые она была издана в конце 1905 года в Англии. Бежав после 9 января за границу, Гапон написал эти записки там с помощью корреспондента английского журнала «Стренд мэгэзин». Сделано это было так быстро, что появление книжки сразу навело на подозрения, что она написана не им самим. Удивление вызвало и другое — подзаголовком книжки Гапон поставил: «Очерк рабочего движения в России в 1900-х годах».

Когда самый близкий ему в то время, бежавший вместе с ним из России эсер П. Рутенберг спросил, как он мог сделать такой подзаголовок, ничего о том движении не зная, Гапон сказал:

— Этого потребовали в Лондоне, они говорили, что иначе книга не выйдет, так как в Европе сейчас большой интерес к России, а не к моей личной судьбе.

Рутенберг спросил:

— Но то, что ты написал, хоть похоже на правду?

Гапон рассмеялся:

— Абсолютной правды ни в каких книжках не бывает, но зачем мне было, к примеру, врать про свое детство?

Посмотрим, что же он поведал тогда о своем детстве.

«Отец и мать мои,— писал он,— были простые крестьяне из села Беляки Полтавской губернии... Все свое обра-

* В 1918 г. эта книга была издана в России под названием «Записки Георгия Гапона».

зование отец мой получил от пономаря, познания которого были весьма ограниченны, но это не мешало отцу моему иметь массу сведений обо всем, что касалось крестьянской жизни... Тридцать пять лет подряд его выбирали волостным писарем... Место это доходное, но отец мой никогда не брал взяток ни деньгами, ни натурой и, окончив службу, оказался беднее, чем был раньше... Что касается моей матери, то ей я обязан больше всего моими религиозными взглядами».

Итак, в детстве бедность. Но тот же его друг Рутенберг, тоже, между прочим, родившийся на Полтавщине, свидетельствует, что родители Гапона были людьми зажиточными, в деньгах сыну не отказывали и, даже когда уже в Петербурге он жил вполне прилично, присылали ему денежные переводы...

Ну ладно, а что же еще было у него там, в детстве?

Истово верующая мать, что называется, со своим молоком передала ему религиозность. С малых лет для него высшей истиной было, что «все от бога и без бога ни до порога». На службах в сельской церквушке он впадал в экстаз, проливал слезы, упав на колени и неистово крестясь. Но увы, там же, в деревенском его детстве, начались и сомнения. В начальной сельской школе закон божий преподавал местный священник, которого до этого он привык видеть в золотом одеянии и в облаке ладана. А в школу священник частенько приходил «под мухой» и заплетающимся языком пересказывал святые книги, да так пересказывал, словно специально хотел свести на нет их святость и бросить в детские души семена неверия. Гапон стал читать эти книги сам и сам открывал в них бога и веру в него. На уроках он задавал священнику каверзные вопросы, и тот часто не мог ответить. А затем Гапон сам отвечал на свои вопросы, излагая то, что вычитал в книгах, и как бы давая уроки учителю. В результате тот стал бояться Гапона и способом защиты от него избрал безудержное восхваление его познаний в вероучении. И это Га-

пону нравилось. Тем не менее уже тогда у него возникла дерзкая мысль, что если уж он станет священнослужителем, то будет не таким, как учитель закона божьего. Тогда же он сделал очень важный для себя вывод, что священник — это обыкновенный служащий в церковной епархии и все дело в том, как этой службой воспользоваться...

Больше года я работал в архивах, ворошил уже истлевшие бумаги, которые имели бы хоть какое-нибудь отношение к Гапону, я был убежден в том, что о таких скверных людях писать надо только документально, не поддаваясь соблазну свободного обращения с материалами о них, ибо тогда объективная правда пропадает.

Я радовался каждому документу, в котором о Гапоне было что-то положительное. Вот, например, вырезка из газеты «Биржевые ведомости» за август 1906 года. Подпись под заметкой: «И. Стеблов, юрист».

«Итак,— пишет он,— уже точно известно, что Георгий Гапон убит, убит зверски и по самосуду... В 1904 году он обращался ко мне за консультацией, интересовался, за что его могут привлечь к ответственности, если его деятельность не носит противоправительственного характера? Разве могут его наказывать за какую-то случайно оброненную фразу? Я сказал ему, что если этой фразой будет «Долой самодержавие!» — его упекут в тюрьму за призыв к восстанию против существующей монархической власти. На это он сказал, что социал-демократы без конца произносят эту фразу и ходят на свободе.

— Вы ошибаетесь,— сказал я ему,— очень многие социал-демократы за этот призыв томятся в тюрьмах, а иные идут на эшафот. Он ответил: «Но я свободно говорю со своими рабочими, и мне легко оговориться». На это я посоветовал ему не оговариваться. «Легко советовать, — засмеялся он,— а встаньте один на один с тысячью рабочих, доведенных своей жизнью до отчаяния. Но я проповедник

мирного исхода, и это все могут видеть, иначе охранка уже давно схватила бы меня, а она меня поддерживает». Я попросил его уточнить, в чем выражается эта поддержка, но он на мой вопрос не ответил, непонятно посмеялся и вдруг раздраженно спросил: «А зачем вам это знать?»... Он произвел на меня впечатление человека наивного и в отношении своей деятельности находящегося в розовой эйфории. Боюсь, что он ушел из жизни, так и не поняв ни самого себя, ни того, за что его казнят. В этом смысле я считаю его трагической жертвой времени и обстоятельств, разобраться в которых он не мог. Но это совсем не означает, что я пытаюсь снять с него вину за кровопролитие 9 января...»

Эту газетную вырезку я положил в свое досье «Гапон» и все время о ней помнил. Вы это заметите.

Перечитал я о Гапоне, наверное, почти все, что было написано после 9 января 1905 года и после его смерти в 1906 году. Писали о нем самые разные люди, знавшие его на разных этапах его жизни и деятельности. Учившийся вместе с ним в духовной академии священник Владиславский охарактеризовал его так: «Типичный своей ограниченностью сельский священник, но обладавший уменьем использовать все и всех, кто мог ему помочь сделать карьеру».

Есть и такая характеристика, принадлежащая гласному петербургской Думы Аничкову: «Истинный вождь людской массы, мистически ею владевший». Или вот: «Ловкий демагог, сумевший веру людей во Христа сделать верой в себя». Или такая краткая характеристика: «Заурядный поп с непомерной амбицией пророка Отечества».

Ну буквально ни единого доброго слова о нем мне долго не попадалось...

Уже после 9 января в департамент полиции министерства внутренних дел поступил не то донос, не то какая-то странная характеристика, подписанная священником Ти-

хоном Вишневецким (по-видимому, тем самым, который преподавал Гапону закон божий?). И вот что мы в ней читаем:

«...Этот худенький мальчик с маленькими злыми глазками несомненно обладал дьявольской силой влияния на людей. Я прямо боялся уроков закона божьего в классе, где он сидел. И он наверно это заметил, и как только я входил в класс, он вонзал в меня свои проклятые глазки, и с этой минуты до звонка на перемену я уйти от них не мог. По моему предмету у него знания были хорошие, но странные своей однобокостью. Так, например, он мог как молитву назвать в порядке возвышения все церковные звания вплоть до патриарха, словно он собирался пройти по всей этой дороге. Однажды он мне так и сказал: «Придет срок, и мое имя произнесут во всех церквах Российского государства» — и добавил вполне серьезно: «Я буду или святым, или каторжником».

Вскоре Георгий Гапон от нас уехал и, как мы позже узнали, поступил в академию».

История о том, как Гапон поступил в духовную академию, представляет некоторый интерес, мы об этом вкратце расскажем и увидим, что ему в этом помогли совсем не какие-то его исключительные знания. К слову заметим, что не один священник Вишневецкий разглядел в Гапоне способность влиять на людей и подчинять их своей воле. Позже и председатель комитета всех петербургских церковных приютов Аничков будет утверждать, что он на себе чувствовал гипнотизм Гапона...

«Поступив в полтавское духовное училище, Гапон старался в учении изо всех сил, уже вступительные экзамены он выдержал с такими высокими оценками, что был зачислен сразу во второй класс. Учился он тоже хорошо, и его уже ожидала духовная семинария и дальнейший путь к духовному сану...»

Но в семинарии он совершает большую ошибку, чуть не стоившую ему карьеры. В его руки случайно попала

брошюрка, в которой излагались еретические мысли Л. Толстого о церкви. И Гапон воспламенился: это же и его мысли! Он стал делиться ими с семинаристами, и это привело в такую ярость духовных отцов, что в выпускном аттестате они охарактеризовали поведение Гапона как «исключительно плохое».

Позже он заявит полтавскому архиерею Иллариону, что все это клевета, так как ни о каких мыслях Толстого о церкви ему известно не было ни тогда, ни теперь, и поэтому распространять их он попросту не мог.

Он собирался после семинарии поступить в университет и хотел стать врачом, но с такой характеристикой в семинарском аттестате об этом нечего было и думать...

Чтобы иметь деньги, Гапон стал давать частные уроки детям из состоятельных семей. Его ученики успешно выдерживали экзамены, и предложений наняться в репетиторы у него было хоть отбавляй.

В одной почтенной полтавской семье, в которой репетиторствовал Гапон, бывал местный архиерей Илларион. Вот он, господин случай, в общем определивший судьбу Гапона, который в это время уже подумывал вернуться в свою деревню и устроиться в сельскую церковь священником, а то и дьячком. Но Иллариону понравился этот молодой начитанный человек, не робевший перед его высоким саном и с которым ему интересно было беседовать. Илларион, видать, не был светочем ума, сам Гапон впоследствии скажет о нем: «Грешно мне говорить плохое о человеке, столь много для меня сделавшем, но сан у него был явно выше его возможностей». А сделал Илларион для Гапона действительно много. Несмотря на неблагополучный аттестат, уже через год Гапон был рукоположен в священники и получил приход в полтавской кладбищенской церкви. Вот здесь он впервые вкусил сладость людского преклонения. Главным его делом и праздником души в церкви стали проповеди. Он старательно к ним готовился, писал, заучивал на память, репетировал перед зеркалом.

И сделал правилом — говоря проповедь, видеть лица и глаза верующих, стараться угадывать, что это за люди, с чем на душе пришли они в церковь. Угадывать это было не так уж трудно, ибо церковь заполнял бедный люд полтавской окраины. Наконец, у него открылся ораторский талант, он умело пользовался широким диапазоном своего голоса, сводя его то к трубному гласу, а то к трагическому шепоту, в котором тем не менее было слышно каждое слово.

О его проповедях вскоре пошла молва — «вот у нас батюшка в любом горе утешит». Сам Гапон секрет успеха своих проповедей считал весьма простым: «Я говорил с людьми, как бедный человек может говорить с бедным, понимая и разделяя их горести и надежды». Так или иначе, кладбищенская церковь, не имевшая постоянного прихода, на его проповеди набивалась битком, что не могло нравиться священникам соседних приходов, и они добились, что консистория наложила на Гапона штраф за незаконное создание прихода. Штраф он послушно уплатил и продолжал выступать с проповедями. Поняв, однако, что всех окрестных священников ему не одолеть, решил уехать из Полтавы и поступить в духовную академию. Архиерей Илларион одобрил его план и написал письмо обер-прокурору синода Победоносцеву с просьбой разрешить Гапону держать экзамен в академию без предъявления семинарского аттестата. И написал еще, что в течение двух лет знает священническую деятельность абитуриента в скромной церкви и видит в нем одаренного и многообещающего слугу церкви.

— Письмо письмом,— учил Илларион Гапона,— но вам надо пробиваться к самому обер-прокурору. Вокруг него табун чиновников, и любой может положить мое послание в долгий ящик. И еще один совет. Вы занимались с дочерью помещицы Ланщиковой. Идите к ней и просите рекомендательное письмо к ее другу — могущественному помощнику обер-прокурора Саблеру. Но начните с ректо-

ра академии, чтобы он потом не чувствовал себя обойденным.

Гапон отправился в Петербург. В громадном городе он совсем не растерялся, он верил в свой успех. В кармане у него было два письма от полтавской помещицы: одно управляющему ее домом на Адмиралтейской набережной с распоряжением отвести комнату подателю сего письма и окружить его заботой, пока ему будет необходимо, а второе — Саблеру, которого духовенство боялось не меньше, чем самого Победоносцева.

Переночевав в барских покоях, уже следующим утром Гапон, как советовал ему Илларион, направился в академию.

Поступить туда было нелегко... В академию рвались сынки с фамилиями, знатными не только в церковном мире; в то время духовная карьера стала престижной, и на одно место претендовало по пять — семь человек.

Поначалу ректор Гапона не принял, хотя владыка писал свое ручательство ему лично. Впрочем, может статься, ручательство до него и не дошло, так как конверт, в котором оно лежало, в присутствии Гапона распечатал какой-то второстепенный чиновник канцелярии. Он небрежно пробежал глазами написанное владыкой, бросил бумажку на стол и стал просматривать остальные документы.

— У нас есть много духовных училищ,— сухо сказал чиновник.

— А я хочу учиться в академии,— отрезал Гапон.

Чиновник глянул на него удивленно и насмешливо:

— Одного желания для этого маловато.

— У меня есть и все остальное,— все так же резко ответил Гапон и добавил: — Кроме взятки — денег у меня нет.

— Возвращайтесь к себе, мы известим вас о дальнейшем,— начал чиновник, но Гапон его перебил:

— Я никуда возвращаться не буду, я уже живу в Пе-

тербурге и время до начала занятий использую для познания особенностей церковной службы в российской столице.

Он быстро поднялся со стула и ушел, а чиновник еще долго смотрел на закрывшуюся дверь и в конце концов — от греха подальше — положил документы Гапона не в папку «Не рассматривать», а в ящик стола, куда он складывал документы претендентов, показавшихся ему опасными.

Так Гапон, по его собственному выражению, «застолбил» свое имя в канцелярии академии, памятуя, что дерзкого просителя чиновники боятся. И продолжал свое наступление на учебное заведение.

Следующим утром он явился на квартиру к Саблеру, предварительно продумав каждый свой шаг, каждое слово, которое здесь скажет...

Слуге, открывшему парадную дверь, Гапон повышенным, нервным голосом заявил, что он посыльный из Полтавы с очень важным для его сиятельства письмом, и, не дав слуге и секунды на размышление, протиснулся в дверь, вошел в переднюю и вручил письмо.

— Его сиятельство спят,— пробормотал слуга.

— Разбудите,— небрежно ответил Гапон и сел на стул.

Слуга удалился внутрь дома, довольно быстро вернулся и с поклоном пригласил Гапона следовать за ним. Он провел его в богато обставленную гостиную и показал на стул возле ломберного столика:

— Присядьте, пожалуйста, и подождите.

Вскоре в гостиную вошел высокий седой мужчина в черном шлафроке. Гапон вскочил, как подброшенный пружиной:

— Доброе утро, ваше сиятельство! Счастлив, что божьей милостью вижу вас в добром здравии! — восторженно проговорил он.

Саблер смотрел на него с умильной улыбкой:

— Здравствуйте, здравствуйте. И не будем терять вре-

мени, пройдемте в столовую, надеюсь, вы не откажетесь разделить со мной утреннюю трапезу. К сожалению, другого времени на беседу с вами я уделить не имею возможности: сегодня должен быть во дворце, на приеме по случаю визита болгарского царя.

Гапон решил к еде не притрагиваться, тем более что, как только они сели за стол, Саблер начал расспрашивать, как поживают помещица Ланщикова и ее милое семейство, как их здоровье?

— Не могу забыть,— продолжал Саблер, мечтательно подняв взор,— посещение ее дома во время моего пребывания в Полтаве. Какой был обед! Какие невиданные разносолы! Я умолял ее отдать мне своего повара, но увы, ни за что!

Гапон обстоятельно сообщил все семейные новости помещицы.

— И сама Прасковья Тихоновна, благодарение богу, чувствует себя прекрасно. Как вы, может быть, знаете, в прошлом году у нее были большие волнения по поводу дочери, которой предстояли выпускные экзамены в гимназии, но как раз я взялся за ее подготовку, и теперь все позади — Катя получила великолепный диплом.

— Да, да,— закивал Саблер.— Она как раз пишет мне об этом и очень хвалит вас, вашу образованность и педагогические способности.

Гапон потупился:

— О, вы же знаете, как великодушна Прасковья Тихоновна, я же только хочу начать серьезно учиться.

— Да, в письме есть и об этом,— заторопился Саблер, он был рад, что гость не затягивает разговор и переходит к делу.— Я вам помогу. Идите в синод к председателю учебного комитета отцу Смирнову, он запишет вас на экзамены, а потом вам следует посетить его превосходительство господина Победоносцева.

— У меня к нему есть письмо архиерея Иллариона,— вставил Гапон.

— Вот и прекрасно,— ласково улыбался Саблер.— И я в свою очередь предупрежу его о вас, думаю, это не помешает.

Гапон вскочил и сломился в поясном поклоне:

— Ваше превосходительство!

Саблер протестующе поднял руку:

— Не надо, милейший, не надо, не теряйте времени, идите в синод.

В синоде, однако, все чуть не сорвалось. И только из-за того, что отец Смирнов оказался невероятно похожим на дьякона кладбищенской церкви, которого Гапон не терпел и добился его устранения. Он был такой же тучный и говорил таким же сиплым голосом.

Сразу почувствовав к нему острую антипатию, Гапон без всяких реверансов (за спиной Саблер!) сказал, что его нужно внести в список экзаменующихся в академию.

— Вот вам мои документы,— и положил их на стол.

Смирнов демонстративно отодвинул бумаги от себя.

— Сказанное вами мне надо расценивать как приказ? — сипло спросил он с усмешкой на жирном лице.

— Вам прикажут те, кто имеют на это право,— ответил Гапон и, слегка поклонившись, ушел.

В тот же день он отправился в Царское Село, где во дворце было служебное помещение, а неподалеку находилась дача Победоносцева.

Впоследствии Гапон не раз будет рассказывать, как он пробился к самому обер-прокурору и заставил этого грозного старика выслушать его и прочитать письмо Иллариона.

Наступление на Победоносцева он начал издалека, еще из Полтавы. Еще там, узнав о юбилее, с которым его поздравляли разные сановники и сам царь, Гапон написал Победоносцеву, как завидует его судьбе учителя самого царя, а далее он, ничтоже сумняшеся, сообщал, что у него есть идея, как организовать в России просветительское дело помимо школьного образования. Победоносцев ему не

ответил — Россия полна сумасшедшими проектами перестройки жизни, на каждый не отзовешься...

Но когда обер-прокурору доложили, что автор этой идеи уже здесь, у него на даче, и сидит на веранде, деваться старику было некуда. Он только распорядился, чтобы при разговоре с просителем находились его личный секретарь и слуга и чтобы в случае чего они не зевали.

Меж тем Гапон сидел на веранде в легком раздумье о том, что царский учитель, видать, живет неплохо. Дача его примыкала к дворцовому парку, где по стриженой траве гуляли важные павлины с хвостами, похожими на фейерверочный взрыв, а где-то дальше, в глубине, духовой оркестр играл вальс...

— Я слушаю вас.

Гапон вздрогнул и вскочил — перед ним стоял сам Победоносцев, а по бокам от него — еще два важных субъекта.

— Здравствуйте, многие лета вам, ваше сиятельство,— тихо и взволнованно произнес Гапон и низко-низко поклонился, увидев в эти секунды свои запыленные ботинки и мятые брюки. И в академии, и здесь он полагал нужным выглядеть как человек из народа — тем сильнее будет эффект, когда он заговорит.

Его пригласили сесть за большой круглый стол, занимавший половину веранды. По другую сторону сели Победоносцев и один из субъектов, другой субъект остался за спиной Гапона, бесцеремонно разглядывавшего графа. Обер-прокурор был точь-в-точь как на газетной фотографии — плоское лицо, крючковатый нос, пышные, торчащие в стороны усы над тонкими, плотно сжатыми губами и срезанным подбородком.

— Ну так что же у вас ко мне, я слушаю,— прошелестел Победоносцев, вглядываясь в лицо Гапона с мелкими чертами и черными глазками в глубоких впадинах.

— Будучи обеспокоен засильем невежества, я продумал идею широкого просветительства среди населения...—

начал Гапон, глядя прямо в глаза графу, отчего тот испытал неловкость.— Необходимо во всех городах и наиболее крупных сельских поселениях создать просветительские общества с привлечением в них всех местных образованных людей, включая и священников. Для обществ этих должна быть разработана специальная программа с таким расчетом, чтобы она дала простым неграмотным людям основные понятия о государстве Российском и его любимом монархе.

— Подобная идея уже была,— мягко ответил Победоносцев.— Ее предлагал, если мне не изменяет память, предводитель дворянства из Смоленска.

— Так точно, ваше сиятельство,— подтвердил секретарь.— Он еще хотел, чтобы при обществах существовали народные хоры.

— И какой же ход мы дали тогда этой идее? — спросил у секретаря Победоносцев.

— Переслали по принадлежности министру просвещения.

— Ну и что же с ней стало дальше? — насмешливо спросил Гапон.

— Не могу знать,— ответил секретарь.

— А сколько раз я говорил вам,— вдруг осерчал граф на секретаря.— Надо интересоваться дальнейшим ходом дел по пересланным нами документам.— И обратился к Гапону: — Вы вашу идею изложили письменно?

— Пока у меня только сама идея. Но если вы, ваше сиятельство, в принципе признаете ее полезной, я немедля сяду за разработку устава и программы предлагаемых мною обществ.

— А чем вы занимаетесь... вообще? — поинтересовался граф.

— Я приехал в Петербург поступать в духовную академию.

— Похвально, молодой человек, весьма похвально.

— Я счастлив, что вы поддерживаете это мое решение,

это придаст мне силы на все годы ученья, и я вас не подведу.

— Вот и хорошо... вот и хорошо...— Победоносцев встал.

— Я не оправдаю ваших надежд только в одном случае,— Гапон тоже встал,— если в академии меня не допустят к экзаменам.

— А почему вас могут подвергнуть такой дискриминации?

— Да там же что ни абитуриент — так за его спиной могучая протекция. А у меня за спиной одни только знания да страстное желание служить Руси родимой.

Секретарь шепнул что-то Победоносцеву, и тот внимательно глянул на Гапона:

— Да, да, мне говорил о вас Саблер. Но вот утром мне звонил по телефону отец Смирнов и сказал, что вы у него вели себя непозволительно заносчиво и даже нахально, и этим вы сами закрыли себе дорогу в академию,— Победоносцев дал понять, что аудиенция закончена.

Гапон резко вскинул голову:

— Ваше сиятельство! — голос его напряженно звенел.— Поступить в академию для меня — вопрос жизни и смерти! Вы оставляете мне только смерть!

Победоносцев посмотрел на него с любопытством и сменил гнев на милость:

— Мне нравятся и ваша устремленность, и ваше отчаяние. Идите снова к отцу Смирнову и скажите, что я предлагаю ему в отношении вас представить мне благоприятный доклад.

На этот раз Гапон говорил с отцом Смирновым просительно, но и без униженности.

— Вы действительно видели его превосходительство? — недоверчиво спросил тот.

— Лично я не могу и мысли допустить солгать в отношении вождя нашей церкви,— ответил Гапон спокойно и угрожающе.

— Хорошо, я сделаю, как просил обер-прокурор,— просипел Смирнов.— Но берегитесь, если вы ввели меня в заблуждение.

Гапон был допущен к экзаменам, в оставшийся до них месяц хорошо к ним подготовился, выдержал их блестяще, получив высшую стипендию, назначавшуюся наиболее перспективным студентам.

В журнале заседаний Совета Санкт-Петербургской духовной академии значится, что в 1898 году Гапон был принят студентом академии под № 16 из 67 экзаменовавшихся и получил стипендию. Итак, весьма успешное поступление. Однако дальнейшие записи в журнале по ходу учебы Гапона заставляют предположить, что в этом успехе главную роль сыграла высокая протекция. Почитаем эти записи.

Вскоре по поступлении в академию и подачи первого семестрового сочинения Гапон, по удостоверению врача Д. Пахомова, заболел и потому не подал остальных сочинений по введению в круг богословских наук, теории словесности и истории иностранной литературы и не держал экзаменов ни по одному из предметов первого курса. Поэтому оставлен на повторительный курс и получил отпуск, из которого явился только 31 октября 1899 года. В общем, не успев толком начать ученье, Гапон прерывает его. Более того, ему предоставляется возможность все лето провести в Крыму. И тут тоже, наверно, еще действует протекция.

Эта страничка его жизни интересна тем, что в Крыму он сумел влезть в душу епископу таврическому Николаю и тот познакомил его с интересными людьми. Гапон стал постоянным гостем известного художника Верещагина, часами просиживал у него в мастерской, и ему льстило, что художник толкует с ним о высокой материи. Он не раз потом хвастался этим своим знакомством и рассказывал, что однажды Верещагин посоветовал ему бросить духовное образование и служить народу без церковных деко-

раций, в самой его гуще. И уверял, что совет художника подействовал на него очень сильно и сыграл свою роль в дальнейшей его деятельности. Что, однако, не помешало ему вернуться в Петербург и продолжить занятия в духовной академии.

Но посмотрим по журналу, как продолжалось его ученье.

По возвращении Гапон подал прошение об освобождении его от первого семестрового сочинения как уже писанного им в предыдущем году. Совет академии, снисходя к его болезненному состоянию и принимая во внимание, что прошлогоднее его сочинение оказалось написанным удовлетворительно, освободил его от этой обязанности.

В 1900 году Гапон переведен на 2-й курс под № 25 из 65 студентов. А в 1901-м — на 3-й курс под № 47 из 59 студентов. С этого курса он и уволен из академии. Никаких причин, объясняющих увольнение, не указано. И только в журнале за 1902/3 год можно прочитать запись доклада секретаря Совета академии, поясняющую, что «по определению Совета академии от 16 сентября 1903 года за № 3, утвержденному 21 сентября, студент 3-го курса священник Георгий Гапон был уволен как не сдавший переходных экзаменов по 6 предметам и не представивший в том объяснений». Непонятно, почему с таким запозданием дается это разъяснение...

Здесь мы отвлечемся от казенных записей в журнале и обратимся к другим свидетельствам о Гапоне этого времени.

Между прочим, еще обучаясь в полтавской семинарии, он прибегал к таким вот способам получения завышенных оценок своих знаний. Как-то спросил преподавателя Щеглова: «Какие вы мне выставите годовые баллы по догматическому и нравственному богословию?» А когда тот ответил: «Какие следует»,— Гапон сказал: «Если вы мне не поставите 4 и я не попаду в первый разряд, то по-

гублю и себя и вас». В самый день экзамена он прислал ректору полтавской семинарии письмо, в котором жаловался на преподавателя Щеглова и извещал, что не может держать экзамена вследствие расстройства физических и душевных сил. Адрес на письме был такой: «В Полтавскую семинарию, ректору оной о. Иоанну Пичете», а подпись — «Уважающий вас ваш воспитанник и сын Георгий Гапон». И эта подпись впоследствии стала свидетельством его душевного расстройства, во всяком случае, ректор сообщил об этом преподавателю Щеглову, и тот в конце концов поставил «4» — как говорится, от греха подальше...

Студент академии, а потом священник в городе Рыбинске Попов уже после смерти Гапона в 1906 году в воспоминаниях о нем рассказал, что учился тот весьма средне, но был известен всей академии своими экстравагантными поступками и наглым поведением. И привел такой пример:

«Как только начались занятия на втором курсе, слушателей расселили в общежитии по четыре-пять человек в комнате. На другой день Гапон явился к ведающему хозяйством академии с ультиматумом: «Я буду жить в комнате, которую незаконно занимает чиновник вашей канцелярии!»

— Что? Что? — не поверил своим ушам эконом.

— Глухому две обедни не служат. Освободите комнату к вечеру.

Эконом побежал к начальству, но вечером в ту комнату переехал Гапон.

Еще в начале второго учебного года мы узнали, что Гапон уже работает священником приютской церкви в Ольгинском доме для сирот и бедных детей женского пола...»

Как же это так, если он вскорости за критическую неуспеваемость будет из академии исключен? Некоторое

объяснение этому можно найти в том же журнале заседаний Совета духовной академии за 1902 год.

После своего исключения Гапон обратился к митрополиту петербургскому Антонию со следующей просьбой: «Вследствие несчастно для меня сложившихся обстоятельств жизни я заболел, и как весной при переходе на четвертый курс не мог сдать экзаменов по всем предметам, так и осенью держать по оставшимся. Моя просьба об оставлении меня на второй год на 3-м курсе, хотя свидетельства врачей о моем болезненном состоянии были представлены в канцелярию академии, Советом академии не была удовлетворена «за неимением законных оснований». Между тем жалко бросать академию, так как собственно остался четвертый курс с кандидатским сочинением (семестровые сочинения 3 курса все поданы). Поэтому осмеливаюсь обратиться к Вашему преосвященству с усиленной просьбой о разрешении мне как держать экзамены весной сего учебного года по некоторым предметам третьего курса, так и окончить академию на правах действительного студента. Додерживать же экзамены и проходить четвертый курс академии в этом учебном году для меня нет разумных оснований: уже не успею более или менее обстоятельно справиться со своей кандидатской темой по священному писанию».

На этом прошении митрополит Антоний наложил благожелательную резолюцию, и в конце концов Гапон вышел из академии кандидатом богословия. К тому времени он уже работал священником в Ольгинской приютской церкви.

После 9 января синод, естественно, принялся всячески открещиваться от Гапона, и кончилось дело тем, что 10 марта 1905 года синод утвердил представление митрополита Антония, и Гапон был лишен священного сана и исключен из духовного звания. Как вы заметили, представление в синод этого решения сделал тот самый митрополит Антоний, который раньше вопреки всем объек-

тивным данным и простейшей логике помог Гапону удержаться в академии и получить духовное звание. Об этом в свой час ему напомнили его недоброжелатели, написавшие специальное письмо Победоносцеву. Но никаких последствий это письмо не вызвало. Славившийся своей беспощадностью обер-прокурор синода написал на нем: «В архив» — и делу конец.

Тут мы приблизились к очень интересному обстоятельству...

В 1903 году лично Зубатов содействовал переводу Гапона из приютской церкви в церковь при тюрьме, и сделал он это через того же митрополита Антония. Позже мы узнаем еще один факт, подтверждающий, что охранка уже тогда начала оказывать Гапону всяческое покровительство в его священнической карьере, и делал это Зубатов через митрополита Антония. Не упускал из виду Гапона и помощник обер-прокурора синода Саблер... Вот же почему ему сходило с рук многое такое, что другому бы не простилось!

Но вернемся к моменту, когда Гапон, еще не окончив академии, работает священником при Ольгинском приюте. Он пользуется там огромным успехом у прихожанок, ширится молва о его необыкновенных проповедях, слушать которые ходят верующие со всей округи. Доход церкви резко увеличился. Дирекция приюта души не чаяла в Гапоне. Каждое воскресенье знатные дамы — патронессы приюта слали ему вино, фрукты, приезжали слушать его проповеди, просили у него благословения.

Боготворили его и приютские девушки. У них были заведены альбомы для памятных записей, и высшим счастьем для них было получить автограф Гапона. Но ему захотелось признания более высокого ранга. Все приютские дома курировала императрица. Гапон решил написать ей письмо с критикой постановки дела в этих приютах. Об этом узнал председатель комитета патронирования всех приютов и церквей гласный городской думы Аничков,

и хотя у него с Гапоном были хорошие отношения, он решил от греха подальше избавиться от него и накатал на него заявление в синод.

Он резко критиковал единообразие его проповедей и его попытки выставлять себя перед паствой чуть ли не святым. Сверх всего он обвинял его в моральной греховности и в доказательство приводил стишок Гапона, вписанный его рукой в альбом воспитанницы приюта Евдокии Сулиловой:

Плохо спится, милая, тебе,
Грудь твоя все больше и пышнее,
Задумываешься о своей судьбе,
Мечту девичью страшную лелеешь.
И он придет, сего не отвратить,
Сожмет до боли твои груди,
И бог ему все то простит,
Тебе же сладко будет...

«Разве можно ждать чего хорошего от подобного духовника?!» — восклицал Аничков.

Гапон был из этой церкви устранен и уже полагал, что его священническая карьера кончилась.

Но, оказалось, Саблер не забыл о нем. А может, ему напомнила полтавская помещица? Так или иначе, но Саблер запросил академию об успехах Гапона в ученье. Там, конечно, помнили, что Саблер и сам Победоносцев в свое время принимали участие в определении Гапона в академию, и, словно забыв обо всем другом, дали ему отличную характеристику. В начале зимы Саблер вызвал Гапона и сообщил, что приглашает его участвовать в службах в церкви Скорбящей Божьей Матери, где он был почетным старостой. Церковь находится в Галерной гавани, и ее прихожане — бедный люд. Штатный священник там сухой начетчик, его проповеди не доходят до сердца прихожан, и храм часто пустует, а от преосвященного Антония ему известно, что проповеди Гапона в приютской церкви пользовались большим успехом.

— Вряд ли это понравится штатному священнику,— засомневался Гапон.— В Полтаве священники соседних приходов писали на меня жалобы.

Саблер улыбнулся:

— С этим мы как-нибудь справимся. И я предупрежу священника, что мы посылаем вас туда временно.

Внутренне ликуя, Гапон еле сдержал улыбку — вот оно, заветное дело, где он сможет себя показать!

В ближайшее воскресенье он отправился в саблеровскую церковь и протиснулся в самую гущу прихожан. Священник, красивый старик с густой черной бородой, начал проповедь на тему «Греховность в мыслях и деяниях». Сперва он вкрадчивым голосом перечислил разные искушения и соблазны, а затем загремел на всю церковь про кары небесные, про ад огнедышащий. Стоявший рядом с Гапоном высокий дядька с обвислыми усами, склонясь к его уху, сказал:

— Что он адом стращает? Зашел бы ко мне в плавильный цех. Я бы показал ему ад на земле.

Гапон ничего не ответил, только осенил себя крестным знамением. После службы они вместе вышли на улицу. Летуче падал редкий снежок, было безветренно и оттепельно.

— Про плавильный цех вы хорошо сказали,— начал Гапон.

— Правду сказал,— угрюмо ответил рабочий.— Ну что он в самом деле басит про искушения, когда мне каждый день надо голову ломать, как семью прокормить? Вот и получается, что в церковь идешь душу утешать, а тебе знай грозят карами небесными. Получается, что из бога делают городового и добиваются, чтобы впереди всего был страх перед богом.

Они поравнялись с чайной Нежданова, у входа в которую горела тусклая лампочка.

— Зайдем, погреемся,— пригласил усатый.

В тесной чайной было полно народа, от говора стоял

сплошной гул. В центре возвышался громадный самовар, обвешанный связками баранок. Между двумя большими столами метался половой, разносивший кружки с чаем. Они стали искать места за столом.

— Савельич, иди сюда,— позвали усатого. Они сели, заказали чай, баранки и сразу очутились в центре застольного разговора.

— Что припоздал, Савельич? — спросил кто-то.

— В церкви был,— ответил тот.

— Ну и что там? — послышался насмешливый голос.

— Все то же — «не надо грешить».

— Иначе в рай не попасть,— продолжал тот же насмешливый голос, и многие рассмеялись.

— Но ты же, Савельич, у нас святой и без церкви. Даже курить бросил. Тебе райская жизнь еще на земле положена.

— На райскую жизнь у него денег нет,— подал голос Гапон, и его слова тоже вызвали смех.

Так, вроде бы легко и беспечно, вошли они в застольную беседу, но очень скоро разговор принял совсем другое направление. Отсмеявшись, сидевший против Гапона худощавый мужчина со смуглым лицом посерьезнел и, обращаясь к нему, сказал:

— Это известное дело, что рай начинается с денег и бедному на рай рассчитывать нечего.

— Ну а что же тогда нам? — спросил кто-то со злостью.

— Что? — подхватил другой.— Одиннадцать часов работай, получи свои копейки, живи как можешь и помалкивай, вот и все наши дела. А если невзначай забурчишь — вон, за ворота, на голодный отдых! У нас двоих рассчитали за то, что прилюдно мастера матюгнули. А у одного из них трое детей и жена в больнице — как он будет жить? На что?

— Надо пускать шапку по кругу,— предложил Гапон.— Двое по полтиннику, а ему рубль в дом.



— А что? Он дело говорит,— поддержали его.— Я слышал, на Металлическом так нескольких товарищей спасли.

И сразу загудел весь стол. Кто-то гневно сказал:

— В том и вся механика — нас бьют поодиночке, а нас-то вон сколько. Нас бьют, а мы по своим норам разбегаемся — и скрипим зубами. Никогда так плохо не было, как теперь.

— У нас на верфи студент побывал,— заговорил немолодой рыжеватый рабочий,— газетку принес и читал нам, что для хозяев забастовка хуже смерти.

— А на кожевенном как-то не вышли красильщики,— добавил другой,— так хозяин закрыл на две недели всю фабрику.

— Ну и что? Для хозяина каждый стоячий день — одни убытки, а от стоячего месяца у него глаза на лоб полезут.

Возле самовара возник хозяин чайной:

— Что, братцы, расшумелись? Не ровен час — заглянет городовой, вам и мне беды не обобраться.

Гапон подумал, что нарываться на городового ему совсем ни к чему — он свое скажет в проповедях. И, выбрав момент, тихо попрощался с усатым и ушел.

В первой же проповеди в саблеровской церкви Гапон говорил о великой силе рабочего товарищества. Сохранился (в охранке) ее конспект:

«1. Почему народ говорит, что на миру и смерть красна?

2. В Сибири говорят: на медведя в одиночку ходить — только сирот плодить.

3. Вы стоите сейчас перед ликом Христа каждый сам по себе. А вы возьмитесь за руки, и на душе у вас станет светлее и теплее.

4. Всегда помните: все от бога. Абсолютно все. Бог дарит нам радости, но бог посылает нам и испытания».

Проповедь имела успех. Прихожане благодарили Гапона за слова утешения и надежды. Просили у него бла-

гословения. В сладостном волнении Гапон вспоминал, как в полтавской кладбищенской церкви люди целовали ему руку и толпой провожали до дома. «Так будет и здесь! Будет!» — твердил он себе.

На его утешительных проповедях церковь всегда была набита битком. Говорил он все то же: «Тяжело тебе — уповай на бога, но помни, не одному тебе тяжело, рядом с тобой братья и сестры, которым не легче. Открой им свою душу, и они ответят тебе душевностью, будь готов помочь им, и они помогут тебе. Христу как тяжело было, но он любил всех, и люди отдали ему свою любовь и веру. Добро и зло живут в каждом из нас, Христос завещал нам — откажись от зла, открой людям свою доброту, и в ответ люди согреют тебя своей добротой, и жизнь твоя станет легче».

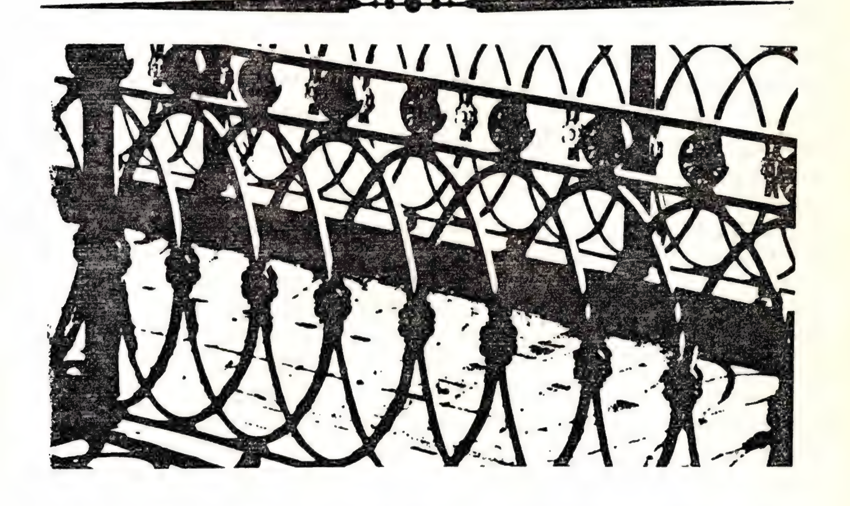
Любопытно, что о содержании проповедей Гапона мы узнаем еще из одного документа охранки. В архиве Зубатова хранилось донесение агента, действовавшего в районе Галерной гавани. Он доносил о большом успехе проповедей Гапона, кратко излагал их главный смысл и добавлял от себя, что прихожане уходят из церкви успокоенными и даже радостными. На этом донесении — резолюция Зубатова: «Михайлову. Послушайте проповедь этого священника сами. Познакомьтесь с ним, осторожно дайте ему понять, что мы поддерживаем его и готовы, если нужно, оказать ему помощь».

Судя по всему, отсюда берет начало связь Гапона с охранкой, которая становилась затем все более активной вплоть до того времени, когда Зубатов возьмет Гапона под полное свое покровительство как последователя своей идеи создания рабочих кружков под эгидой полиции.

Здесь возникает очень важный для характеристики Гапона вопрос: верил ли он сам в возможность умиротворения рабочих и улучшение их судьбы без борьбы с теми, кто возвел эту их тяжкую судьбу в закон жизни? В начальный период своей деятельности, скорей всего, верил!

Эту веру поддерживала в нем та же охранка. Однажды Зубатов скажет, что считает его верным слугою и даже советчиком царя. Наконец, и сам царь с благодарностью благословит его общество рабочих, его устав и программу. Однако позже вера Гапона в свое высокое предназначение начнет тускнеть и наконец будет сильно поколеблена, когда он почувствует, что между ним и рабочими возникает стена взаимного непонимания, и одновременно увидит, как те же рабочие живо откликаются на призывы социал-демократов к открытой борьбе за свои права.

II



Мы видим, как с самого начала самостоятельной жизни Гапон расчетливо строит свою судьбу. Все время им движет тщеславие. Принцип его жизни (как он сам однажды выразился): в избранном деле лучше вовсе не быть, чем быть вторым. Вкусив сладость преклонения прихожан еще в полтавской кладбищенской церкви, он сам предрек себе будущее пастыря и пророка. Но как-то в кругу друзей признался, что еще в духовной академии ему захотелось заняться политикой, которая показалась более эффектным делом. Как мы знаем, в конце концов он в политику влез. И как раз во время успешной своей работы в саблеровской церкви Гапон вдруг начал тяготиться мыслью, что круг тем для его проповедей ограничен. И он

начинает для общения с людьми искать мирскую обстановку.

Каждое воскресенье переодетым он посещает чайную Нежданова. Чайная эта была по-своему знаменита: по вечерам там собирался окрестный бедный люд и почему-то извозчики-лихачи. Там Гапон знакомится и сближается с механиком из мастерской по ремонту швейных машин «Зингер» Прохором Сергеевичем Кудериным. Это была обслуживавшая чайную подсадная утка полиции, агент с кличкой «Пахарь». В одном из донесений «Пахарь» сообщает о разговоре Гапона с рабочими по поводу роста цен на продукты, когда он говорил, что цены эти бог не освящал, батюшка царь за другими важными делами может про те цены и не знать, а посему надо выяснить, кто эти цены назначил, с чего их вычислил, чтобы стало ясно, кто на этом наживается, а тогда писать батюшке царю прошение проверить дело с ценами.

В другом донесении «Пахарь» описывает, как Гапон, произнося в церкви проповедь о любви к детям, начав читать известные стихи «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой» — вдруг зарыдал и стал громко кричать: «Берегите детей!» И всем этим вызвал невероятный экстаз прихожан.

Гапону Кудерин понравился своей молчаливой сдержанностью и какой-то житейской прочностью. Они подружились, и Кудерин уже не раз ночевал у Гапона. Ночи напролет они судили-рядили по всем вопросам жизни. «Гапон не принадлежит к политическим партиям или течениям и того не желает,— сообщал «Пахарь»,— точнее всего поименовать его религиозным анархистом, обладающим даром слова». Из этого же донесения можно узнать, что Гапон признался ему в своем разочаровании деятельностью в церкви и сказал при этом такую фразу: «Зачем мне все эти иконописные декорации, зовущие от дел земных в божьи выси?» На этом донесении есть пометка Зубатова: «Пахарю» продолжать связь с объектом». Так



охранка все ближе подбиралась к Гапону, им начинает интересоваться сам Зубатов. Кто знает, может, именно в это время полковник впервые стал думать об использовании Гапона в своих легальных рабочих объединениях...

Однажды у Нежданова Гапон застал такую картину: посредине чайной на полу сидели два оборванца, которые поочередно отвечали на вопросы заполнивших помещение простолюдинов. Публика была настроена благодушно и даже весело, несмотря на страшные россказни бродяг.

— Значит, конец света и никто не изловчится и не спасется? — весело спросил у них рослый парень.

— Конец свету — значит, усему конец, усему конец,— подтвердил один из оборванцев, а другой вдруг заговорил страстно и просяще:

— Грешны все. Все грешны. Никому спасения не будет. Так отдай же, что имеешь, ближнему.

— Это как же значит? — врезался в разговор Гапон.— Отдай жену дяде, а сам иди к б...? Так, что ли?

Смех колыхнул духоту чайной. Оборванцы настороженно озирались. Гапон поднял руку, и аудитория притихла:

— Слышали, что суют простому человеку? Конец света, и потому отдай, что имеешь. Не купите нас на эти сказки, лучше убирайтесь отсюда, пока мы вам не накостыляли по шее.

Чайная загоготала. Рослый парень склонился над оборванцами, одного из них легко поднял в воздух и пихнул к дверям. Другой поторопился сам. Чайная гудела одобрительно.

— А кто же они такие? — спросил кто-то.— Ведь так сладко про конец света поведали нам...

— Чушь! — громко ответил Гапон.— Бог создал землю, воду, жизнь не для того, чтобы все это уничтожить!

— И то верно.

— Правильно!

— Не видно что-то, чтобы наши господа заводчики го-

товились к концу света — с первого числа новое снижение расценок.

Снова дружный смех, который, впрочем, тут же затих, а тот же голос сказал угрюмо:

— Грабят нас и под конец света, и под его начало...

— Если поглядеть на все, что делается, можно подумать, что бог не знает горя простых людей,— сказал Гапон, обводя людей внимательным взглядом.

— И то верно.

Гапона позвали за стол, на котором стоял обвешанный баранками ведерный самовар. Вокруг сидело человек десять, по виду фабричных рабочих. Они раздвинулись, и Гапон пристроился в тесный круг, получил кружку чая, баранок и с удовольствием принялся чаевничать. Ему стали задавать вопросы.

В это время он был уже достаточно начитан, все вечера проводил дома за книгами, которые брал в библиотеке, поражая библиотекарш разнообразием интересов. Кроме того, выписывал журнал «Природа и люди» и от корки до корки прочитывал каждый номер, а это было издание содержательное. У него была феноменальная память на все прочитанное. Словом, его ответы на вопросы явно понравились людям. Кто-то поставил перед ним граненый шкалик с водкой, но Гапон решительно отодвинул его от себя:

— Не пью и вам не советую. Если разобраться, темнота наша непробудная — от пьянства и покорность наша перед всеми начальниками тоже от пьянства, ибо водка разум мутит и не дает понятия...

— Ты пей, да дело разумей,— сказал кто-то из глубины.

— Хочу разуметь без этого.

Гапон посидел в чайной часа полтора, и потом вся компания пошла провожать его до трамвая. Всю дорогу продолжался разговор, на остановке из-за него пропустили два трамвая. Говорили все про то же — есть ли где на земле справедливость...

Наконец Гапон вскочил в уже тронувшийся вагон и долго еще махал с площадки рукой. Провожавшие тоже махали ему. Очень хорошо было на душе у Гапона — опять он пережил упоение властью над людьми. Вспоминая, как все было в чайной, он незаметно доехал до Садовой. Здесь сошел с трамвая и направился в сторону Апраксина рынка, где снимал комнату в дешевом пансионе-гостинице.

Придя домой, он разделся, лег в постель и, довольный собой, тут же заснул.

Агент наружного наблюдения по кличке «Проня» той же ночью подал рапорт о наблюденном им в чайной Нежданова неизвестном, который вел среди посетителей подозрительные разговоры и заявил, будто он священник. Агент «провел» неизвестного до дома и установил, что он — жилец гостиницы Соломатина, приезжий Гапон Георгий Аполлонович. Это, кажется, первое упоминание в документах петербургской охранки полностью имени, отчества и фамилии Гапона.

Неудивительно, что Зубатов, одержимый идеей умиротворения рабочих, сразу обратил внимание на первые же донесения о Гапоне. Но далеко не сразу привлек его к работе.

Еще только начала распространяться молва о проповедях Гапона в церкви Галерной гавани, ему была устроена одна из многочисленных проверок.

По инстанциям дополз до охранки донос дьякона этой церкви о том, что отец Гапон в своих проповедях дает верующим всякие сомнительные советы о политике. Агенту охранки Охломову («Юрист») было поручено прослушать проповедь Гапона и поговорить с ним.

Вот что агент написал в отчете:

«В проповеди священник Гапон говорил о том, откуда обездоленный человек может ждать помощи. Обращаясь к тем, кто уповают не на бога, а на разных политиков, он

призвал не верить социал-демократам, так как все они евреи, инаковерцы, и призвал молить бога, чтобы царь сам даровал своему народу лучшую жизнь, однако в отношении ныне царствующей особы государя-императора никаких осуждающих слов сказано не было, но не было и моления ему «многая лета». Проповедь тем не менее слушалась с удивительным вниманием, и после люди с благодарностью подходили к священнику и даже прикладывались к его руке. В последовавшей затем моей беседе с ним священник высказывал разные оригинальные мысли вроде того, что самая деловая партия — это эсеры, но они, к сожалению, не религиозны и нарушают завет «не убий». Или что привычка народа к монархии сильнее всех ее врагов, и что России нечего бояться революции в силу ее неграмотности, что царь может вполне положиться на свою армию в силу того, что он сам полковник и знает все необходимые приказы и команды. Общее впечатление, что в голове у священника царя нет, а только так, разные случайные и спорные мысли».

На этом донесении рукой Зубатова начертано: «Всяких умников и без него достаточно, а простолюдяне его слушают и к руке его прикладываются».

Так или иначе, слава Гапона, умеющего говорить с простыми людьми, ширилась, и к тому времени, когда он начал свою миротворческую деятельность среди петербургских рабочих, в архиве министерства внутренних дел осело уже несколько документов, относящихся к его характеристике...

Мы помним, что в свое время Гапона со священнической должности в церкви Ольгинского приюта спихнул, написав на него заявление в синод, председатель комитета патронирования всех приютских домов и церквей гласный городской думы Аничков. Однако тогда вмешался помощник обер-прокурора синода Саблер, который пригласил Гапона в свою церковь. Но Аничков был, видать, личностью со злой и длинной памятью. Когда Гапон уже рабо-

тал в церкви Галерной гавани, Аничков на своем бланке председателя комитета патронирования приютских домов и церквей написал в департамент полиции вроде бы служебную деловую записку:

«Считаю своим долгом засвидетельствовать, что проповеди Гапона, о которых последнее время так много разговоров, вызывают серьезные нарекания многих священнослужителей, которые обвиняют его в подмене высокой религиозной духовности земным меркантилизмом. В свое время я слушал его проповеди в церкви Ольгинского приюта, и всегда в них была очень ловкая манипуляция словами и понятиями с целью создания впечатления о себе как о защитнике бедного люда, но от кого защитника — неизвестно. Но здесь я должен сделать отступление, уточняющее фигуру самого отца Гапона. Дело в том, что в минувшие времена у меня с ним были вполне дружеские отношения и мы не раз сиживали с ним за столом, ведя исключительно доверительные беседы, в которых он, особенно выпив вина, откровенничал безоглядно, и тогда в нем непонятно соединялись заверения в верности престолу и мелкое критиканство монаршей власти, любовь и сочувствие бедному люду с издевкой над его бескультурностью. Однако эту его двойственную сущность с лихвой перекрывает его гипертрофированное честолюбие и стремление к славе. Он говорил мне, например, что хочет и добьется, чтобы его имя стало так же известно, как Сергия Радонежского. За популярность и славу он готов лечь костьми...»

Любопытны пометки Зубатова на этом доносе — синим карандашом он подчеркнул последние его строчки, а сбоку написал: «Честолюбие — это не такая уж плохая вещь. Пусть Соколов привезет этого священника ко мне для личного знакомства».

А Гапон продолжал бывать в чайной Нежданова. Крепла его дружба с механиком Кудериным. «Пахарь» доносил о Гапоне: «Он обладает даром при помощи слова за-

хватывать и подчинять себе массу разнообразных людей, особенно людей простых. И был такой случай — мы с ним оказались на Охтинском кладбище в момент похорон некоего неизвестного нам покойника. И вдруг Гапон у разверстой могилы стал говорить речь о смысле жизни и смерти, и он так говорил более 20 минут, а когда кончил, люди словно забыли о покойнике, сгрудились вокруг Гапона, искали его руки для целования и так далее. О чем именно он говорил, я воспроизвести не в силах, но главным был призыв к живым не возгордиться перед мертвыми, так как сие никого не минет».

...Сотрудник охранки Соколов выполнил распоряжение Зубатова и привез к нему Гапона. В это время Гапон уже предпринимал первые шаги по созданию для своих выступлений кружков из рабочих.

Как и в Москве, здесь, в столице, у Зубатова был специальный кабинет для личных встреч сугубо конфиденциального характера, был для этого и специальный вход в здание на Фонтанке — скромная дверь у самого угла.

Приглашение в департамент полиции встревожило Гапона. Он был наслышан о зубатовских кружках рабочих в Москве, но с этим свой визит к Зубатову никак не связывал — он шел к начальнику грозного особого отдела и с утра пытался припомнить, какое у него могло быть прегрешение перед полицией? Он не очень был уверен в себе, знал, что может сболтнуть что-нибудь, не подумав.

Соколов провел его в неожиданно скромный и какой-то домашний кабинет, какой мог быть в не очень богатой квартире. Стены оклеены однотонными коричневыми обоями, на окнах — плюшевые гардины, на специальных этажерочках — горшки с цветами.

Навстречу Гапону с деревянного диванчика поднялся Сергей Васильевич Зубатов — крутоплечий мужчина в строгом черном костюме; высокий жесткий воротничок подпирал налитые румяные щеки. Он сдержанно улыбнулся:

— Здравствуйте, Георгий Аполлонович,— голос был низкий и мягкий.— Садитесь. Очень хочу поговорить с вами доверительно. И дело у меня к вам совсем не полицейское. Впрочем, как сказать,— Зубатов замолчал, вглядываясь в лицо собеседника. (Потом он однажды скажет, что по внешнему виду, по нетвердым глазам Гапона можно было принять за успешно практикующего врача-дантиста, имеющего неприятности от налоговых инспекторов.)

Соколов сел в сторонке на стул. Кивнув на него, Зубатов сказал:

— Он очень хвалит ваши проповеди, Георгий Аполлонович. Даже в его пересказе нравятся они и мне. Потом я сделаю вам и некоторые замечания и даже позволю себе советы.— Зубатов сплел на коленях пальцы крупных жилистых рук и заломил их с хрустом.— Насколько я понял, вы избрали своей миссией утешение людей с обиженной судьбой?

Гапон кивнул:

— Да, я же священник.

— Но мне как раз нравится,— подхватил Зубатов,— что вы оперируете при этом не возвышенно-абстрактными богословскими понятиями и словами, а вполне житейскими и оттого доходчивыми до всех. Мне известен, например, очень умело проведенный вами разговор с посетителями чайной Нежданова по поводу непомерного роста цен. Словом, эта ваша миссия очень мне по душе. Но понимаете ли вы всю ее важность для государства? Обездоленных, живущих хуже, чем хотелось бы, очень много. По отношению к ним определились две позиции: одна — утешить, успокоить, другая — возбудить их против государства, в котором они живут. Нам здесь приходится иметь дело с социал-демократами, вот вам — целая партия, которая занимается возбуждением обездоленных.

— Но они же одновременно утешают упованием на светлое будущее,— осторожно проговорил Гапон.

Зубатов глянул на него удивленно:

— О, да... Вот и эсеры придумали своеобразное утешение — они убивают государственных сановников, как бы подсказывая при этом мысль, что убитые и есть виновные в нашей обездоленности, но им теперь хуже, чем вам: они зарыты в могилы и завидовать им нечего. Эта мысль, конечно, для умственно недоразвитых, а для остальных у них есть и политическая программа, ибо они свою партию именуют партией социалистов-революционеров,— Зубатов улыбнулся.— Но я что-то, по неразумению своему, не могу понять, в чем они социалисты и в чем революционеры? Однако не будем углубляться в их проблемы и займемся своими. Скажите, вам нравится разговаривать с публикой, заполняющей ту же чайную Нежданова? Или вам интереснее церковное общение?

— В чайной я чувствую себя честнее и более полезным людям,— твердо ответил Гапон.— И поэтому я взялся за создание вполне светских рабочих обществ.

— Знаю, знаю, Георгий Аполлонович, и это мне тоже по душе.— Зубатов помолчал и спросил: — Вы слышали о моих рабочих кружках в Москве? Так это и есть вот такие вполне светские помещения, куда ходит простой рабочий люд, чтобы культурно провести свободное время и спокойно поговорить о жизни. Я бы пригласил вас съездить в Москву посмотреть те кружки. Но это потом, а сейчас я бы дал вам один совет: попробуйте, подберите себе группу помощников из более или менее честных рабочих, которые добросовестно трудятся и живут не так уж критически плохо, и увлеките их идеей создания своего общества на кооперативных началах взаимопомощи. Организуйте в промышленных районах столицы отделения этого общества, где они будут собираться по вечерам, толковать о жизни и о том, как ее улучшить своими усилиями. Подыщите помещения, и вот тут — я это обещаю — наш градоначальник поможет вам, чтобы эти помещения стоили не слишком дорого и были удобны для коллективного времяпрепровождения. Для начала найдите себе

трех-четырех помощников из рабочих и беритесь за дело. Оно целиком ваше, Георгий Аполлонович, вы просто созданы для него. И поддерживайте связь с Соколовым, через него сообщайте мне о возникающих у вас трудностях. С помощью градоначальника мы будем помогать вам их преодолевать. Я уверен, что избранная вами миссия привлечет к вам широкие массы рабочих.

Гапон возвращался от Зубатова будто во сне: все, над чем он без толку ломал голову последние дни, даже вопрос о помещениях, казавшийся абсолютно неразрешимым,— все-все решилось в одну минуту, как по мановению волшебной палочки. Об этом своем ощущении он вскоре расскажет новому другу эсеру Рутенбергу, и тот засмеется: «Зубатов — это уже не волшебная палочка, а целая палка».

Такой разговор Зубатова с Гапоном был. Это засвидетельствовал сотрудник охранки Соколов, который привозил Гапона и присутствовал при беседе. Позднее, когда зубатовские общества потерпят крах, а самого Зубатова за ошибки в миротворческой деятельности среди рабочих уволят в отставку и вышлют во Владимир, Сергей Васильевич уже из провинции будет писать объяснительные записки начальству. В одной из них вспомнит об этом первом разговоре с Гапоном как о примере, доказывающем, что его идея была благотворной и служила укреплению государственных устоев, а не их подрыву, иначе не стала бы фактом полезнейшая деятельность Гапона среди петербургских рабочих...

В эти дни, как-то после проповеди в церкви, Гапона на улице остановил незнакомый, хорошо одетый мужчина лет сорока, с сильным красивым лицом.

— Георгий Аполлонович, давно хочу встретиться с вами. Я ваш земляк, тоже полтавчанин, Петр Рутенберг — инженер, работаю на Путиловском начальником мастер-

ской. Мне мои рабочие уши прожужжали о ваших проповедях. А сегодня я услышал сам. Очень мудро вы говорили и о самом главном. Разрешите вас за это...

Рутенберг крепко сжал руку Гапона, и с этой минуты, можно сказать, возникла их дружба, продолжавшаяся не один год. В тот вечер Рутенберг затащил Гапона к себе домой, и там за бутылкой хорошего вина они проговорили до полуночи. Уйдя от него, Гапон сделал вывод, что познакомился с человеком, хорошо разбирающимся в политике. Такой человек сейчас был ему крайне необходим — он уже действовал в своем обществе, названном «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга», и убедился, что в этом деле от него требуется хорошо разбираться в политике, иначе можно нарваться на беду. Так Рутенберг стал его ближайшим советником во всех делах общества.

Первых помощников для работы в обществе Гапон находит довольно быстро. Любопытно, что одним из них становится Прохор Сергеевич Кудерин — «Пахарь», который, возможно, имел и поручение охранки помогать ему, как это было с другим приближенным Гапона — рабочим Кузиным, который тоже служил в охранке. Уж больно старался Прохор Сергеевич, целыми днями ездил по городу, подыскивая помещения, мебель.

Потом возле Гапона появились и стали верными его помощниками рабочие Петров, Янов, Карелин, Иноземцев и другие. Почти все они были из рабочей аристократии, то есть имели высокую квалификацию, прилично зарабатывали и находились на хорошем счету у фабрично-заводской администрации — народ серьезный, непьющий, хорошие семьянины.

Особо колоритной фигурой среди них был Филиппов — богатырь с окладистой бородой и трубным голосом. Если на собрание проникал нежелательный гость, Гапон немедленно поручал его заботам Филиппова — и гостя как не бывало. Был он истово верующим, потому религиозная

образованность Гапона стала для него высшим словом разума и совести, даже выступая на собраниях, Филиппов обращался к нему не иначе как «отец Гапон».

Все они были людьми энергичными, деловыми и с воодушевлением занимались созданием отделений общества, оборудованием помещений. Столичный градоначальник сделал то, что обещал Гапону Зубатов: за минимальную арендную плату обществу были предоставлены хорошие помещения с большими залами для собраний и вечеров. Гапон работал, не зная устали, почти каждый вечер выступал в каком-нибудь из отделений или распоряжался на семейных вечерах, где устраивались непременные чаепития, иногда выступали лекторы, а то и артисты. Рабочие приходили на вечера семьями. Каждый вечер посвящался какой-нибудь теме. Например: «Совесть рабочего, его труд и жизнь» или «Взаимопомощь, все за одного, один за всех» — на этом вечере каждый пожертвовал по двадцать копеек, и на эти деньги был куплен хороший подарок семье рабочего, у которого родилась двойня...

(Забегая немного вперед, расскажем: как-то на один из таких вечеров — это было уже в 1904 году,— на котором присутствовало около двух тысяч человек, приехал недавно вступивший в должность градоначальника генерал-адъютант Фулон *. Он сел за чайный стол вместе с рабочими, что вызвало горячее одобрение.

Мало того, генерал выступил с речью о трудном времени, переживаемом родиной в связи с войной против Японии. Чтобы с честью выйти из этого испытания, сказал он, русские люди должны быть вот такими дружными, как вы здесь, на вашем замечательном вечере, ибо в единении сила. Ему бурно аплодировали, а когда он уезжал, шумной толпой проводили до автомобиля, кричали «Ура». Фулон так был растроган, что потом побывал на вечерах и в других отделениях.)

---

* В источниках встречается и другое написание фамилии — Фуллон.

Все это время постоянно рядом с Гапоном — эсер Петр Моисеевич Рутенберг. Потом Гапон будет говорить, что они познакомились чисто случайно и что их сблизила родная обоим Полтава. Однако дальнейшие события дадут их сближению совсем другое объяснение. Рутенберг был активным членом эсеровской партии, и когда гапоновское общество стало о себе заявлять, ему поручили сблизиться с Гапоном и проникнуть в его общество, что он и сделал. Их дружба стала и личной, и деловой. Еще одним из заданий, полученных Рутенбергом от своей партии, было отталкивание от гапоновских организаций социал-демократов, ограждение рабочих от их влияния. Он толково объяснял Гапону всю опасность проникновений в общество этих «подстрекателей». Гапон это понял и соответственно проинструктировал всех своих помощников. С тех пор стало правилом: стоило появиться на собрании рабочих такому «опасному» гостю, как в дело вступал богатырь Филиппов...

Не пройдет и трех лет, как тот же Рутенберг организует суд рабочих над Гапоном и его казнь как агента охранки. Как все это произойдет, мы в свое время узнаем. А пока их крепкая дружба еще у всех на виду. И у охранки тоже...

В то летнее утро, выйдя из дома, Гапон невольно вздрогнул, увидев у своего подъезда знакомый автомобиль охранки и в нем столь же знакомого Соколова, распахнувшего дверцу:

— Садитесь, Георгий Аполлонович, Сергей Васильевич ждет вас.

Гапон оглянулся по сторонам — не видит ли кто? Однако влез в машину, поздоровался с Соколовым и спросил обеспокоенно:

— Что случилось?

— Просто Сергей Васильевич хочет поговорить с ва-

ми,— небрежно ответил Соколов, и машина рванулась с места.

Спустя каких-нибудь десять минут Гапон уже сидел в кабинете Зубатова. Только тот встретил его совсем не так приветливо, как в прошлый раз, и сразу начал с дела:

— У меня, Георгий Аполлонович, возникла необходимость вместе с вами кое-что выяснить и уточнить,— он помолчал, заглянул в какие-то лежавшие перед ним бумаги и продолжал: — Прежде всего хочу выразить вам свое удовлетворение развернутой вами работой в обществе. Рассказывают, какое благотворное влияние оно оказывает на рабочих, но мне еще не совсем ясно, что же дальше? Понимаете, Георгий Аполлонович, всякая подобная общественная деятельность однажды должна воплотиться в нечто практическое, по чему и можно будет судить, какова она. Пока ваша деятельность — только слова, а какую цель вы ставите себе впереди? Вот, к примеру, рабочие кружки в Москве сумели в свое время провести славное дело. Вы, вероятно, читали в газетах, как более пятидесяти тысяч московских рабочих организованно возложили венки к памятнику Александра Второго, предварительно пройдя шествием через всю первопрестольную. Государь назвал это волнующим праздником народной любви к династии. Вот и вы бы поставили перед своим обществом какую-нибудь подобную цель...

Гапон молчал. Он, конечно, знал о том шествии с венками и уже не раз слышал нелестные отзывы о нем своих рабочих, называвших его постыдной комедией верноподданничества под стягом полиции. Вот и Рутенберг настойчиво втолковывал ему, как нужно быть осторожным с полицией...

Пережидав его молчание, Зубатов спросил:

— Вы подавали градоначальнику записку о своих дальнейших планах?

— Совершенно верно, подавал,— подтвердил Гапон.—

Боясь возможных наветов и желая их предупредить, я пояснил градоначальнику более чем скромное кредо моего общества, чтобы в случае...

— Мне понятно, зачем вы писали,— перебил его Зубатов.— Это ваше писание у меня. Вот оно,— он положил жилистую руку на лежавшую перед ним папку.— Ваши мысли мне, в общем, по душе, хотя практическая цель, повторяю, не очень ясна. И я понимаю, почему вы решили поделиться своими планами с градоначальником. Но мне хотелось бы объяснить вам, что мое ведомство в качестве гаранта вашей неприкосновенности более надежно, не говоря уже о поддержке министра Плеве.

— О да,— поспешно согласился Гапон.— Но...

Он замялся, и Зубатов рассмеялся:

— Ваше «но» мне тоже понятно, и оно меня смешит. Вы смотрите на меня и думаете: «Гарант вы, конечно, более надежный, но тогда за моей спиной ясно просматривается полиция, а у рабочего отношение к полиции известное». Так вот, Георгий Аполлонович, давайте-ка мы этот вопрос и выясним. И ваша в Петербурге, и моя работа среди московских рабочих не является противогосударственной. Так?

— Конечно,— кивнул Гапон.

— Тогда зачем вам гаранты? Нужно только делать все, чтобы за вашей спиной вместо меня не появились социалистические провокаторы, желающие повернуть ваше благородное дело в своих экстремистских целях. В Москве рабочие собрания уже давно отвернулись от так называемых революционеров и всяких социалистов, и поэтому там нет проблемы с полицией, ей просто нечего там делать. У меня к вам предложение — съездите в Москву, посмотрите, как там действуют рабочие объединения. Денег на поездку мы дадим.

— Мне ехать не ко времени,— ответил Гапон.— Дело в том, что именно сейчас митрополит Антоний занялся вопросом оплаты моей работы, и я...

— Мне это известно,— снова перебил его Зубатов.— Могу вам сказать, что с этим все в порядке. Как раз сейчас вы и могли бы съездить. Я уверен, что Антоний это одобрит.

Спустя три дня Гапон выехал в Москву. В день его прибытия туда в московских газетах были напечатаны экстренные сообщения из Одессы о вспыхнувшей там забастовке, парализовавшей промышленность и порт. Произошли столкновения с полицией, есть жертвы.

Одесские события были лишь частью всеобщей стачки, охватившей весь индустриальный юг России летом 1903 года. Борьбой 200 тысяч рабочих руководили искровские комитеты и группы РСДРП, которые выпускали листовки, вместе с рабочими вырабатывали экономические и политические требования, организовывали демонстрации, массовые сходки и митинги, проходившие под лозунгами «Долой самодержавие!», «Да здравствует демократическая республика!». Стачка смела зубатовщину с пути рабочего движения...

В Москве, как рекомендовал ему Зубатов, Гапон отправился на собрание кружка в Сокольниках. Сопровождавший его работник московской охранки представил Гапона кружковцам, и он сразу оказался в гуще жаркого спора о событиях в Одессе. Оказывается, в одном из сообщений говорилось, будто забастовку спровоцировали люди Зубатова из легальных рабочих кружков. Как раз вокруг этого и ярился спор.

— Что же это получается? — кричал один.— Люди полиции нарушили устав легального кружка о его мирной деятельности, а потом та же полиция стреляла в рабочих! Как это могло случиться?

— А что, разве такое не может случиться и у нас? — кричал другой.— Разве мы тоже не действуем по свистку городового? Вспомните наше шествие с венками к памят-

нику царя. Кому те венки были нужны? Для нас это стало черным позором — пошли на поклон к царю, а полиция за этот наш позор получила награды.

— Это же смех,— подхватил третий.— Полиция заодно с рабочими! С чего бы это? Сами видите, в Одессе эта музыка играла недолго. А почему бы той полиции не дать и нам свисток на забастовку, а потом под это дело разгромить все наши кружки?

Гапон слушал все это с большим волнением — вот же оно, то самое, от чего он хочет уберечь свое общество и на что подбивает его Зубатов!

Рабочие стали расспрашивать Гапона, а как с этим делом в Петербурге? Не подумав о том, что здесь наверняка есть уши Зубатова, он ответил:

— Мы венки к царским памятникам не носили и пока не собираемся.

Его ответ вызвал бурю. Перебивая друг друга, рабочие кричали, что якшаться с полицией означает своими руками подрывать веру рабочих в кружок, да и действительно же, как можно блюсти их интересы при участии полиции?

Снова вопрос к нему:

— А у вас тревога об этом есть?

— Как не быть? Но мы делаем все, чтобы полиция не имела повода на нас нападать. И полиция видит, что мы хотим одного — улучшить экономическое положение рабочих и при этом кулаками никому не грозим, верим в доброе сердце государя.

Гапон заметил, что его ответ выслушан без особого доверия.

Еще вопрос:

— Деньги на свое дело у полиции получаете?

Гапон сделал вид, будто удивлен вопросом, если не возмущен, и ответил:

— Нам помогает градоначальник.

Реплика:

— Так что градоначальник, что полиция — одна контора!

Гапон пожал плечами и промолчал, ему трудно было смотреть в глаза рабочих, выжидательно устремленные на него...

С собрания ехали вместе с сопровождавшим его сотрудником московской охранки, который нанял извозчика. Гапон ждал, что скажет охранник о собрании, но тот молчал. И тогда он сказал сам:

— Не понравилось мне все это.

Охранник, возможно, считая Гапона своим человеком (а то с чего бы начальству посылать его встречать гостя на вокзале и везти сюда?), произнес со злостью:

— Конечно, ничего хорошего. И, думаете, я понимаю, зачем мы играем в жмурки с этими горлопанами? Вот в Одессе доигрались...— он отвернулся, явно не желая продолжать разговор.

Утром Гапон уже возвращался в Петербург с твердым решением держаться от Зубатова подальше, а поближе к генералу Фулону.

В этот день он к Зубатову не пошел, решил раньше побывать у градоначальника. Тот принял его тотчас, но был что-то не очень приветлив и сразу спросил:

— С чем приехали из Москвы?

— С тревогой, ваше превосходительство.

Генерал откинулся в кресле и, разглаживая рукой свою двуслойную бороду, выжидающе смотрел на собеседника.

— Тревога у меня,— начал смиренно Гапон,— но не за первопрестольную, а за свои собственные дела здесь. Сергей Васильевич Зубатов рекомендовал мне во время этой поездки изучить опыт его московских кружков.

— Ну-ну? — заинтересованно произнес Фулон.— И что же вы там увидели?

— Я увидел то, что мне совершенно не подходит,— твердо ответил Гапон.— Нельзя, чтобы в рабочих собраниях хозяйничала полиция, ибо это подрывает в их глазах весь главный замысел нашей деятельности.

Генерал встал, осанисто выпрямился, одернул китель, разгладил клыки бороды на две стороны и сказал:

— Ваши московские впечатления представляются мне важными. Зубатов желает, чтобы все равнялись на него, а еще неизвестно, так ли уж полезно это равнение. Вы ему о поездке докладывали?

— Никак нет, я решил сначала побывать у вас.

— И правильно сделали. Но поскольку к нему вам все же придется явиться, дайте ему понять, что слепо равняться на его московский опыт вы не собираетесь.

— Слушаюсь,— еле слышно отозвался Гапон.

От Фулона он направился прямо к Зубатову. По дороге обдумал, как с ним разговаривать. Он чувствовал, что в отношении Фулона к Зубатову за эти дни, что ушли на поездку в Москву, что-то изменилось, но в чем тут дело, догадаться не мог. А дело было в том, что Фулон уже знал: события в Одессе вызвали у царя раздражение против Зубатова, уже была известна ему и фраза государя, что Зубатов обманул самого себя и всех нас...

Но, как говорится, пока суд да дело, Гапон явился пред строгие очи начальника особого отдела. Тот уже имел донесение из Москвы о посещении им рабочего кружка в Сокольниках, где в это время, как сообщал агент, велись непозволительные разговоры о событиях в Одессе...

— Полезно ли съездили, Георгий Аполлонович? — благодушно поинтересовался Зубатов, хотя лицо у него было хмурое.

— Скорей вредно, Сергей Васильевич,— тихо произнес Гапон.

— Что так?

— У меня создалось впечатление, что в Москве наносится вред объединениям рабочих.

— Кем же это наносится? — спросил Зубатов, впрочем, без особого удивления, будто знал ответ заранее.

— Неумными действиями некоторых работников полиции,— осторожно ответил Гапон.

— Ну что ж, неумные работники могут оказаться везде,— обронил Зубатов и, сняв очки, начал их тщательно протирать.— И если вы хотите помочь нашему общему делу, я просил бы написать мне подробную записку о ваших московских впечатлениях, чтобы я знал поточнее, где там у меня действуют дураки.

— Я напишу,— пообещал Гапон,— прошу на это три дня.

— Хватит и двух,— раздраженно заметил Зубатов.— Жду вас послезавтра.

— Но у меня накопились дела в обществе...

— Жду вас послезавтра,— сердито повторил Зубатов.— Хотя дело вам надо делать не торопясь и с умом, чтобы в нем жили мои идеи в не испорченном дураками виде. Петербург должен показать пример, как надо его вести. Я надеюсь на вас, Георгий Аполлонович.

Гапон ушел сильно встревоженный. Он понимал, что Зубатов лезет в его дела, его люди следят за каждым его шагом. Любопытно, что именно Рутенберг, от которого его предостерегли в охранке, то и дело сигнализировал ему о присутствии агентов охранки на собраниях рабочих. И не кто иной, как тот же Рутенберг недавно с помощью рабочих выдворил с собрания агитатора из социал-демократов. Поди разберись во всем этом. Гапону недостает настоящего политического мышления. Но хитрости, ловкости ему действительно не занимать. Он дорвался до заветного — почти каждый день видит благоговейно внимающую ему толпу. Его окружают люди, смотрящие на него религиозными глазами, клянутся ему в верности. Этого он не отдаст никому. Он снова обдумывает то, что

услышал от Зубатова. Нет, нет, с ним каши не сваришь. Но и опасно лишиться его поддержки. И все-таки, решил Гапон, я занял единственно правильную позицию и буду ее держаться.

Что же это за позиция?

15 июля 1904 года эсеровские террористы убили министра внутренних дел Плеве, которого Гапон считал своей крепкой поддержкой и имел для этого основания. Плеве, которого называли беспощадным кулаком царя, в борьбе со всякими антиправительственными тенденциями проявлял непреклонную решимость и открытую жестокость, а к деятельности Гапона среди петербургских рабочих относился одобрительно. Об этом рассказал однажды близкий к министру человек — будто бы Плеве, одобряя Гапона, высказался так: «Зубатовские организации рабочих от безрассудства охраняет полиция, а гапоновскую — бог, а я в бога верю больше, чем в Зубатова».

Но Гапон словно чувствовал, что Плеве не вечен, и еще при нем постарался сблизиться с петербургским градоначальником — сначала это был Клейгельс, а затем Фулон.

Фулон — еще одна случайная фигура в петербургском ареопаге царских сановников. Вступая на этот пост, он под крестное знамение поклялся сделать Петербург образцовой столицей, достойной России и трехсотлетней династии. Именно эти слова Фулон услышал от царя, когда был у него по случаю своего назначения.

— Невозможно более терпеть,— с досадой и болью говорил монарх,— столица наша стала обиталищем всяческих врагов трона и порядка. Конечно, это забота в первую голову полиции, но не забывайте, что вы власть и над нею. В ваших руках жизненный порядок и покой города, такой порядок, какой всегда наблюдаешь в Москве. Не случайно мне нередко снится торжественный предвечерний благовест московских церквей. А здесь мы больше слышим фабричные гудки. Великий князь Сергей Алек-

сандрович уверяет меня, что все дело в том, что в его Москве духовенство стоит ближе к народу, чем в столице.

Эту мысль Фулон запомнит, и однажды она сыграет важную роль в его отношении к Гапону, так как генерал увидит в нем идеал священнослужителя, действующего в самой гуще народа.

Фулон был человеком попросту неумным, но назначение его на должность градоначальника было типичным для российских порядков — возникла вакансия, а у Фулона были полезные связи. Зубатов вспоминал: «Мой первый же деловой разговор с Фулоном поверг меня в недоумение, если не в отчаяние — в такое тяжелейшее для столицы время ее хозяином становится такая бесформенная личность типа Манилова. Весь наш полуторачасовой разговор с его стороны состоял из общих фраз вроде: «Я вижу Петербург городом спокойной, размеренной жизни при достатке всех слоев населения, которое должно испытывать гордость своим проживанием рядом с императором и желание сделать все, чтобы его величество был уверен в его доброжелательстве». Или: «Мы с вами должны быть тесно связаны как едиными заботами, так и едиными действиями...» Я знаю только одно его конкретное дело — самостоятельное содействие Гапону, что сильно мешало нашим действиям в том же направлении».

А хитрость позиции Гапона как раз на этом и строилась. Стараясь уйти от контроля Зубатова и одновременно опасаясь потерять его поддержку, Гапон делает ставку на Фулона, рассчитывая и на его защиту при возникновении тревожных обстоятельств. Более того, он знал от самого Фулона, что департамент полиции у него в подчинении и он им недоволен...

Записку о поездке в Москву, обещанную Зубатову, Гапон все же написал. Она всего на двух страничках и удивляет резкостью тона. Гапон, очевидно, уже пронюхал, что над Зубатовым нависли грозовые тучи. Так или иначе,

записка не случайно оказалась в личном деле Зубатова среди документов, связанных с его разжалованием и отправкой на пенсию. Все наиболее резкие выражения в ней подчеркнуты каким-то начальственным лицом...

Когда в январе 1904 года разразится русско-японская война, Гапон применит в своем обществе нечто новое и содействовавшее росту его авторитета — в разговоры свои с рабочими он вводит тему войны.

Из донесения агента охранки Добрынина о собрании рабочих в Нарвском отделении гапоновского общества:

«...После чего он (Гапон) в весьма трогательных словах рассказал, как ему случайно посчастливилось недавно видеть, как царь провожал войска, отправлявшиеся бить япошек. Он говорил, что так провожать солдат мог только отец родной и что он видел на глазах солдат слезы любви и благодарности. Затем он стал говорить о том, что на той войне все совсем не так плохо, как судачат ничего не знающие люди, и зачитал сравнительные данные потерь противника и наших. Цифры были очень впечатляющие, и он призвал рабочих своим добросовестным трудом помогать отчизне в этой войне. После выступления Гапон сообщил мне, что благополучные данные о потерях он вычитал в журнале «Нива»...»

Всякий раз речь Гапона сопровождалась подъемом патриотического настроения слушателей.

Словом, Гапон продолжал действовать. Но, вероятно, его все-таки беспокоила мысль о том, что он может лишиться доброго отношения к нему полиции, и не в связи ли с этим он ввел еще одно новшество — в нескольких его докладах встречаются строчки, похожие на цитаты из агентурных донесений, о попытках социал-демократов и прочих социалистов проникнуть на его собрания и внести в них смуту. Тут просматривается еще одна хитрость — для обнаружения попавших на собрания опасных подстрекателей он привлек своих ближайших помощников, которые исправно сообщали ему о каждом таком слу-

чае. Потом он открыто благодарил их от имени охранки за добрую помощь в ограждении общества от провокаций.

Гапон был, кроме всего, мастером создания собственной славы. Когда он начал активно развертывать работу своего общества, вокруг его имени стала возникать широкая молва о его необыкновенности. Крайне любопытна история с «ломоносовской» иконой. Еще работая в саблеровской церкви, Гапон многим своим поклонникам показывал деревянный образок и рассказывал, что получил его в подарок от архиерея из Архангельска и будто на образке выжжена такая надпись: «Ломоносов пришел в Петербург с севера, а вы с юга, и там вы встретились для прославления православной Руси». И вот в газете, издававшейся пещерным мракобесом князем Мещерским, уже печатается заметка под заглавием «Ломоносов из Полтавы», в которой превозносится пастырская деятельность Гапона. Однажды Рутенберг попросит показать ему эту иконку. Гапон рассмеется: «Ее похитили у меня поклонницы».

Очень похожа и другая история. Гапон пустил ее во время беседы с рабочими в одном из отделений своего общества. Он рассказал, будто обратился к императрице с предложением поставить перед Исаакиевским собором памятник его строителю — рабочему, который должен стоять на пьедестале, держа в одной руке евангелие, в другой — мастерок каменщика, и будто бы императрица отнеслась к этому благосклонно. Тут уж встревожился Зубатов, поинтересовался, как бы увидеть ответ императрицы? По его свидетельству, Гапон ответил: главное, что из-за этой истории рабочие с большим почтением говорили об императрице...

Ходили о нем и другие подобные легенды, и эта его, можно сказать, самодельная слава никак не мешала его разраставшейся реальной славе как мудрого вожака рабочих. Эту славу он энергично поддерживал своей деятельно-

стью в «Собрании русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга». И буквально упивался сладостной возможностью повелевать душами веривших ему людей.

Однако этот праздник Гапона длился недолго — меньше года. Произошло то, что не могло не произойти. Россия все глубже погружалась в экономический кризис, положение рабочих становилось все более тяжелым. А жизнь дорожала со дня на день. И ко всему еще война, и правительство уже начало подчинять экономику военному режиму. Неудивительно, что все чаще Гапон, общаясь с рабочими, попадает в щекотливые положения, когда не может найти выход с помощью привычной демагогии. Он все чаще обращается к Рутенбергу за советом, как лучше ответить на каверзные вопросы.

В декабре 1904 года в Нарвском отделении общества перед началом собрания Гапона окружила на улице большая группа рабочих. И пошли вопросы:

— Нашему терпению приходит конец,— угрюмо, глядя ему в глаза, сказал один рабочий.— И у нас единственный выход — пригрозить забастовкой. Можно это по нашему уставу?

— Нет. Забастовка — это уже насилие,— раздраженно ответил Гапон.

— Так только пригрозить,— уточнил другой рабочий.

— А если никто не испугается? — спросил Гапон, не отклоняя мысль об угрозе и не понимая при этом, что его загоняют в угол.

— Если не испугаются, тогда бастовать,— ответил рабочий.

— И тогда разгонят наше общество.

— А на кой нам это общество, если оно никак нам не помогает?

— Ну и закрывайте его! — со злостью выпалил Гапон, вырвался из кольца обступивших его людей и ушел...

Гапона разыскал руководитель черносотенного «Союза русского народа» доктор Дубровин. Они разговаривали за кулисами Выборгского дома гапоновского общества после только что закончившегося собрания рабочих.

— Я ищу вас уже вторую неделю,— сказал Дубровин.

— Да что вы? Во всех отделениях моего общества есть телефоны, позвонили бы в любое и все обо мне узнали.

— О телефоне я не подумал, а помог мне найти вас Зубатов. Собрание ваше мне не понравилось. Вы совершаете очень большую ошибку, думая, что в сегодняшней обстановке с рабочими можно говорить на языке молитв. Сейчас время действий.

— Так, а зачем же я вам понадобился? — тревожно спросил Гапон.

— Мы же служим одному делу объединения сил русской нации и должны действовать вместе. Тем легче нам удастся объединить национальные силы России, тем более мы ей будем полезны. Ваше общество, как я могу судить по собранию, бездеятельно, а сейчас одних слов недостаточно. Мой Союз действует иначе — мы сами разыскиваем врагов России и династии и уничтожаем их. Сидя на вашем собрании, я подумал: если бы я сейчас вышел на трибуну и сказал, что за все ваши муки мы отправим на тот свет распоясавшихся хозяев заводов, этих кровавых палачей рабочего люда, собрание устроило бы мне овацию.

— Ошибаетесь, доктор. Устав моего общества отвергает всякое насилие.

— А разве тут насилие? Тут просто возмездие тем, кто делает из рабочих голодных нищих. Не думайте долго, Георгий Аполлонович, вот вам мой телефон, позвоните утром, скажите только одно слово: «согласен» — и дальше мы пойдем вместе. Не забудьте, что государь император — член нашего Союза.

— Я подумаю...

Но нет, он не позвонит Дубровину, это ему запретит Зубатов.

Зубатов все же, наверно, не ожидал, что с ним поступят так круто. Буквально за неделю до своего смещения он уговорил Гапона написать умное письмо председателю Комитета министров Витте, и написать его так, чтобы тот проникся уважением к идее Зубатова о легальной организации рабочих. Гапон такое письмо написал, но как прореагировал на него Витте, неизвестно.

Опираясь на поддержку Фулона, Гапон вплоть до отставки Зубатова поддерживал с ним связь, а после его ухода — с другими деятелями охранки, изо всех сил стараясь показать, что его общество не должно их беспокоить, а ему они должны верить.

Позже, после 9 января, уже находясь за границей, Гапон в откровенном разговоре с Рутенбергом скажет: «В моих отношениях с охранкой я чувствовал себя как человек, первый раз вставший на коньки: сделай неосторожный шаг — и можно хлопнуться об лед, а шагать было необходимо». Рутенберг спросил:

— А разве осторожным вашим шагом было получение денег на общество от министерства внутренних дел?

— Я считал это поддержкой правительства, а не охранки,— ответил Гапон.

Рутенберг спросил:

— А разве сам Зубатов не вручал вам подарочные конвертики?

— Подарки — это не жалованье...

Надо заметить, что в отличие от Зубатова другие деятели охранки видели Гапона гораздо точнее.

Вот их свидетельства о нем.

Друг и соратник Зубатова, знаменитый мастер политического сыска Евстрат Медников был в дружеских отношениях не только с Зубатовым, но и со сделавшим большую карьеру будущим жандармским генералом Спиридовичем, с которым находился в личной переписке.

Медников писал Спиридовичу из Ялты:

«Даже с помощью прелестного тридцатиградусного Черного моря не удается смыть с души груз и грязь служебных переживаний. Главная моя тревога, дорогой Александр Иванович, это о том, как плохо мы учимся на собственном опыте. Позволю себе даже вас персонально упрекнуть — ведь если бы вы в тот проклятый вечер не шли по городу в одиночку, негодяй не посмел бы выстрелить в вас. Но разве вы не знали, что негодяи храбры, только когда имеют дело с жертвой-одиночкой? (Речь тут идет о покушении на Спиридовича в Киеве, когда он отделался ранением в руку.— *В. А.*) Знали, а пошли один и теперь вынуждены иметь дело с врачами и трепать нервы всем, кто вас любит и уважает. Но посмотрите, как мы непоследовательны и в делах наших служебных. Разве не беда наша, что по-прежнему часто мы имеем факты, когда мы то не можем до конца выследить, а то и упускаем потенциальных убийц верных людей монархии. Эти факты вам прекрасно известны. А мы при этом разводим руками: ах, это оттого, что у нас безобразно урезаны штаты филеров. А когда мы даже берем эсера-боевика и потом не умеем обрезать его корни и ветви, мы сокрушаемся, что у нас мало умных и опытных следователей. Но почему так? Мы имеем право потребовать решительного увеличения ассигнований на наше дело у правительства, которое мы, черт побери, спасаем от убийц. А одновременно мы тратим средства и силы на бог знает что. Я, честное слово, не могу понять нашего с вами общего друга С. В. (Зубатова), продолжающего верить в свои аквариумы, в которых он разводит мирных революционеров и рабочих пай-мальчиков. Теперь он в Петербурге делает ставку на священника Гапона, имя которого вам, конечно, известно. Что происходит? С. В. ставит на эту серую лошадь в поповской рясе и дает ему значительные средства, на которые этот поп развернул в столице более десятка центров своего общества рабочих. Я побывал на одном словоизвержении

этого попа перед рабочими и потом имел с ним нелицеприятный разговор, и мне он ясен с головы до ног — это карьерист, добивающийся должности пророка в своем отечестве. Я слышал, что он говорит рабочим, и видел, как те его слушают. Артистические переливы голоса, закатанные вверх глаза, жесты благословения. А смысл точно рассчитан на низкий умственный уровень слушающих с учетом, что половина их — вчерашние деревенские мужики. И он прямо им говорит то, что другие не говорят,— что жизнь у них тяжелая. Но все от бога. А бог завещал всем нам любить ближнего. А что значит любить? Это значит помогать друг другу, и для того мы здесь и собираемся. И в заключение он приглашает всех в зал собрания откушать чайку с баранками и заявляет, что чаем они угощают сами себя, так как все это на те копейки, которые они вносят в общество. Но я-то знаю, что и зал, и чай, и баранки — на деньги, которые мы даем его обществу из секретного фонда. С. В. говорит — не жалко-де денег, потому что за Гапоном идут рабочие и он отвлекает их от опасных затей, и с его помощью мы знаем все, что там делается и говорится. И получается какая-то чушь: мы вроде защищаем государя от революции с помощью поповской рясы. Тревожит меня это. Ведь не такие дураки нелегалы, чтобы не воспользоваться этими сборищами рабочих. Наконец, и без них рабочие со всеми своими нуждами, собираясь вместе, однажды могут сказать этому попу: «Хватит туманить нам мозги божьими посулами» и сами повернутся ко всяким социалистам. В общем, зыбкое это дело, Александр Иванович, а главное — не наше это дело...»

Имеется интересный отзыв о Гапоне и самого генерала Спиридовича.

После революции, уже находясь в эмиграции, Спиридович в одной из своих публикаций в выходившей в Берлине белогвардейской газете «Руль» вспомнил о своей встрече с Гапоном: «Однажды Сергей Васильевич Зуба-

тов попросил меня, как он выразился, посмотреть Гапона и дать о нем свое заключение. К тому времени я, конечно, знал, что Гапон является последователем идеи Зубатова об умиротворении пролетариата, я был убежден, что идея эта мертворожденная. Но Зубатов сказал мне, что Гапон явление самостоятельное и представляющее значительный интерес для нас. Он сам представил мне Гапона и ушел.

Я пригласил Гапона сесть в кресло у моего стола и, пока он усаживался, внимательно его наблюдал. Внешность? На нем был светлый костюм-«тройка». Густые темные волосы зачесаны назад. Бесформенный нос сдвинут влево. Аккуратные усы, бородка клинышком. Белые длиннопалые руки. В первые минуты он держался скованно и в то же время развязно — в кресло присел бочком, но закинул ногу на ногу и стал смотреть на меня спокойно и вместе с тем настороженно. Зубатов предупредил меня об одном его «пунктике» — он категорически отрицает зубатовский метод полного полицейского контроля над рабочими собраниями, однако сам настойчиво добивается связи с нами. Такая двухслойная позиция у людей, связанных с нами, не новость. Сколько таких калькуляторов перебывало передо мной! Ну что ж, вот мы и начнем с этой болевой темы. Далее — почти буквальная запись нашего разговора...

Я. Георгий Аполлонович, давайте для облегчения разговора зафиксируем тот факт, что вы находитесь в полиции, причем в самом ославленном его отделе, в охранке. И находитесь вы здесь вполне добровольно и, насколько мне известно, по собственному желанию. Не так ли?

Он (в глазах у него блеснуло лукавство). В известном смысле я предпочел бы оказаться здесь не добровольно.

Я. Но вы, Георгий Аполлонович, забываете при этом одно обстоятельство — когда люди попадают к нам сюда не добровольно, проблематичным становится уход отсюда.

Он. О, да. Но я-то, по-моему, не давал никаких поводов, чтобы затруднить свой выход отсюда.

Я. Надеюсь. Но в жизни все в движенье.

Он. Мое состояние неизменно. Я посвятил себя внушению людям любви к государю и веры в то, что он служит своему народу.

Я. Видно, плохо вы это делаете, раз приходится нам здесь же, в Петербурге, вон какие штаты содержать для охраны особы государя императора.

Он. То, может, и от вашей слабости тоже. А потом, можно ли соизмерить, соответствуют ли ваши штаты размеру опасности?

Я. Я вижу, вам за словом в карман лезть не надо.

Он. Мои слова у меня в сердце.

Я. Георгий Аполлонович, только честно, зачем вам связь с нами?

Он. Я нуждаюсь в покровительстве. Я человек без столичных связей, а меня и мое дело легко оклеветать. Вокруг сколько угодно завистников и всяческих провокаторов.

Я. Провокаторов, в каком смысле?

Он. На своих собраниях я окружен людьми простыми, в наших свободных разговорах любой из них может выразиться несообразно, и не со зла скажет, а просто не подумавши, а на этом можно сотворить большую клевету на все мое святое дело.

Я. Мне сказали, что вы на свои собрания социал-демократов не пускаете?

Он. Категорически не пускаем!

Я. Эта ваша предусмотрительность умная, будете ее блюсти неуклонно и можете быть спокойны. Но эсеры, говорят, у вас все же бывают?

Он. Так в эсерах состоят многие рабочие, а им запретить присутствовать я не могу.

Я. Но какой же господин Рутенберг рабочий?

Он. Рутенберг инженер, но главное — он мой землякполтавчанин и у нас с ним дружба.

Я. Все же остерегайтесь эсеров, надеюсь, вы знаете. что их партия называется партией социалистов-револю-

ционеров, а это значит, что они тоже враги всякого социального мира. Какой там мир, если они стреляют верных царских слуг. А как вы, кстати, угадываете присутствие социал-демократов?

Он. Своих рабочих я в лицо знаю. А если появился чужак, да еще на мои слова усмешечки строит, я сразу своим помощникам говорю, чтоб посмотрели того, с усмешечкой. И его тут же под белы рученьки и вон. К слову, тот же Рутенберг имеет тонкий нюх на эсдеков.

Я. Скажите, а разве покровительства Зубатова вам недостаточно?

Он. Боюсь, что он ко мне пристрастен. Иначе зачем бы ему на каждое мое собрание своих агентов подсылать? Чего они меня караулят?..»

«Так начался наш разговор,— пишет далее Спиридович.— И я уже видел, что этому попу хитрости не занимать. Но когда в дальнейшем разговоре я завел его в дебри политической обстановки, сразу выяснилось, что он совершенно в ней не разбирается и его представление о ней примитивно и приблизительно. Он, видите ли, борется за лучшую жизнь для рабочих, чтобы не было среди них нищеты и недоедания. Я спросил у него, за счет каких же средств произойдет это улучшение жизни рабочих? А он отвечает, что надо заставить раскошелиться хозяев, которые наживают себе целые состояния за счет труда рабочих. Я ему говорю, что этого же добиваются и социал-демократы, у них это называется взять в свои руки средства производства, а затем и власть, а значит, долой самодержавие.

— Самодержавие тут ни при чем,— с апломбом заявил Гапон.

Я ему говорю, как же это ни при чем, если самодержавная власть всеми силами охраняет существующий в государстве порядок?

На это следует его вопрос:

— А разве сам самодержец не хочет, чтобы рабочие в



его государстве жили лучше? И разве он не в силах сделать что-то для этого? И разве предосудительно пытаться привлечь внимание царя к этой проблеме? И вы знайте — большинство рабочих свято верят, что царь верно служит своему народу, а беда в том, что окружающие царя чиновники мешают ему узнать правду о жизни рабочих...

Вон еще когда он уже думал о той петиции, с которой 9 января поведет рабочих к Зимнему дворцу, чтобы открыть глаза царю!..

Вдруг он сказал:

— Время теперь такое, не поймешь, кто—кто и кому можно верить? Вот побывал у меня на собрании писатель Максим Горький. Потом подошел ко мне, хвалил, сказал, что я умею словом в душу войти, и вдруг добавляет: «А вот царя вы зря облизываете, его надо коленом под зад, а вы «батюшка, отец наш...» Вы глядите, писатель же, живет, небось, как барин, а царь ему плох. Вот и пойми это.

Я сказал Гапону, что Горький как раз социал-демократ и есть и тут нечему удивляться. И спросил: «Но про царя он именно так и сказал?»

— Да, да, именно так, дословно,— подтвердил Гапон.

Я демонстративно сделал запись и поблагодарил Гапона за ценное сообщение. Он проглотил мою благодарность, не дрогнув бровью. И принялся рассуждать о тлетворном влиянии на Россию Европы, ссылаясь почему-то на то, что во Франции проституция — профессия, зарегистрированная государством. А когда я заметил, что куда опасней влияние французской революции, он небрежно махнул рукой:

— Что та революция для русского рабочего или мужика?!

В общем, Гапон произвел на меня прямо угнетающее впечатление мелкостью своей личности. Я сказал все это Зубатову и спросил, почему мы с ним возимся?

Он ответил так:

— Нас должно интересовать и тревожить любое ско-

пище рабочих, а у него их собираются сотни, и поэтому нам лучше иметь его, как говорится, под рукой, а не в тумане неведения. А так все просто и понятно обеим сторонам: он имеет наше покровительство, а за это нам надо платить. Только упаси бог делать это открыто, ибо тогда мы становимся как бы соучастниками тех сборищ рабочих и, случись там какая-нибудь пакость, по шее получаем мы.

В этих словах Зубатова предвидение им собственной катастрофы. Вот и Гапон в свой час и с помощью социал-демократов нанесет нам сильный удар, от которого мы долго не сможем оправиться. Между прочим, и сам он погибнет от рук своих сообщников и в приговоре ему будет стоять — за связь с полицией. И это еще раз подтвердит истину, что в политике двум богам сразу молиться нельзя. Гапон молился трем: властям, рабочим и собственному тщеславию...»

III



Максим Горький очень интересовался деятельностью Георгия Гапона. «Кровавое воскресенье» буквально потрясло писателя, тем более что в тот день Горький сам увидел Гапона, и тот произвел на него жалкое впечатление (помните — «ощипанная курица»?). Но тогда как же он смог поднять и повести за собой такую массу людей? Горький расспрашивал знакомых рабочих, политических друзей — социал-демократов. Но написал о нем только в 1906 году, находясь в Америке, когда о Гапоне и его судьбе многое было уже известно, но о том, что поп был полицейским провокатором, Горький тогда точно еще не знал.

Вот его очерк «Поп Гапон» (сокращенный):

«...Чтобы понять его влияние на рабочих, необходимо рассказать следующее:

В 1900—1901 гг. правительство, испуганное развитием интереса к вопросам политики и ростом революционного настроения среди рабочих Москвы и Петербурга, задумало взять это движение в свои руки. С этой целью были ассигнованы крупные суммы и избраны лица, на которых департамент полиции возложил задачу перенести интересы рабочих к вопросам политики на вопросы экономические. В Москве за это принялся чиновник охранного отделения Зубатов, быстро доказавший, что департамент не ошибся, поручив ему это дело... Наиболее разумные рабочие скоро начали понимать, что их обманывают. Но раньше, чем дело Зубатова провалилось в Москве, оно нашло для себя почву и организаторов в Петербурге.

Поп Гапон явился на сцену как организатор петербургских рабочих в начале 1904 г. Его публичному выступлению в этой роли предшествовало следующее весьма важное обстоятельство. В феврале 1904 г. он пришел к петербургскому митрополиту и просил главу церковных учреждений разрешить ему, Гапону, посвятить свои силы делу организации рабочих Петербурга для проповеди среди них религиозно-нравственных идей и противодействия росту идей революционных. Митрополит категорически запретил ему заниматься этим делом. Но несмотря на запрет непосредственного начальства, министр внутренних дел Плеве удовлетворил просьбу Гапона, что являлось со стороны министра явным нарушением прерогатив церкви, а со стороны Гапона — ослушанием, за которое, по церковным правилам, он подлежал духовному суду и строгому наказанию. Однако митрополит не протестовал против грубого вторжения Плеве в область, ему не подведомственную, и не предал суду Гапона. Последнее обстоятельство всех очень удивило, потому что русская церковь крайне строго следит за дисциплиной среди своих служителей и наказывает их весьма сурово. Такое мягкое отношение к

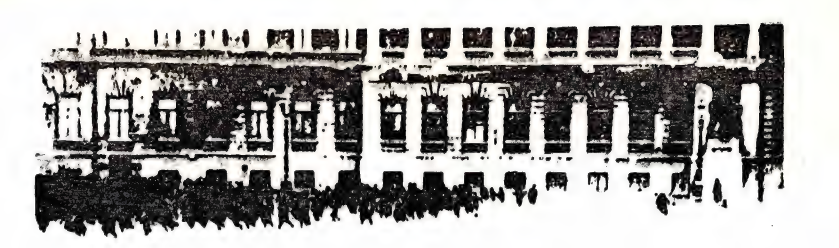
Гапону могло бы быть объяснено нежеланием раздражать рабочих, но в то время Гапон еще не был популярен среди них.

Через несколько дней после визита к митрополиту Гапон публично открыл основанное с разрешения Плеве «Общество петербургских рабочих» и был выбран председателем этого общества. На открытии присутствовали петербургский градоначальник Фуллон, чиновники полиции и агенты охранного отделения, Гапон снялся вместе со всеми ими в одной группе. Общество основало в разных частях города Петербурга одиннадцать отделов, председателем каждого отдела был выбран рабочий, а во главе всех стоял сам Гапон...

Когда факт сношений Гапона с министром Плеве и охранным отделением был точно установлен — революционная интеллигенция и политически развитые рабочие решили не вступать в сношения с Гапоном, но вести революционную пропаганду на собраниях его легального общества.

На первых же митингах среди рабочих своей организации поп стал резко нападать на деятельность революционных партий и предостерегать рабочих от увлечения политикой. Его личная политическая программа была крайне неопределенна, можно, однако, характеризовать ее старой славянофильской формулой «Царь и народ», т. е. непосредственное общение царя с народом. Явно в своих речах он старался избегать вопросов политики. Критикуя весьма невежественно и пристрастно деятельность революционных партий, он не выдвигал, как я сказал уже, ясной программы. Такой же неопределенностью отличались и его экономические взгляды, в формулировке их он подчинялся практическим указаниям самих рабочих, творчество его личной мысли отсутствовало и в этой области.

Кратко говоря — он был только фонографом идей и настроения рабочей массы. Около него группировалась бес-



Требованія Рабочихъ

Мы, рабочіе г. СПб. наших же…н, дѣти и
беспомощные старцы родители, пришли
къ тебѣ, государь, …скать … и защиты.
Мы обнищали, … у… …
… непо…

сознательная, но все более возбуждавшаяся под давлением действительности рабочая масса, он собирал в себе, как в фокусе, ее инстинктивное, все возраставшее революционное настроение, и его сильный темперамент отражал это настроение обратно в массу, не вводя, однако, в ее духовный мир каких-либо своих идей. Пафос его речи, его страстные жесты, сверкающие глаза, сильный, хотя грубый язык показывал рабочим, как в зеркале, самих себя в образе, уже несколько облагороженном, в формулах, уже более ясных, чем их личные, полусознательные догадки о причинах бедствий рабочего класса в России. Он был типичный демагог очень дурного тона.

Вот чем объясняется его популярность и обаяние среди рабочих Петербурга, на мой взгляд. Он действовал среди рабочих всего один год и исключительно среди рабочих Петербурга. Народ узнал его имя лишь после «Красного воскресенья», когда о Гапоне заговорили все газеты. Его организация не успела завязать связи с рабочими других городов, крестьяне тоже не входили в сферу ее влияния, краткого во времени и лишенного ясных руководящих идей. Но рабочие Петербурга, силой своего революционного настроения, постепенно создавали из Гапона, сотрудника Плеве и Зубатова,— Гапона, выразителя революционных стремлений русского рабочего. Человек не сильный, не образованный и впечатлительный, он сам не замечал, как, подчиняясь давлению чувства массы, становился революционером и изменял задачам министерства Плеве, которые взялся защищать. Но все время он упорно и последовательно предостерегал рабочих от влияния их товарищей, сознательных революционеров и интеллигенции, которую он открыто обвинял в стремлении захватить политическую власть руками рабочих... Это обвинение характеризует Гапона в моих глазах не только как политического невежду, но и как человека внутренно непорядочного. Я не могу назвать себя поклонником русской интеллигенции вообще, но русская революционная интел-

лигенция, т. е. интеллигенция истинно революционных партий,— на мой взгляд, одно из интереснейших духовных явлений мира по своему идеализму, бескорыстию и самоотверженной деятельности в интересах не только своей нации, но и всего человечества.

1904 год был годом моральной гибели русского правительства. Война открыла всему народу глаза на тех, кто руководит его судьбой, и они встали пред страной, раздетые Японией донага. Все увидали этих жадных паразитов, обессиливших страну и ограбивших ее, в их естественной величине. Всюду единодушно вспыхнуло чувство злобы и отвращения к Романовым и их слугам. Крах промышленности и торговли еще более революционизировал рабочий народ, и поп Гапон поднимался все выше на волне революционного настроения. Я уже сказал, что он был зеркалом и фонографом чувств и мыслей рабочих масс и, конечно, он роковым образом должен был соскочить с легального пути, с пути служения интересам правительства, задачам Плеве и Зубатова. В конце года настроение рабочих поднялось так высоко, обнаружило такую силу, что необходимо было сделать какой-то чисто практический, революционный шаг. Влияние широкой пропаганды революционных партий вносило в среду серой массы, окружавшей Гапона, сознательные требования. На собраниях, где ораторствовал Гапон, рабочие стали кричать ему:

— Довольно слов, батька! Укажи нам дело!

Тогда поп Гапон начал искать сближения с революционными партиями, он стал допускать на свои собрания агитаторов-революционеров, разрешая им излагать свои взгляды, но когда они уходили, он высказывался против них. Однако заметив, что такое двойственное поведение дурно действует на его рабочих, он должен был прекратить это. Революционеры становились популярны в массе, их жадно слушали. Гапон — честолюбив. Поэтому и

потому, что отступать назад было уже поздно для него, он решил идти вперед.

Я думаю, впрочем, что он ни в каком случае не мог бы отступить, потому что в это время он был уже не вождем рабочих, а лишь орудием в их руках, древком знамени, которое они несли и на котором написали:

— Свобода!

«Красное воскресенье» было подготовлено силою рабочей массы, и роль Гапона в этот день мог с успехом выполнить любой из них. В этот день рабочие двинулись к Зимнему дворцу сразу из одиннадцати разных пунктов; во главе одной из этих волн шел Гапон... Была ли именно эта волна самой сильной?

В ней было около двадцати тысяч человек, всего же к Зимнему дворцу шло почти 200 000.

Рабочих, с которыми шел Гапон, расстреляли у Нарвской заставы в 12 часов, в 3 часа Гапон уже был у меня.

Переодетый в штатское платье, остриженный, обритый, он произвел на меня трогательное и жалкое впечатление ощипанной курицы. Его остановившиеся, полные ужаса глаза, охрипший голос, дрожащие руки, нервная разбитость, его слезы и возгласы: «Что делать? Что я буду делать теперь? Проклятые убийцы...» — все это плохо рекомендовало его как народного вождя, но возбуждало симпатию и сострадание к нему как просто человеку, который был очевидцем бессмысленного и кровавого преступления. Вместе с ним ко мне явился один революционер, молодой, энергичный парень (видимо, Рутенберг.— *В. А.*), имевший сильное влияние на Гапона в смысле революционном. Он сурово сказал попу:

— Довольно, батька! Довольно вздохов и стонов. Рабочие ждут от тебя дела... Иди, пиши им!

Гапон несколько оправился, и вскоре под его диктовку революционер написал сильное обращение к рабочим, в

духе несколько анархистическом. Люди, читавшие воззвания Гапона, вероятно, замечали, что они всегда имеют характер анархистический. Это может быть не результатом сознательного увлечения анархизмом, а просто признаком политического невежества, как, вероятно, и было это у Гапона. Я познакомил попа с людьми, которые взялись переправить его через границу, и с той поры не видел этого несчастного человека... «Красное воскресенье» было вершиной горы, на которую поднял Гапона революционный народ,— с этого дня поп начинает быстро скользить вниз...»

Здесь следует пояснить, что и до 9 января Горький относился к Гапону с подозрением; его настораживало, что этому попу властями предоставлена возможность буквально под носом охранки созывать массы рабочих и ораторствовать перед ними. По свидетельству близкого Горькому старейшего советского литератора В. Десницкого, накануне «Кровавого воскресенья» Алексей Максимович созвал у себя на квартире совещание представителей левой печати, революционных партий и говорил на нем, что поп подозрителен, что нельзя его оставлять во главе нарастающего движения, что нужно, пока не поздно, идти к рабочим, бороться с Гапоном и провокаторами. Однако после жестокого расстрела царем мирной манифестации рабочих во главе с Гапоном Горький не мог не считаться с тем, что и сам Гапон вместе с рабочими оказался под пулями. В этот день Горький помог ему скрыться от полиции, видя в нем невольную жертву кровавого произвола царской власти, в благородство которой тот будто бы слепо верил.

И вот наша хроника подошла к 9 января 1905 года.

«Кровавое воскресенье». В этом названии удивительно точно раскрывается и прямой, и иносказательный смысл происшедшего в тот зимний день. Кто дал это название —

неизвестно. Рутенберг рассказывал, что впервые услышал его из уст Горького вечером 9 января, когда они с Гапоном находились на квартире писателя. Никакого иного подтверждения этому нет, и думается мне, что название родилось в народе, как говорится, само собой.

О том, что произошло тогда, широко известно по многим источникам, в том числе и по документам того времени...

Девятого января, когда в иных районах Петербурга еще слышались выстрелы, а на ломовых дрогах развозили по больницам города раненых и трупы рабочих (их насчитывалось, вопреки утверждению департамента полиции, около пяти тысяч), в столичной охранке было заведено «Дело о розыске о. Гапона». Естественно, дело пока было жиденькое, всего несколько страниц. Понимая, что происшедшее вызовет в стране бурю возмущения, охранка торопилась назвать конкретное лицо, которое уже сейчас можно обвинить во всем. Там помнили фразу царя, сказанную во время доклада ему об убийстве террористами министра внутренних дел Плеве. Николай бушевал во гневе, швырнул в докладчика карандаш, но, когда услышал, что организаторы и исполнители покушения пойманы, заметно успокоился и произнес: «Когда знаешь, кого вздернуть за подобное, на душе становится легче».

И вот вам уже есть дело о розыске вполне реального Гапона.

На первом листе — бегло набросанный карандашом схематический план Петербурга, тех его улиц, по которым двигалось шествие к Зимнему дворцу. На каждой такой улице поставлена и обведена кружком цифра — номер агента, находившегося в этом месте. Судя по цифрам, агентов было одиннадцать — по числу отделений гапоновского общества рабочих. Донесения в деле почему-то толь-

ко от троих. Нас может заинтересовать донесение агента № 7.

«Согласно раскладке, шел в процессии, которая двигалась от Нарвской заставы и в которой находился и сам о. Гапон и рядом с ним его приближенные — рабочий Васильев, эсер Рутенберг и еще два или три человека (не установлены). Когда начались выстрелы, я точно видел, как о. Гапон упал и рядом с ним, обнимая его за плечи и как бы прикрывая его собой, лежал Рутенберг. Васильева там уже не было. Вместе с другими, укрываясь от пуль, я переместился левее, ближе к зданию, и в это время потерял о. Гапона из виду. Немного позже неизвестная женщина рассказала мне, будто она видела, как двое мужчин уводили о. Гапона в направлении Троицкого моста. Крестясь, она повторяла: «Благодарение господу, спасли нашего батюшку верные люди». Более никакими сведениями не располагаю». Сбоку на донесении, у строки, где упоминается Рутенберг, написано синим начальственным карандашом: «Срочно поднять дело Рутенберга. Искать через него». И подпись крючком. Больше в этом деле никаких документов от 9 января нет. С более поздними датами документы появятся в свое время, и мы ими заинтересуемся.

Но вот еще один документ, интересный тем, что он датирован 8 января. Это — подписанный товарищем министра внутренних дел генералом Рыдзевским ордер № 182 следующего содержания: «Секретно. Петербургскому градоначальнику. Препровождая при сем отношение на имя коменданта крепости от 8 января за № 181, имею честь просить Ваше превосходительство не отказать в распоряжении о личном задержании священника Георгия Гапона и о препровождении его для содержания под стражей в С.-Петербургскую крепость».

Это означает, что охранка еще накануне и даже раньше знала, что у нее есть повод для ареста Гапона. Запомним это.

В донесении начальника Петербургского жандармского управления от 10 января говорится, что Гапон 9 января «ни убит, ни ранен не был, а упал после выстрела, притворился убитым, тотчас же был подхвачен и унесен соумышленниками».

А вот документ, потом не имевший широкой публикации, но представляющий большой интерес...

В архиве министерства внутренних дел России хранился доклад директора департамента полиции Лопухина царю о событиях 9 января. На первых его страницах, где излагается предыстория гапоновского «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга», имеется собственноручная правка Лопухина, которая представляет самостоятельный интерес, так как по ней можно понять, в каком сложном положении находился автор доклада и как он пытался из него выкрутиться, помня, что его доклад — это ответ на требование царя дать ему исчерпывающую справку о событиях того дня.

Главная трудность и опасность для Лопухина заключалась в том, что совсем недавно его коллега по департаменту полиции Зубатов по повелению царя получил позорную отставку и был выслан из столицы как раз за то, что его люди в созданных им так называемых «легальных рабочих организациях» допустили в своей работе грубейшие ошибки и объективно стали соучастниками возбуждения всеобщих забастовок в Одессе и других городах. Читая его правку, ясно видишь, что вся она подчинена одной цели — убедить царя, что петербургские события по своей природе не имеют ничего общего с теми, зубатовскими, и что полиция к ним абсолютно непричастна.

Давайте познакомимся с докладом хотя бы вкратце.

В конце 1903 года, говорится в нем, среди рабочих некоторых санкт-петербургских фабрик и заводов возникла мысль об образовании особого общества фабричных и заводских рабочих. (Обратите внимание: мысль о создании общества возникла у самих рабочих и будто в помине не

было Зубатова — главного идеолога и организатора подобных обществ. Ну а если царь сам вспомнит об этом, он неизбежно же вспомнит и о том, что Зубатов уже получил сполна, а Лопухин тут ни при чем.)

Дальше в докладе сообщается, что «ближайшее участие в организации этого общества принял б. священник петербургской пересыльной тюрьмы, кандидат богословия Георгий Гапон, по ходатайству которого с.-петербургским градоначальником генерал-адъютантом Клейгельсом было первоначально разрешено рабочим устраивать собрания для обсуждения их нужд, а также задач проектированного общества. Вступивший в начале зимы 1904 года в должность с.-петербургского градоначальника генерал-адъютант Фулон поддержал начинания рабочих и представил министру об утверждении выработанного ими проекта устава «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Петербурга», каковой устав получил утверждение 15 февраля 1904 года». (Здесь важно заметить, как Лопухин пристегнул к созданию Собрания двух градоначальников столицы и министра внутренних дел: вон-де сколько и какие, лично известные царю, сановники принимали в том участие, и рядом с ними он, Лопухин, со своим департаментом — лишь мелкая сошка, только исполнитель сановной воли.) Но дальше Лопухин с помощью тщательной правки вышивает новый узор — ему же надо немедля оправдать в глазах царя упомянутых сановников. Для этого необходимо убедить государя, что поддержанное ими гапоновское общество не таило в себе ничего такого, что давало бы повод отнестись к нему отрицательно.

«Собрание это,— пишет Лопухин,— имело целью предоставить своим членам возможность разумно и трезво проводить свободное от работы время, а также распространять среди рабочего населения на началах русского национального самосознания просвещение и способствовать улучшению условий труда и жизни рабочих. Для достижения этих целей обществу было предоставлено устраи-

вать еженедельные собрания для обсуждения нужд своих членов, образовывать в своей среде светские и духовные хоры, устраивать концерты и семейно-вокальные и литературные вечера, учреждать разного рода просветительные предприятия... образовывать различные благотворительные и коммерческие предприятия... Действительными членами Собрания могли быть только русские рабочие обоего пола, русского же происхождения и христианского вероисповедания».

Далее Лопухин после столь радужного изложения замысла общества, не помня, однако, что через несколько строк радуга погаснет, делает хитрейший «ход конем». Представьте, царь читает следующее:

«В день официального открытия деятельности Собрания учредитель такового — вышеуказанный священник Гапон и члены Собрания, с глубокой признательностью оценивая благожелательность правительства по отношению к рабочим, выразившуюся в учреждении Собрания, просили бывшего министра внутренних дел (а он уже полгода как убит террористами — поди с него взыщи! — *В. А.*) повергнуть к стопам Его Императорского Величества их верноподданнические чувства любви и преданности и по всеподданнейшему докладу об этом статс-секретаря Плеве 20 мая 1904 года были удостоены Высочайшей благодарности».

Вот так элегантно и в возвышенном стиле, привязав к созданию общества самого царя, Лопухин приступает к объяснению того, как же все-таки все проглядели опасность. И снова надо отдать должное его изворотливому уму и хитрости. Читаем: «Относительно деятельности его (общества.— *В. А.*) с.-петербургский градоначальник неоднократно свидетельствовал министру, что собрание строго держится намеченных его уставом задач и является твердым оплотом против проникновения в рабочую среду превратных социалистических учений. При наличности такого удостоверения министерство (внутренних дел,—

В. А.) не имело никакого основания ожидать возможности какого-либо внезапного появления в обществе стремления расширить круг своей деятельности, тем более что сведения о ней градоначальник черпал не только из докладов подчиненного ему охранного отделения, но и из личных бесед со священником Гапоном, который являлся к нему с докладами. В дальнейшем своем развитии Собрание пользовалось таким успехом, что в течение 1904 года открыло в разных частях столицы одиннадцать отделов».

В общем, из этих лопухинских строк выходит, что священник Гапон охмурил всех: и двух градоначальников, и министра, и полицию, и самого царя, удостоившего его высочайшей благодарности...

Отвлечемся ненадолго от доклада, чтобы рассказать об одном эпизоде, который поможет нам понять дальнейший ход событий накануне «Кровавого воскресенья».

27 декабря Гапону домой позвонил Рутенберг:

— Срочно одевайтесь, хватайте на улице извозчика и поезжайте в Нарвское отделение. Там большая беда. И не только в Нарвском, но там — главное. Бунтуют путиловцы!

Не прошло и часа, как Гапон входил в зал Нарвского отделения. И был буквально оглушен — несколько сотен человек в один голос скандировали:

— Тетявкина вон! Тетявкина вон!

— Что это за Тетявкин? — спросил Гапон у подбежавшего к нему бородача Филиппова.

— Вы, отец, видно, не знаете, что произошло? На Путиловском уволено четверо рабочих и будто только за то, что они принадлежат к нашему обществу. А представил их к увольнению мастер Тетявкин.

— Тетявкина вон! — грохотал зал.

С помощью Филиппова Гапон взобрался на подмостки:

— Тише! Тише! — крикнул он, но куда там — зал ревел еще сильнее. И тогда Филиппов гаркнул своим могучим басом:

— Тихо! Будет говорить отец Гапон!

Зал наконец притих.

— Дорогие братья! — начал Гапон.— Совершена грязная провокация, но мы должны здесь заявить, что своих рабочих мы никому не уступим!

— Не уступим! — на одном дыханье повторил зал.

— У меня предложение,— продолжал Гапон.— Сейчас же здесь мы избираем три рабочие депутации, они завтра же с нашими требованиями пойдут: одна — к директору завода, другая — к главному заводскому инспектору Чижову и третья — к градоначальнику, нашему другу генералу Фулону.

Взрыв оваций.

— А после Нового года мы снова соберемся здесь и заслушаем наших депутатов. Давайте составлять наши депутации! Называйте фамилии, а я буду записывать.

На эту процедуру ушло более двух часов, но состав депутаций был наконец утвержден. Гапон обратился к избранным:

— Наши требования просты и понятны каждому. Вернуть уволенных. Это раз.

Овация.

— Мастера Тетявкина выгнать!

Овация.

— И можно еще потребовать навести порядок со штрафами.

Овация.

— Значит, второго января снова собираемся здесь! До свидания, братья!

Гапон сбежал с подмостков и растворился в бурлящей толпе.

2 января утром зал был снова набит битком. Отчитывались депутации. В общем, ничего они не добились, раз-

ве что один из четырех уволенных будет восстановлен на работе. Дирекция завода встретила депутацию злобно:

— Ваш ультиматум — форменное безобразие,— заявил директор.— Неужели вы всерьез думаете, что дирекция не имеет права уволить рабочего, хотя бы и члена вашего общества? Что же касается штрафов, то я никогда не слышал, чтобы вопрос о справедливости наказания решали наказанные. Дисциплина в цехах никуда не годится, огромный процент бракованной продукции, а эта продукция идет на войну. И при всем этом вы хотите лишить нас права уволить какого-то нерадивого рабочего. Идите-ка вы, братцы, по домам и подумайте хорошенько о том, что я вам сказал. Что касается мастера Тетявкина — мы его не тронем, это очень хороший и старательный работник.

Градоначальник Фулон принимал депутацию стоя, сказал, что двое рабочих из четырех уволенных по его просьбе уже восстановлены, остальных восстановят после праздников. А вот насчет несправедливых штрафов вопрос очень сложный, и его надо ставить конкретно и точно, с такого-то штраф взыскан за то-то и то-то, всем видно — справедливо или нет. А вообще штрафы вполне узаконенное средство взыскания за плохой труд, и отменить их не может никто. Надо хорошо работать, чтобы у администраторов и рука не могла подняться на штраф...

Собрание выслушало депутатов в полном и грозном молчании. Вдруг на подмостки вышел пекарь филипповской булочной Иванов.

— Неужели вы всерьез думали, что кто-то прислушается к вашим требованиям? — заговорил он.

Зал загудел неодобрительно, и Иванов это почувствовал. Поднял руку:

— Погодите, не торопитесь, сейчас я скажу главное.

— Мы слушаем вас,— засуетился Гапон.— Вот тот случай, когда социал-демократы всерьез могут помочь, послушаем, какой выход они нам предлагают.

— Выход очень простой,— ответил Иванов.— Завтра всем собраться на заводском дворе и без крика и шума, без размахиванья кулаками объявить, что путиловцы хотят забастовать. И все. Сами увидите, как закрутится ваша администрация.

— Бастовать! Бастовать! — кричали в зале, и отдельные выкрики покрывала гремучая овация...

Ну а теперь пора уже главному охраннику приступить и к изложению событий 9 января. И тут Лопухин в первых же строках обнаруживает новых виновников происшедшего, его перст прежде всего указует на хозяев Путиловского завода. Лопухин при этом конечно же учитывает — он знает это,— что царь недоволен Путиловским заводом, считая, что он нерадиво работает на войну. Читаем доклад:

«Во время минувших рождественских праздников среди рабочих Путиловского завода распространился слух, что по представлению мастера Тетявкина уволены с завода без всякого предупреждения четверо рабочих: Сергунин, Субботин, Уколов и Федоров, причем в рабочей среде передавалось, что истинной причиной увольнения этих рабочих была принадлежность их именно к указанному выше «Собранию». Этот слух послужил поводом к созыву на 27 декабря экстренного собрания членов, до 350 человек, и после обсуждения дела было постановлено послать три депутации: к градоначальнику, к фабричному инспектору и директору Путиловского завода, а на 2 января назначить новое экстренное собрание для обсуждения результатов, достигнутых депутациями...»

Здесь мы на время вновь прервем чтение лопухинского доклада и обратимся к двум свидетельствам по поводу зарождения именно этого «путиловского инцидента».

Административными делами на Путиловском заводе ведал фабричный инспектор Чижов. В самый разгар событий на заводе из-за увольнения четырех рабочих он по

требованию департамента полиции срочно пишет свое объяснение: «Требования депутаций были немыслимыми. На восстановление трех из уволенных рабочих мы уже дали свое согласие градоначальнику генералу Фулону, но предъявленные нам требования шли гораздо дальше и выполнение их означало бы позорную для дирекции капитуляцию, что немедля вызвало бы подражание сему примеру на других фабриках и заводах, с чем, как мне известно, согласились все, включая генерала Фулона. Поэтому и директор завода Смирнов, и я ответили депутации категорическим «нет». А все дальнейшее было уже вне наших возможностей».

Второе свидетельство, в котором есть весьма важные признания и уточнения, вышло из-под пера самого Гапона спустя год. Но тут нужно учитывать, что пишет он это в 1906 году, находясь за границей, когда у него зародилась мысль вернуться в Россию. Что с ним в это время происходило и как он возвращался, мы еще узнаем, а сейчас важно заметить, что в связи с возможным возвращением Гапон конечно же стремится хоть как-то отвести от себя обвинения за случившееся 9 января. Все, что он пишет об этих днях, преследует только одну цель — показать, как он не хотел допустить осложнений и как в одиночку бился, чтобы предотвратить беду, но никто его не слушал, а Фулон даже заявил, что больше ему не доверяет.

Но что это такое, читаем мы? Рассказывая о собрании рабочих, срочно созванном им после неудач с депутациями, Гапон вдруг признается, что на него он «пригласил и делегатов революционной партии (понимай: социал-демократов.— *В. А.*), и это было впервые, что они были приглашены и присутствовали на нашем собрании». Зачем делается это признание, если дотоль он упорно открещивался от всякой связи с ними в многочисленных своих докладах Фулону и Зубатову? Можно подумать, что он имел возможность прочитать доклад Лопухина царю, где началь-

ник охранки уверяет монарха, что Гапон вступил в сговор с извечными врагами самодержавия — социал-демократами. Но Гапон доклад Лопухина читать не мог, и тогда это его признание — просто результат совпадения интересов. Охранке это нужно для того, чтобы успокоить царя, заверить его, что вся беда случилась из-за проклятых социал-демократов, сбивших с толку его верноподданных. А Гапону — чтобы показать, что и он в конце концов стал жертвой тех же социал-демократов. Истина же состояла в том, что охранка в эти дни уже не могла ни контролировать, ни тем более направлять события, а Гапон уже не был никаким вожаком рабочих, а превратился в беспомощную щепу на гребне штормовой волны рабочего движения, вызванного совсем не им, а объективными историческими причинами: глубоким экономическим кризисом и чуждой народу тяжелой войной. Лично Гапону принадлежала только заранее обреченная идея идти с петицией к царю-батюшке — что-то вроде ранее организованного зубатовцами в Москве массового шествия рабочих с венками к памятнику Александра Второго. Ближайший друг и соратник Гапона Рутенберг это его признание прочитал, уже находясь вместе с ним за границей, где записки Гапона и были изданы, и сделал по этому поводу ироническое предположение, что под представителями революционной партии Гапон, очевидно, имел в виду его, Рутенберга.

А если взглянуть на эту ситуацию повнимательнее, то как тут не вспомнить пророчество В. И. Ленина, что в конце концов легализация рабочего движения принесет пользу отнюдь не Зубатовым. Вот и гапоновское общество рабочих в свой час обернулось против его организаторов, против самодержавия...

Но вернемся к докладу Лопухина царю.

«...2 января,— пишет он,— на экстренном собрании членов Путиловского отдела общества в числе до 600 человек, при участии священника Гапона, объяснения директора завода были признаны недостаточными и на от-

крытом голосовании было решено «поддержать товарищей» и в этих видах, не приступая 3 января к работам, без окриков, шума и насилия собраться в заводской конторе и потребовать от директора увольнения мастера Тетявкина и обратного приема указанных 4-х рабочих. При этом попытки некоторых из присутствовавших, видимо, посторонних лиц, придать вопросу политический оттенок и разбросать нелегальные воззвания были встречены членами Собрания весьма недружелюбно». В только что прочитанном следует обратить внимание на появление вот тех некоторых «посторонних лиц», недружелюбно встреченных рабочими. Дальше, по мере нарастания грозных событий, эти лица в докладе Лопухина превратятся уже в главарей подпольных преступных организаций, революционных деятелей, проникших наконец на собрания рабочих.

«...Ввиду высказанного генерал-адъютантом Фулоном опасения,— говорится далее в докладе,— что возникшая на Путиловском заводе стачка перенесется и на другие промышленные заведения столицы, министром внутренних дел был поставлен генерал-адъютанту Фулону вопрос о том, какие меры предполагает он (именно он, а не охранка! — *В. А.*) принять в отношении священника Гапона и его общества, на что генерал Фулон заявил, что арестом их стачка едва ли будет остановлена, что аресты эти скорее вызовут в рабочих раздражение и что он может рассчитывать на спокойное течение стачки только при условии оставления священника Гапона и общества рабочих на свободе, так как через них воздержит массу от беспорядков...» Прямо поразительны незнание этими сановниками обстановки и их уверенность, что они чем-то еще управляют!

Напрасно, уважаемый читатель, вы будете ждать, что Лопухин все-таки скажет царю хоть малую правду об истинных причинах случившегося. Нет, нет, недрогнувшей рукой он вписывает в доклад такое утверждение: «В на-

чальной стадии своего развития рабочее движение, не вызванное какими-либо осложнениями в экономическом отношении и возникшее исключительно на почве общетоварищеской солидарности,— чем и объясняется столь быстрое его развитие,— было чуждо политических вожделений и влияния агитации подпольных революционных организаций».

В чем тут дело? Почему Лопухин, докладывая царю о событиях, потрясших Россию и трон, демонстрирует такое элементарное непонимание их сути?

Это тем более странно, что Лопухин был человек умный и обладал перспективным мышлением, о чем свидетельствует, к примеру, его докладная записка министру внутренних дел о мнимой и реальной опасности партии эсеров, в которой проанализирована социальная природа этой партии, подчеркнут ее случайный состав и этим объясняется неустойчивость ее программы в отношении социалистических идей, что неизменно в конце концов приведет к распаду, ибо не может быть действенной партия, которая сама четко не определила, что ей делать — то ли заниматься террором, то ли вести политическую работу... Наконец, это же он, Лопухин, вскорости сделает шаг, который будет стоить ему карьеры: он подтвердит, что один из лидеров эсеров, Азеф — полицейский агент и провокатор, и это столь авторитетное заявление из уст начальника департамента полиции станет таким ударом, от которого Азефа уже ничто и никто не сможет спасти. А спустя несколько лет Лопухин напишет, что сделал он это, понимая, что черная деятельность Азефа (которым он, меж тем, тоже руководил) рано или поздно будет раскрыта.

И вдруг тот же Лопухин сочиняет царю такой несостоятельный документ о 9 января. В чем же тут дело?

Нельзя ли найти ответ на этот вопрос в оценке действий охранки, данной Витте, когда ему пришлось столкнуться с ней в связи с попытками покушения на его

жизнь? Он говорил потом, что охранительные службы России и двора придерживались опасной двусмысленной стратегии: с одной стороны, вели охоту на политических врагов самодержавия и, конечно, знали, что их все больше и они становятся все опасней, но, с другой стороны, всячески внушали двору, что революционные идеи — это нечто чуждое народу, ибо народ един в своей преданности самодержавию.

Жандармский генерал Спиридович, один из руководителей охранки, в 1916 году, уже видя неотвратимость крушения самодержавия, сделал в своем дневнике такую запись: «Наше трагическое заблуждение длилось не один год. Мы не извлекли урока из революции 1905 года, когда мы искали ее подстрекателей, не видя ее корней, и часто желаемое принимали за действительное. Чего стоит одно заявление начальника департамента полиции Лопухина по поводу раскола с.-д. партии на большевиков и меньшевиков. «Это мы их раскололи,— заявил он,— и таким образом этой партии, как таковой, больше нет».

Трудно было сказать бо́льшую глупость. Если к этому прибавить целую череду безруких правительств, не имевших глубоко продуманной политики, нам остается только пожалеть великую Россию и ее императора, который вынужден был видеть Россию глазами разнокалиберных сановников, оберегавших его покой внушением, без всякого на то основания, что Россия могущественна и никаким подстрекателям не по силам ее поколебать. Похоже, что по этой схеме Лопухин строил и свой доклад монарху о 9 января. Но при том была еще, конечно, и растерянность властей предержащих от грозного удара революции...»

Меж тем Лопухин продолжал писать доклад царю.

«3 января в 8 часов утра,— ведет он свою хронику событий,— действительно весь Путиловский завод забастовал... 5 января прекратились работы на Невском судостроительном и механическом заводе... 7 января с утра забастовали все крупные заводы и фабрики в С.-Петербур-

го и прекратили работы и многие мелкие производства, а равно и типографии... Так около 10 часов утра на Васильевском острове толпа забастовавших, до 300 человек, прошла по 23-й и Косой линиям и остановила работы на всех местных мелких фабриках и заводах, а затем пыталась проникнуть на пироксилиновый завод Морского ведомства, но была не допущена туда угрозами начальника завода пустить в дело имеющиеся постоянно на заводе 2 роты моряков... (Любопытно, что Лопухин здесь просто переписывает принятые по телефону донесения от околоточных надзирателей, городовых и филеров.— *В. А.*)

Но по мере распространения стачки требования рабочих становились более широкими и постепенно перешли к предъявлению хозяевам одной общей в главных чертах программы с требованием сокращенной нормы рабочего дня, участия рабочих в заводоуправлении и т. п. Такие требования в письменном изложении, составленном Гапоном, были распространены среди рабочих и еще более усиливали среди забастовщиков противодействие возможным в отдельных случаях соглашениям с хозяевами промышленных предприятий. Собравшиеся на совещание хозяева забастовавших заводов и фабрик пришли к выводу, что удовлетворение некоторых из домогательств рабочих должно повлечь за собой полное падение отечественной промышленности... При всем том,— уверяет Лопухин царя,— порядок в столице нигде нарушен не был и не было никаких данных, указывающих на участие в агитации подпольных преступных организаций, которые, по агентурным сведениям, сами оказались застигнутыми врасплох стихийным характером забастовки». Итак, никаких, так сказать, тревожных данных нет — стихия и ничего больше. Но читайте буквально следующие строчки доклада:

«Тем не менее (!) главари этих организаций решили использовать ее в своих интересах и придать ей характер общего протеста рабочих против существующего государственного строя.

С другой стороны, священник Гапон, еще в первых числах января рекомендовавший рабочим не возбуждать политических вопросов, не читать и жечь подпольные листки и гнать разбрасывателей их, войдя затем в сношения с упомянутыми главарями, постепенно начал на собраниях отделов вводить в программу требований рабочих коррективы политического характера и, по внесении в нее последовательно-общеконституционных положений, закончил наконец эту программу требованием отделения церкви от государства, что ни в каком случае не могло быть сознательно продиктовано рабочими. Ту же агитацию предприняли и революционные деятели, которые наконец проникли в Собрание рабочих благодаря протекции, которую стали оказывать им рабочие, стоявшие вместе с Гапоном во главе «Собрания русских фабрично-заводских рабочих».

Только полной растерянностью «всесильной» и «всевидящей» охранки перед грянувшим революционным взрывом можно объяснить несостоятельность и путаную противоречивость доклада Лопухина на высочайшее имя. А бедному монарху с его недалеким умом предстояло по этому докладу судить и рядить подвластную ему Россию, притом что сам он был в эти дни повержен в состояние животного страха, заставившего его еще накануне 9 января тайком бежать из столицы и спрятаться в пригородном дворце.

Меж тем страна ощутила только самые первые толчки великого землетрясения, от которого на Питер накатилась высоченная волна и город оказался в центре могучего водоворота, в котором барахтались и царь, и его охранка, и его политики, и жалкая фигура Гапона в поповской рясе, которого главный охранник государства объявляет главным виновником событий, обманувшим вся и всех и из послушного подручного охранки по умиротворению пролетариата превратившегося в революционера.

Трижды чушь! Трижды непонимание происходящего, того, что в эти дни в чугунные двери самодержавной Рос-

сии впервые грозно и требовательно постучалась революция, Его Величество рабочий класс, который именно в это время, как говорил Ленин, впервые противопоставляет себя как класс всем остальным классам и царскому правительству. И что значил тут Георгий Аполлонович Гапон, этот последыш «зубатовского социализма», вообразивший себя чуть ли не вождем революции, во что поверила ослепшая от страха охранка?!

Ведь если следовать логике, вернее, полному отсутствию логики доклада Лопухина, то достаточно было выслать Гапона в Сибирь — и ничего бы не произошло. Но так как нам еще предстоит заняться дальнейшей судьбой Гапона, мы увидим, что даже когда первый натиск революции стихнет, та же царская охранка все еще будет продолжать возиться с Гапоном, будет его опасаться и даже тащить к себе в помощники.

Но вернемся опять к чтению доклада:

«Зайдя так далеко в размерах и конечных целях им же вызванного по ничтожному случаю движения, Гапон, под влиянием подпольных политических агитаторов, решился закончить (!) это движение чрезвычайным актом и, инспирируемый агитаторами, стал пропагандировать мысль о необходимости публичного представления государю императору петиции от забастовавших рабочих об их нуждах. Такая проповедь Гапона в среде рабочих не могла не увенчаться успехом и действительно вызвала поголовное желание у всех забастовавших идти 9 января всей массой на площадь Зимнего дворца и вручить непосредственно его величеству, через Гапона и выборных, петицию об общих нуждах рабочего сословия. Вера в возможность осуществления такого способа подания петиции еще более укреплялась в сознании рабочих тем обстоятельством, что в лице Гапона они видели не случайного подпольного агитатора, а духовное лицо, действующее как председатель законом разрешенного общества рабочих».

Так, вольно или невольно раскрыв природу того, что обмануло измученных, обозленных жизнью рабочих, Лопухин переходит к описанию кануна и утра «Кровавого воскресенья»...

Но раньше мы прочитаем, что об этих часах написал сам Гапон в своих, изданных в 1906 году в Лондоне записках:

«Мое последнее посещение моего дома навсегда останется в моей памяти... Я вошел в дом. Там уже находилось несколько литераторов и один английский корреспондент. Я попросил моих друзей составить проект петиции к царю, в которую вошли все пункты нашей программы. Ни один из составленных проектов не удовлетворил меня; но позднее, руководствуясь этими проектами, я сам составил петицию, которая и была напечатана. Также я решил, что народ должен сам подать эту петицию царю. (До чего же трогателен здесь английский корреспондент, сочиняющий проект петиции рабочих к царю! Но не выдумка ли это другого английского корреспондента (а может, и того самого?), который в 1906 году в Лондоне помогал Гапону писать цитируемую сейчас книжку?) В последний раз я оглядел свои три комнатки, в которых собиралось так много моих рабочих и их жен, так много бедных и несчастных, комнатки, в которых произносилось столько горячих речей, происходило столько споров. Я посмотрел на висевшее над моей кроватью деревянное распятие, которое очень любил, потому что оно напоминало мне о жертве, которую Христос принес для спасения людей. (Вот так, и не меньше!) В последний раз посмотрел я на картину «Христос в пустыне», висевшую на стене, на мебель, сделанную для меня воспитанниками приюта, где я был законоучителем. Подавленный горем, но исполненный твердости и решимости, я оставил свой дом, не надеясь никогда больше его увидеть. (Ничего, он увидит, и довольно скоро, и именно здесь, под картиной «Христос в пустыне», будет обдумывать свои новые грязные делишки с царской охранкой!)

...Я провел остаток ночи в доме одного из рабочих, работая над составлением петиции. Окончив ее, я отвез ее на следующее утро к одной даме, которая обещала мне напечатать ее (к сожалению, а может, радости дамы, Гапон не назвал ее имени, и из-за этого она вместе с ним не прошмыгнула в историю), и затем вернулся домой, чтобы хотя немного отдохнуть. Один из моих друзей, разбудив меня, сказал, что ко мне на дом (был, что ли, еще у него какой-то дом?) приходил курьер из министерства юстиции с предложением явиться туда. От митрополита Антония была получена записка (тридцать тысяч курьеров!), также приглашавшая меня явиться, очевидно, для объяснений по поводу забастовки (как же тут могло обойтись без митрополита, если он, Гапон, уже почти Христос?). Предчувствуя неудачу (?), я решил не ходить ни в министерство, ни к митрополиту. (Ну как же! Вожди не ходят, к вождям приходят...) Но когда 8 января я убедился, что правительство намерено прибегнуть к крайним мерам (неосторожное признание!) в случае, если мы не откажемся от наших намерений, и снова получил от Муравьева (министр юстиции) приглашение явиться, я решил пойти, чтобы в последний раз попытаться окончить дело миром (вот так просто — потолковать с министром и миром закончить революцию!)... Я решил пойти в министерство после полудня, а до того времени написать письма министру внутренних дел и царю. Последнее письмо было немедленно отвезено (опять курьеры, курьеры!) двумя доверенными лицами в Царское Село с приказанием немедля доставить его в руки царю... (Далее Гапон цитирует это письмо, которое заканчивается так: «Покажитесь завтра безбоязненно вашему народу и великодушно примите нашу скромную петицию. Я, как представитель народа (не меньше!), и мои славные товарищи гарантируем вам полную безопасность ценой нашей жизни» (дескать, охранка охранкой, но наши жизни — гарантия более надежная...). Не знаю, дошло ли мое письмо до государя, так как я ни-

когда больше не слышал о двух моих посланниках (и абсолютно никто больше тоже не слышал!). Вероятно, они были немедля арестованы. Письмо же к Святополк-Мирскому (министр внутренних дел) было ему доставлено, хотя я не хлопотал о его доставке (а зачем же писал?). Когда мой друг вернулся из министерства внутренних дел, мы вместе поехали в министерство юстиции. Он остался в сенях... Очевидно, все, т. е. швейцар, курьеры, чиновники, знали о том, что происходит, и о причинах моего посещения, так как встречали меня с видимым любопытством, уважением и даже низкопоклонством (куда там Хлестаков?!). «Скажите мне откровенно, что все это значит»,— спросил меня министр, когда мы остались одни. Я в свою очередь попросил его сказать мне откровенно, не арестуют ли меня, если я буду говорить без опаски. Он как будто смутился (еще бы! Каково ему наедине толковать с вождем революции?), но затем, после некоторого размышления, ответил «нет» и затем торжественно (еще бы!) повторил это слово. Тогда (обезопасив, так сказать, себя!) я рассказал ему об ужасных условиях, в которых находятся рабочие и народ в России... При этом я вручил ему копию нашей петиции. Всего было сделано только 15 копий. Одиннадцать было роздано отделениям нашего союза, одна — на лучшей бумаге — для государя, по одной — министрам внутренних дел и юстиции и одна — для меня. Я отдал ее корреспонденту одной английской газеты, высказав при этом надежду, что и нам Господь дарует те права, которыми пользуется английский народ. (Все время возле него курьеры, министры и английские корреспонденты!) Поэтому я был очень удивлен, когда Муравьев (министр) сказал мне, что у него уже есть такая копия. (Ах, наивный вождь революции забыл про охранку, куда не сам ли он и отправил ту копию?) Муравьев, прочитав петицию, простер руки с жестом отчаяния и воскликнул: «Но ведь вы хотите ограничить самодержавие». Да, ответил я, но это ограничение было бы на благо как самого

царя, так и его народа... Ваше превосходительство, мы переживаем великий исторический момент, в котором вы можете сыграть большую роль. Несколько лет тому назад вы запятнали себя преследованием тех, кто боролся за свободу. Теперь вы имеете случай смыть это пятно. Немедля напишите государю письмо, чтобы, не теряя времени, он явился к народу и говорил с ним. Мы гарантируем ему безопасность. Падите ему в ноги, если надо, и умоляйте его, ради него самого, принять депутацию, и тогда благодарная Россия занесет ваше имя в летописи страны. (Он прямо за уши тащит министра вместе с собой в историю!) Муравьев изменился в лице, слушая меня, но затем внезапно встал, простер руки и, отпуская меня, сказал: «Я исполню свой долг». Когда я спускался по лестнице, меня поразила мысль, что эти загадочные слова могли иметь только тот смысл, что он поедет к царю посоветовать стрелять без колебания. Тогда я подошел к телефону в сенях и вызвал министра финансов Коковцова, рассказал ему о случившемся и просил содействия к предотвращению кровопролития. Ответа я не услышал, так как меня разъединили. (Так неполадки в телефонной связи погубили последнюю попытку Гапона остановить революцию.) С этого момента я был убежден, что произойдут серьезные беспорядки, но остановить движение было уже невозможно, не погубив всего его будущего. Чтобы предупредить народ о том, что его ожидает, я послал делегата в Колпино, а сам объехал все одиннадцать отделений союза. В каждом отделении я говорил рабочим, что они должны завтра идти со своими женами и детьми и что если государь не захочет нас выслушать и встретит пулями, то у нас нет более царя...»

Все это было игрой после игры. А главная игра была сыграна еще утром 8 января, когда в Зимнем дворце в кабинете Николая собрались по его приглашению: градоначальник генерал Фулон, великий князь Владимир Алек-

сандрович, дворцовый комендант генерал Воейков и начальник департамента полиции Лопухин. Все приглашенные утонули в глубоких креслах, Николай прохаживался за своим столом. Вдруг остановился и, ни к кому не обращаясь, спросил почти весело:

— Ну что? Завтра поп Гапон устраивает нам большой спектакль?

— Ваше величество, положение более чем серьезное,— начал Фулон.— По нашим сведениям, к Зимнему дворцу пойдет не менее двухсот тысяч человек.

— Как же вы это допустили, генерал, как дали возможность этому попу собрать столько горлопанов? Это шествие должно захлебнуться с самого начала. По силам это нашей полиции и жандармерии?

— Боюсь, не справятся,— тихо ответил Фулон.

— Чего же сто́ят тогда ваши клятвы сделать столицу городом спокойной жизни?

Генерал Воейков вырвался из кресла и встал перед Николаем:

— Ваше величество! Это может сделать только армия, если ее действиями будет руководить человек решительный и беспредельно верный престолу.

— Ну что же, тогда давайте послушаем великого князя Владимира Александровича, армия в его руках.

Великий князь, не вставая с кресла, зачем-то одернул китель и громко, словно рапортуя на плацу, произнес:

— Ваше величество! Армия выполнит свой долг и присягу! Она не допустит этого безобразия. Только оградите меня от советов наших доморощенных либералов и законников. А я сам докажу верность престолу, и это будет для меня счастьем!

— А каких доморощенных либералов вы имеете в виду? — спросил Николай.

— Ну хотя бы нашего министра юстиции Муравьева. Не далее как вчера он звонил мне по телефону и спрашивал, привлекается ли армия к подавлению затеянной Га-

поном манифестации. Я ответил, что армия, не дрогнув, выполнит свой долг и оградит государя от любых посягательств. А он в ответ вдруг заявил, что Петербург все же нельзя превратить в поле сражения, мол, мир этого не поймет.

Николай, разъяренный, остановился перед великим князем:

— Значит, горлопаны идут к Зимнему дворцу, чтобы заставить меня выполнить их несусветные требования? А Муравьев хочет, чтобы мы сидели сложа руки и молились на Запад? Так не будет! Горлопаны должны быть остановлены и отброшены, и за это вся Россия скажет своей армии «спасибо». А что скажет Запад — наплевать!

Итак, царь заявил, что ему наплевать на то, как отреагируют в других странах на события 9 января. Но было совсем не так...

Министр иностранных дел Ламсдорф вспоминал позже, что монарх был взбешен заграничными откликами. А отклики, резко осуждавшие монархическую власть России, поступали непрерывным потоком буквально со всего мира. Ламсдорф признавался, что две недели после 9 января он старательно избегал бывать у царя с докладами по своему министерству.

Высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Вуич получил отставку после первого же доклада царю о заграничных откликах. Говорили, будто он во время доклада произнес: «Весь мир осуждает вас, ваше величество».

Из Бельгии русское посольство доносило, что Брюссель взбудоражен известиями из русской столицы, по улицам двигаются мощные манифестации, которые, приближаясь к зданию русской миссии, скандируют:

— Позор убийцам!!!

Полиции с трудом удалось рассеять толпу. В стране начался сбор средств для помощи сиротам убитых 9 января...

Большинство донесений царь, не дочитав до конца, комкал и бросал на пол. В одном из наиболее резких сообщений русского посланника в Германии приводилась ужасная цитата из газеты, издававшейся богатыми евреями. Прочитав его, царь оживился:

— Ну вот, все становится ясно. Евреи! Конечно, евреи! Кто, кроме них, мог напечатать такую гадость?! — И, помолчав, продолжал: — Старая еврейская стратегия! Сначала спровоцировать безобразия, а потом изображать из себя благородных либералов.— И приказал Ламсдорфу: — Если эту цитату будут печатать у нас, непременно дайте и это уточнение насчет принадлежности газеты богатому еврейству. Но я хочу немедленно знать,— выкрикнул он,— какая из наших газет захочет это перепечатать!

Спустя несколько лет дворцовый комендант генерал Воейков свидетельствовал, что 9 января за домашним ужином царь произнес тост в честь великого князя Владимира, назвав его спасителем трона. Великий князь при этом рыдал от счастья и клялся, что за трон он, не задумываясь, отдаст свою жизнь.

Царь, услышав это, усмехнулся:

— Жизнь все-таки побереги, пригодится.

Вот так, по-семейному, добродушно поговорили они за ужином, а в это время в больницах умирали раненые...

Теперь мы знаем, как все это было по одну сторону баррикад. А что же большевики? Пытались ли они предотвратить гибельное для людей шествие к Зимнему дворцу? Некоторый свет на положение и действия РСДРП в то время проливает письмо секретаря Петербургского коми-

тета, ответственного агитатора С. И. Гусева В. И. Ленину, посланное 5 января 1905 года.

«...Забастовал Обуховский, Семянниковский, мастерские Варшавск[ой] ж. д., как говорят, Патронный завод и Новое адмиралтейство. Положение с проклятым Гапоном, который приобрел большую популярность благодаря тому, что ему разрешают свободно устраивать собрания рабочих (в неск[олько] тысяч) и говорить там не только профессионального характера речи, а также и политические...

Этот о. Гапон — несомненнейший зубатовец высшей пробы. Хотя прямых данных к тому не имеется, но уже один тот факт, что Гапона за его речи не арестуют и не высылают... говорит лучше всяких данных. Кроме того, о. Гапон не упускает случая, чтобы так или иначе дискредитировать с.-д. ... О. Гапоном увлекаются не только старые рабочие, но даже сознательные рабочие с.-д., даже организованные рабочие, больше того, даже некоторые интеллигенты из с.-д. организаций допускают мысль, что о. Гапон — «идеалист». Теперь положение таково, что или «идеалист» из охранного отделения, или с.-д.

...Необходимо обратить в органе особенно серьезное внимание на разоблачение всех и всяческих буржуазных авантюристов и сознательных и бессознательных обманщиков, необходимо на ряде примеров из истории с.-д. выяснить постоянное и непременное предательство буржуазии по отношению к пролетариату, нужно неустанно везде и всюду напомнить, что «освобождение рабочих должно и теперь быть делом только самих рабочих». Нужны на эту тему брошюры, статьи, листки (хотя бы в оригинале разослать б[ольшевистским] комит[етам]) и т. д. и т. п. Это — положительно важнейшая задача дня. Нужно выяснить, что «полное, последовательное и прочное» осуществление демократич[еской] республики и социальных требов[аний] наш[ей] программы-минимума невозможно без революции, нужно показать, что з[авод]ские рабочие

давно поняли необходимость самостоятельных рабочих партий, и т. д.

Эти мысли, а также разоблачение Гапона и борьба с ним будут положены в основу спешно организуемой нами агитации. Приходится двинуть все силы, хотя бы и пришлось их ухлопать целиком на стачку, п[отому] ч[то] положение обязывает спасать честь с.-д. Спешно нужны люди, которые могли бы заместить нас, т. к. движение обещает разрастись до грандиозных размеров...

P. S. События развиваются с страшной быстротой. Гапон революционизировал массу. Забастовка расширяется и, вероятно, станет всеобщей. На воскресенье Гапон назначил шествие к Зимнему дворцу для подачи петиции с требов[аниями], вполне соответств[ующими] программе-минимум (политич. части). Гапон предполагает, что будет 300 000 ч., и предлагает запастись оружием. Личность Гапона не выяснена. Вероятно, это наивный идеалист, которым пользуются все и, думаю, особенно реакционная клика. Не могу писать сейчас больше. Ряд документов, резолюций и подробные сведения напишу сегодня ночью».

В далекой Женеве Владимир Ильич с тревогой следил за событиями на родине.

«...Сердце сжимается страхом перед неизвестностью,— писал он,— окажется ли соц.-дем. организация в состоянии взять хотя бы через некоторое время движение в свои руки. Положение крайне серьезное. Все эти дни происходят ежедневные массовые собрания рабочих во всех районах города в помещениях «Союза русских рабочих». Перед ними улицы целые дни наполнены тысячами рабочих. Время от времени социал-демократами произносятся речи и распространяются листки. Принимаются они в общем сочувственно, хотя зубатовцы и пытаются устраивать оппозиции. Когда речь коснется самодержавия, они кричат: «Это нам ни к чему, самодержавие нам не мешает!» А между тем в речах, которые произносятся в помещениях «Сою-

за» зубатовцами, выставляются все соц.-дем. требования, начиная с 8-часового рабочего дня и кончая созывом народных представителей на основах равного, прямого и тайного избирательного права. Только зубатовцы утверждают, что удовлетворение этих требований не обозначает свержения самодержавия, а приближение народа к царю, уничтожение бюрократии, отделяющей царя от народа.

Социал-демократы говорят также и в помещениях «Союза», и речи их встречаются сочувственно, но инициатива практических предложений исходит от зубатовцев. Несмотря на возражения соц.-дем., предложения эти принимаются...»

Лучшие большевистские агитаторы Петербурга в эти дни вели работу во всех отделениях гапоновского общества. В обсуждавшуюся на гапоновских собраниях наивно-монархическую петицию им удалось включить требования созыва Учредительного собрания, 8-часового рабочего дня, политических свобод. Но главные усилия большевиков были нацелены на то, чтобы не допустить народного шествия и возможного кровопролития. Листовка ПК РСДРП «Ко всем петербургским рабочим», выпущенная 8 января, была последней попыткой удержать рабочих от неразумного шага.

«Такой дешевой ценой, как одна петиция, хотя бы и поданная попом от имени рабочих, свободу не покупают. Свобода покупается кровью, свобода завоевывается с оружием в руках, в жестоких боях.

Не просить царя, и даже не требовать от него, не унижаться перед нашим заклятым врагом, а сбросить его с престола и выгнать вместе с ним всю самодержавную шайку,— только таким путем можно завоевать свободу. Много уже рабочей и крестьянской крови пролито у нас на Руси за свободу, но только тогда, когда встанут все русские рабочие и пойдут штурмом на самодержавие, только тогда загорится заря свободы.

Освобождение рабочих может быть делом только самих рабочих, ни от попов, ни от царей вы свободы не дождетесь. В воскресенье перед Зимним дворцом, если только вас туда пустят, вы увидите, что вам нечего ждать от царя...»

Но глас большевиков не дошел тогда до рабочих сердец. Слишком велико было народное возмущение, оно искало выхода, и идея Гапона была встречена с одобрением. «Идея идти с петицией настолько овладела умами, что бороться с ней невозможно»,— сообщал в газету «Вперед» корреспондент-большевик. И тогда на заседании ПК РСДРП в ночь на 9 января было принято решение: большевики должны участвовать в шествии к Зимнему дворцу, чтобы быть с народом, по возможности руководить массой...

В Вольно-экономическом обществе выступал молодой ученый — историк Тарле. Он вышел на трибуну с забинтованной головой — след казацкой шашки, полученный им во время демонстрации у Политехнического института.

— Этот позор,— говорил он,— никогда не отмоет романовская Россия, и он будет стоить ей неисчислимо дорого!

— Позор! Позор на века! — кричал зал, заполненный столичной интеллигенцией...

Немногочисленный (всего 9 человек) кружок социал-демократов Политехнического в этот вечер принимал резолюцию, в которой говорилось: «Это кровавое событие накладывает на нас и на нашу партию величайшую ответственность за то, чтобы кровь рабочих не пролилась понапрасну». Эта их резолюция будет напечатана в газете «Социал-демократ» со следующим комментарием: «Наши товарищи из Политехнического института приняли единственно правильное решение, и мы желаем им выполнить его на деле».

На Путиловском заводе большевиками была выпущена листовка, в которой говорилось: «Мы не сумели помешать провокатору Гапону совершить свое подлое преступление. Теперь наша задача — как никогда сплотить свои ряды под знаменем революционной борьбы и доказать свою великую силу перед лицом вооруженной и беспощадной монархии. Долой самодержавие!!!»

Что же в это время происходило в охранке? В архиве сохранилась совсем тощая папочка с надписью «Положение в Петербурге после 9 января». В ней несколько агентурных донесений. Агент по кличке «Ржаной» сообщал: «В общем, положение на кожевенном заводе спокойное, почти половина рабочих исправно трудится, и разговоры о забастовке притихли. Усилились разговоры о предстоящем захоронении жертв 9 января, которое-де следует использовать для демонстрации против кровавого режима дома Романовых и для высказывания проклятья военным, стрелявшим в народ». К этому сделана чья-то приписка: «Ввиду повсеместного распространения этих разговоров, необходимо рекомендовать генерал-губернатору принять необходимые предупредительные меры, чтобы захоронение стало частным делом родственников погибших. Нужно проследить, чтобы захоронение происходило на разных кладбищах и в разное время».

В этой же папке находилась сводная записка, адресованная в канцелярию его величества. Неизвестно, какой философ охранки сочинил эту записку. В ней говорилось: «Что произошло, то произошло, и мы в том не властны. То уже принадлежит истории. Но необходимо, чтобы происшедшее ушло в историю в предельно ясном виде, то есть с вполне доказанной необходимостью применить оружие против стихийной толпы, готовой на все вплоть до убийства государя императора. Будущие поколения по этой странице истории не должны иметь никаких недо-

уменных вопросов и сомнений, и это уже в нашей власти, а остальное сделает время, ибо все на свете однажды забывается и прорастает далекой травой».

Однако упования философа из охранки оказались тщетными, и в истории сохранилась правда о событиях, что стали началом первой революции в России и генеральной репетицией Великого Октября. Об этом, вопреки стараниям охранки, позаботились социал-демократы, большевики, Ленин.

А теперь вернемся к запискам Гапона.

«В течение вечера,— продолжал он рассказ,— я послал К. к известным либералам, в том числе и к Максиму Горькому, с просьбой сделать, что можно, чтобы предотвратить кровопролитие. Те ходили к Святополк-Мирскому, к Витте, но безуспешно. Мои посещения отделений союза окончились в 7 часов вечера. В этот день я сказал до пяти речей. Все вожаки рабочих, всего около 16 человек, собрались в одном из трактиров, чтобы закусить и проститься друг с другом. Меня подавляла мысль о том, что неужели я посылаю всех этих славных людей на верную смерть? Они создали все это чудное движение. Что станет с этим движением, если их всех убьют? В конце концов, я решил идти впереди, решил и их послать. Ставка была слишком велика, чтобы останавливаться перед жертвами. Теперь я вижу, что я очень ошибался. (Невозможно выяснить, о какой ошибке он здесь говорит.) Я предложил каждому из вожаков избрать себе по два помощника, на случай если они будут убиты, но я сомневаюсь, чтобы они это сделали. Васильева я назначил заменять меня, если меня убьют, и еще одного, чтобы заменить Васильева...» (Действительность внесла в этот боевой расчет Гапона существенную поправку: Васильев был убит, а сам он сперва притворился убитым, но затем вместе с Рутенбергом бежал.)

Ну, а теперь мы снова берем в руки доклад Лопухина к царю и читаем его завершающую часть... в которой он не только объясняет, но и пытается оправдать расстрел рабочих:

«Так как»...— этим канцелярским «так как» Лопухин начинает фразу, которую растянет почти на целую страницу. Фраза эта вся в густой правке, по которой видно, как он выбирал каждое слово, понимая, что в этой словесной шелухе «зарывает собаку» и ему надо оправдать то, что оправдать просто немыслимо. Читаем:

«Так как имелись достаточно определенные указания на то, что главари существующих в столице противоправительственных организаций намерены воспользоваться настроением рабочих и их сборищем на площади Зимнего дворца для создания ряда противоправительственных демонстраций с предъявлением требований об изменении существующего государственного строя, чтобы таким образом придать вполне мирному движению рабочих характер народной манифестации, направленной к ограничению самодержавия, и что масса рабочих не осведомлена о внесении в петицию политических требований, а обманно уверена о предоставлении Его Величеству ходатайства исключительно об удовлетворении некоторых нужд рабочего класса, то осуществление такого намерения ни в коем случае не могло быть допущено и потому жители столицы были заблаговременно предупреждены о соблюдении порядка на улицах и о том, что всякие демонстративные сборища и шествия будут рассеяны воинской силой». Фраза окончена, и почти по каждому слову в ней возникают вопросы и замечания:

1. Значит, у охранки имелись достаточно определенные указания насчет того, что главари (кто, кто именно?) существующих в столице противоправительственных организаций намерены воспользоваться сборищем рабочих для предъявления требований об изменении существующего государственного строя. Но почему же в первой части док-

лада, где автор анализирует обстановку, столь категорических утверждений нет? Да только потому, что, сделай он их там, ему необходимо было бы ответить царю на простой вопрос: если охранка знала о намерениях, почему их своевременно не пресекла? А в этом месте доклада намерения уже как бы превращаются в само действие, когда спрашивать о чем-то у охранки уже поздно, ибо в дело вступает военная сила.

2. Зачем Лопухину нужно доказать, будто рабочие были обманно уверены в мирном характере их манифестации? Да только затем, чтобы царь окончательно утвердился в понимании того, что приказ стрелять имел в виду целью расстрел не обманутых верноподданных, а тех самых обманщиков, извечных врагов монархии!

3. Почему строго предупреждались все жители Петербурга? На этот вопрос ответил сам Лопухин 17 января, в другом документе охранки, где содержится признание, что «в силу примитивной и неполной осведомленности, симпатии города были определенно на стороне тех, кто шел с петицией в слепоте незнания истины и пострадал».

Перейдем к следующим фразам лопухинского доклада, почти таким же длинным и также тщательнейше им правленным и еще более замутняющим истину. Читаем...

«Вместе с тем 8 января министром внутренних дел было дано с.-петербургскому градоначальнику приказание об аресте Гапона. На предшествовавшем сему приказанию совещании министров внутренних дел, финансов, юстиции, товарищей министра внутренних дел Дурново, Рыдзевского, товарища министра финансов Тимирязева, директора департамента полиции (т. е. самого Лопухина.— *В. А.*) и с.-петербургского градоначальника была высказана необходимость ареста и 19 стоявших во главе собрания рабочих, но генерал-адъютант Фулон заявил, что эти аресты не могут быть выполнены, так как для этого потребуется слишком значительное количество чинов полиции, которых он не может отвлечь от охраны порядка, и так как аресты

эти не могут не быть соединены с открытым сопротивлением. Приказание министра об аресте Гапона генерал-адъютантом Фулоном исполнено не было, так как в ночь на 9 января Гапон оказался в одном из помещений Собрания под охраной 200 рабочих, сопротивление которых при аресте священника градоначальник побоялся вызвать. Между тем именно в этот вечер Гапон распространил текст петиции от имени рабочих на Высочайшее имя, в которой независимо от пожеланий об улучшении их экономического положения были включены дерзкие требования политического свойства. Петиция эта большинству забастовщиков осталась неизвестной, и таким образом рабочее население было умышленно введено в заблуждение о действительной цели созыва на Дворцовую площадь, куда и двинулось с единственным сознательным намерением принести царю челобитную о своих нуждах и малом заработке».

Эта часть доклада поначалу производит впечатление доноса на градоначальника Фулона, проявившего трусость и нераспорядительность. Правда, тут следует учитывать, что к моменту, когда доклад подается царю, Лопухин уже знает, что Фулон висит на нитке, а его кабинет готовится занять генерал Трепов (тот самый, который стал особо знаменит приказом «Патронов не жалеть!»).

Далее же Лопухин, на мой взгляд, делает опасную ошибку, категорически утверждая, что рабочее население было умышленно введено в заблуждение о действительной цели манифестации и двинулось на Дворцовую площадь с единственным намерением принести царю челобитную о своих нуждах и малом заработке. Ведь тогда все-таки получается, что расстреляли не бунтовщиков, а вполне мирно настроенных, но введенных в заблуждение рабочих. Будто потом подумав об этом, Лопухин в том, другом документе от 17 января пишет, что «принимавшие участие в наведении порядка солдаты и даже офицеры были в традиционной власти приказа своих военачальников и на рассужде-

Петиція петербургскихъ стачечниковъ царю.

Государь!

Мы рабочіе г. Петербурга, наши жены, дѣти и безпомощные старцы-родители пришли къ тебѣ, Государь, искать правды и защиты.

Мы обнищали, насъ угнетаютъ, обременяютъ непосильнымъ трудомъ, надъ нами надругаются, [illegible] насъ не признаютъ людей, къ намъ относятся, какъ къ враг[illegible]

Мы и терпѣли, но насъ толкаю[illegible] дальше и дальше въ омутъ нищеты, безправія и невѣжества; [illegible]тъ деспотизмъ и произволъ и мы задыхаемся. — Нѣт[illegible]ъ, Государь. Насталъ предѣлъ терпѣнію.

Для насъ пришелъ тотъ [illegible]ентъ, когда лу[illegible] смерть, чѣмъ продолженіе не[illegible]

И вотъ мы бросили рабо[illegible]

ния времени не имели». Вот так — для ясности и в порядке указания на еще одно совсем уже неподвластное охранке обстоятельство...

Но читаем дальше эту завершающую часть доклада Лопухина.

«Проповедь Гапона и преступная пропаганда его пособников из состава местных революционных кружков возбудили рабочее население столицы настолько, что 9 января огромные толпы народа с разных концов города начали направляться к центру столицы. И в то время, как Гапон, продолжая действовать на религиозные и верноподданнические чувства народа, предварительно начала шествия отслужил в часовне Путиловского завода молебен о здравии Их Величеств для придания демонстрации в глазах народа характера крестного хода, в это же время в другом конце города, на Васильевском острове, незначительная группа рабочих, руководимая действительными революционерами, сооружала баррикаду из телеграфных столбов и проволоки и водружала на ней красный флаг. Такое зрелище было настолько чуждо общему сознанию рабочих, что тут же из направлявшейся к центру города громадной толпы раздались восклицания: «Это уже не наши, нам это ни к чему, это студенты балуются». (Радуйся, батюшка царь, все бунтовщики — это люди не наши, а нам бунтовать незачем. Да еще вот студенты окаянные все норовят баловаться...)

Дальше следует попросту преступная ложь во спасение мундира: «Наэлектризованные агитацией, толпы рабочих, не поддаваясь воздействию обычных общеполицейских мер и даже атакам кавалерии, упорно стремились к Зимнему дворцу, а затем, раздраженные сопротивлением, стали сами нападать на воинские части. Такое положение вещей привело к необходимости принятия чрезвычайных мер для водворения порядка, и воинским частям пришлось действовать против огромных скопищ рабочих огнестрельным оружием... После того, как пущено было в ход вой-

сками огнестрельное оружие, толпы рабочих стали проявлять крайне враждебное отношение к полиции и военному сословию: в Кирпичном переулке толпа напала на двух городовых, из которых один был избит. На Морской улице нанесены побои генерал-майору Эльриху, на Гороховой улице нанесены побои одному капитану и был задержан фельдъегерь, причем его мотор был изломан. Проезжавшего на извозчике юнкера Николаевского кавалерийского училища толпа стащила с саней, переломила шашку, которой он защищался, и нанесла ему побои и раны...

Всего 9 января оказалось 96 человек убитых (в том числе околоточный надзиратель) и до 333 человек раненых, из коих умерли до 27 января еще 34 человека (в том числе один помощник пристава)». На самом деле убитых и раненых было около 5 тысяч.

Вот что было дано узнать царю о «Кровавом воскресенье», потрясшем основы российской монархии. Он, болезный, наверно, только-то и усвоил (Лопухин на этот счет постарался), что во всем виноват Гапон, на которого все понадеялись, а он — негодяй — всех обманул, да еще эти трижды проклятые подстрекатели социал-демократы. Спустя почти десять лет царь в разговоре с жандармским генералом Спиридовичем вспомнит о Девятом января и скажет: «Последствия этого неприятного воскресенья были сильно преувеличены врагами империи...» Ничего-то он не понял и тогда, и спустя десять лет!

В. И. Ленин писал, что революция 1905—1907 годов просветила и организовала пролетариат и его союзников. «Без такой «генеральной репетиции», как в 1905 году, революция в 1917 как буржуазная, февральская, так и пролетарская, Октябрьская, были бы невозможны».

IV



А сейчас мы снова вернемся к Гапону, чтобы еще раз увидеть, насколько случайной была его причастность к революции 1905—1907 годов и как несостоятельна, попросту смешна его претензия на роль вождя...

О том, что Гапон 9 января, убежав с места расстрела шествия у моста через Таракановку, затем находился на квартире Максима Горького, а вечером, изменив облик, без бороды и в светском костюме с чужого плеча, присутствовал на митинге интеллигенции в зале Вольно-экономического общества и даже выступал там «от имени Гапона»,— обо всем этом охранка узнала 11 января из донесений филера, наблюдавшего дом, в котором жил Горький, и своего осведомителя, присутствовавшего на митинге. О выступлении там Гапона охранка узнала только то,

что оно было «кратким, ничего особого не содержавшим, но очень нервным».

Возникает вопрос: почему охранка не арестовала Гапона на основании имевшегося у нее ордера? Ведь с 9 по 11 января он еще находился в Петербурге... Можно только предположить, что от ареста охранку удерживали те опасения градоначальника Фулона, о которых пишет Лопухин в своем докладе царю.

Но вот одно свидетельство об этих днях — Петра Рутенберга:

«Через несколько минут после третьего залпа я поднял уткнутую в землю голову. Впереди меня, по обеим сторонам Нарвских ворот стояли две серые застывшие шеренги солдат, по левую сторону от них — офицер. По сю сторону моста валялись в окровавленном снегу хоругви, кресты, царские портреты и трупы тех, кто их нес. Трупы были направо и налево от меня. Около них большие пятна крови на белом снегу. Рядом со мной, свернувшись, лежал Гапон. Я его толкнул. Из-под большой священнической шубы высунулась голова с остановившимися глазами.

— Жив, отец?

— Жив!

— Идем?

— Идем!

Мы поползли через дорогу к ближайшим воротам.

Двор, в который мы вошли, был полон корчащимися и мечущимися телами раненых и стонами. Бывшие здесь здоровые также стонали, также метались с помутившимися глазами, стараясь что-то сообразить.

— Нет больше бога! нету больше царя! — прохрипел Гапон, сбрасывая с себя шубу и рясу...

Когда мы оставили за собой кровь, трупы и стоны раненых и пробирались в город, наталкиваясь на перекрестках и переездах на солдат и жандармов, Гапона охватила нервная лихорадка. Он весь трясся. Боялся быть аре-

стованным... Я повел его к моим знакомым: сначала к одним, потом, чтобы замести след, к другим... Меня его поведение коробило».

Здесь мы прервем рассказ Рутенберга и снова обратимся к Горькому. В его повести «Жизнь Клима Самгина» есть страницы о Гапоне в первые часы после трагических событий «Кровавого воскресенья». Вот они, с некоторыми сокращениями.

«...В прихожую нырком, наклоняя голову, вскочил небольшой человечек, в пальто, слишком широком и длинном для его фигуры, в шапке, слишком большой для головы; извилистым движением всего тела и размахнув руками назад, он сбросил пальто на пол, стряхнул шапку туда же и сорванным голосом спросил:

— Мартын * — здесь? Петр? Я спрашиваю...

Все, кто был в большой комнате, высунулись из нее, человек с рыжими усами грубовато и не скрывая неприятного удивления спросил:

— Вас Рутенберг направил?..

— Да, да, да,— где он?

— Не знаю.

Сопровождавший Гапона небольшой, неразличимый человечек поднял с пола пальто, положил его на стул, сел на пальто и успокоительно сказал:

— Сейчас придет.

А Гапон проскочил в большую комнату и забегал, заметался по ней. Ноги его подгибались, точно вывихнутые, темное лицо судорожно передергивалось, но глаза были неподвижны, остекленели. Коротко и неумело обрезанные волосы на голове висели неровными прядями, борода подстрижена тоже неровно. На плечах болтался измятый старенький пиджак, и рукава его были так длинны, что покрывали кисти рук. Бегая по комнате, он хрипло выкрикивал:

* Партийный псевдоним П. Рутенберга.



— Дайте пить. Вина, воды... все равно! Нет,— не все погибло, нет! Сейчас я напишу им. Фулон! — плачевно крикнул поп и, взмахнув рукой, погрозил кулаком в потолок; рукав пиджака съехал на плечо ему и складками закрыл половину лица.— Фулон предал меня! — хрипло кричал он, пытаясь отбросить со щеки рукав тем движением головы, как привык отбрасывать длинные свои волосы...

Самгин заметил, что раза два, на бегу, Гапон взглянул в зеркало и каждый раз попа передергивало, он оглаживал бока свои быстрыми движениями рук и вскрикивал сильнее, точно обжигал руки, выпрямлялся, взмахивал руками.

«Актер? Играет?» — мельком подумал Самгин.

Нет, Гапон был больше похож на обезумевшего, и это становилось все яснее...

— Меня надобно сейчас же спрятать, меня ищут,— сказал Гапон, остановясь и осматривая людей неподвижными глазами: — Куда вы меня спрячете?

Сердито, звонким голосом Морозов посоветовал ему сначала привести себя в порядок, постричься, помыться. Через минуту Гапон сидел на стуле среди комнаты, а человек с лицом старика начал стричь его. Но, видимо, ножницы оказались тупыми или человек этот — неловким парикмахером,— Гапон жалобно вскрикнул:

— Осторожнее, что вы!

— Потерпите,— нелюбезно посоветовал Морозов и брезгливо сморщил лицо.

Попа остригли и отправили мыться, а зрители молча и как бы сконфуженно разошлись по углам.

— Как потрясен,— сказал человек с французской бородкой и, должно быть, поняв, что говорить не следовало, повернулся к окну, уперся лбом в стекло, разглядывая тьму, густо закрывшую окна...

Вбежал Гапон. Теперь, прилично остриженный и умытый, он стал похож на цыгана. Посмотрев на всех в ком-

нате и на себя в зеркале, он произнес решительно, угрожающе:

— Это — не конец! Рабочие — со мною!

Твердым шагом вошел крепкий человек с внимательными глазами и несколько ленивыми или осторожными движениями.

— Мартын! — закричал Гапон, бросаясь к нему.— Садись, пиши! Надо скорей, скорей!

Через несколько минут Мартын, сидя на диване у стола, писал не торопясь, а Гапон, шагая по комнате, разбрасывая руки, выкрикивал:

— Братья, спаянные кровью! Так и пиши: спаянные кровью, да! У нас нет больше царя! — Он остановился, спрашивая: — У нас или у вас? Пиши: у вас.

— Больше — лишнее слово,— пробормотал писавший, не поднимая головы.

— Он убит теми пулями, которые убили тысячи ваших товарищей, жен, детей... да!

Поп говорил отрывисто, делая большие паузы, повторяя слова и, видимо, с трудом находя их. Шумно всасывал воздух, растирал синеватые щеки, взмахивал головой, как длинноволосый, и после каждого взмаха щупал остриженную голову, задумывался и молчал, глядя в пол. Медлительный Мартын писал все быстрее, убеждая Клима, что он не считается с диктантом Гапона.

— Пиши! — притопнув ногой, сказал Гапон.— И теперь царя, потопившего правду в крови народа, я, Георгий Гапон, священник, властью, данной мне от бога, предаю анафеме, отлучаю от церкви...

— Не дури,— сказал Петр или Мартын, продолжая писать, не взглянув на диктующего попа.

— А — что? Ты — пиши! — снова топнул ногой поп и схватился руками за голову, пригладил волосы: — Я — имею право! — продолжал он, уже не так громко.— Мой язык понятнее для них, я знаю, как надо с ними говорить. А вы, интеллигенты, начнете...

Он махнул рукой, лицо его побагровело и, на минуту, стало злым, зрачки пошевелились, точно вспухнув на белках.

— Нет, нет,— никаких сказок,— снова проговорил рыжеусый человек.

— Кровью своей вы купили право борьбы за свободу,— диктовал Гапон.

Рыжеусый и чернобородый подошли к нему, и первый бесцеремонно, грубовато заговорил:

— Ходят слухи, что вас убили, арестовали и прочее. Это — не годится!

— Как всякая неправда,— вставил чернобородый, покашливая.

— Вот. В Экономическом обществе собралась... разная публика. Нужно вам съездить туда, показаться.

— А — зачем? — спросил Гапон.— Там — интеллигенты! Я знаю, что такое Вольно-экономическое общество,— интеллигенты! — продолжал он, повышая голос.— Я — с рабочими!

— Там есть и рабочие,— сказал чернобородый.

Самгин хорошо видел, что попу не понравилось это предложение, даже смутило его. Сморщив лицо, Гапон проворчал что-то, наклонился к Рутенбергу, тот, не взглянув на него, сказал:

— Надо ехать.

— Да?

— Да, да...

Поправляя рукава пиджака, встряхивая головою, Гапон взглянул в зеркало и спросил кого-то:

— Не узнают? Не поверят? Не знают ведь они меня.

— Поверят,— сказал рыжеусый.— Идемте!»

Свой рассказ продолжает П. Рутенберг:

«Раньше я знал Гапона только говорившим в рясе перед молившейся на него толпой, видел его звавшим у Нарвских ворот к свободе или смерти. Этого Гапона не стало, как только мы ушли от Нарвских ворот. Остри-

женный, переодетый в чужое, передо мной оказался предоставлявший себя в полное мое распоряжение человек, беспокойный и растерянный, покуда находился в опасности, тщеславный и легкомысленный, когда ему казалось, что опасность миновала. Он не мог удержаться, чтобы не назвать себя в мое отсутствие совершенно посторонним ему людям; не мог удержаться, чтобы не рассказывать свои планы, несмотря на предупреждение не делать этого. А вечером произнес в Вольно-экономическом обществе перед разношерстным собранием интеллигентов «от имени отца Георгия Гапона» речь, никому не нужную, ничего не значившую, и это в то время, когда на Невском продолжался еще расстрел. Меня это и удивляло и обязывало. Обязывало использовать свое влияние на этого человека, имя которого стало такой революционной силой.

Вечером 9 января он сидел в кабинете Максима Горького и спрашивал:

— Что теперь делать, Алексей Максимович?

Горький подошел, глубоко поглядел на Гапона... Навернулись слезы. И стараясь ободрить сидевшего перед ним совсем разбитого человека, он как-то особенно ласково и в то же время по-товарищески сурово ответил:

— Что ж, надо идти до конца. Все равно. Даже если придется умирать.

Но что именно *делать*, Горький сказать не мог. А рабочие спрашивали распоряжений. Гапон хотел было поехать к ним, но я был против этого. Он отправил в Нарвский отдел записку, что «занят их делом». (На другой день Гапон подписал написанную Рутенбергом прокламацию, где его собственными словами были: «Так отомстим же, братья, проклятому народом царю и всему его змеиному отродью, министрам, всем грабителям несчастной русской земли. Смерть им всем!»)

...Гапоновская прокламация дошла до рабочих поздно, когда нужда успела уже оказать свое влияние, когда многие стали уже на работу, а накопившаяся злоба притупи-

лась и пошла внутрь... Я решил ехать вместе с Гапоном за границу. На всякий случай я дал ему адреса и пароли для перехода через границу и для явки за границей. Снабдил деньгами».

По ряду подробностей в этом рассказе Рутенберга совершенно ясно видно, что он находится возле Гапона не по каким-то личным мотивам, а давно уже выполнял поручение эсеровской партии, руководители которой, узнав от него же об успешно действовавшем Гапоне, собравшем вокруг себя не одну тысячу рабочих, задумали, так сказать, примазаться к гапоновскому делу и поручили готовить эту операцию Рутенбергу, кандидатура которого была тем удобнее, что и сам он работал на Путиловском заводе. Кроме того, обладая кое-каким политическим опытом, он сумеет управлять рыхлым Гапоном. Это подтверждает и их совместное бегство за границу, которое просто не могло быть осуществлено без помощи эсеровской партии. Отсюда все: и явочные адреса за границей, и паспорта, и деньги.

Потом, позже, уже в 1911 году Рутенберг в одной своей публикации за границей сделает интересное признание: «9 января утром, когда в зимней мгле происходило формирование грандиозной манифестации, чтобы идти с петицией к царю, у меня вдруг мелькнула, конечно же, тщеславная мысль, что прикрепление меня к Гапону, которое до этого я считал никчемным, вдруг сделало меня участником величайшего исторического события, которое прославит нашу партию. Но эта мысль возникла у меня только утром 9 января, а уже вечером того же дня я решал только один вопрос — нужно ли мне увозить Гапона за границу, ибо я не представлял себе, имеет ли он еще какую-нибудь ценность для партии. Но все-таки решил везти — его имя еще гипнотизировало меня...»

«Я решил,— свидетельствует далее Рутенберг,— ехать вместе с Гапоном за границу. Переслал ему паспорта, указания, где и как со мной встретиться в России, но его уже

в деревне не было. Не дожидаясь от меня известий, он уехал оттуда сам и перешел границу близ Таурогена раньше меня на день.

Пережитые Гапоном в России и при переходе через границу тревоги, переезд через всю Европу, без языка и с боязнью быть узнанным и арестованным, закончились тем, что в Женеве он не нашел лица, к которому я его направил. Не нашел, значит, и меня. Два дня, как рассказывал он мне потом, он ходил по городу беспомощный и измученный. Отправился, наконец, к Плеханову. Ему, конечно, обрадовались, приласкали его. А он, очутившись в тепле и уюте, захотел, должно быть, сказать окружающим что-нибудь приятное. Он рассказывал о 9 января, о том, что сознательно заранее все подготовлял и что... он — социал-демократ, социал-демократом всегда был и что социал-демократ его спас. Не экзаменовать же его было присутствовавшим. Говорил ведь, Гапон! А кто в те дни не считался с его словами? Его спросили, можно ли об этом написать Каутскому * и в «Форвертс» **? Гапон ответил, что можно не только написать, но даже телеграфировать. Так и сделали. (Это была первая заграничная на всю Европу ложь Гапона о себе, а заодно и о Рутенберге, который никогда не был социал-демократом.— *В. А.*) Через день он встретился со мной. Начались переговоры с представителями разных партий. И неожиданно для себя я узнал, что Гапон успел уже не только сам попасть, но и других поставить в неловкое положение. Оказавшись первой фигурой русской революции, Гапон в то же время не разбирался в смысле и значении партий, с которыми ему пришлось иметь дело, в их программах, спорах... Встречавшиеся представители разных партий подходили к нему, как к революционному вождю, так с ним разговаривали,

---

* Карл Каутский — один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и II Интернационала.

** Газета, центральный орган Социал-демократической партии Германии.

такие к нему требования, конечно, предъявляли. А он в ответ мог связно и с одушевлением рассказать о 9 января, о намеченной программе. Когда ставились непредвиденные вопросы, он соглашался со мной, а когда меня не было, соглашался и с другими, т. е. часто с мнениями диаметрально противоположными. И из одного неловкого положения попадал в другое, из которых мне же приходилось его выпутывать...»

Оказавшись за границей, Гапон всласть хлебнул громкой славы, всеобщего преклонения. На улице его узнают прохожие, останавливаются, восторженно смотрят на него. В газетах на первых страницах — его портреты и интервью. Бесчисленные статьи о нем, его называют вождем революции двадцатого века. Каждый день он выступает на каком-нибудь приеме в свою честь, его встречают и провожают бурной овацией. Красивые женщины смотрят на него с обожанием, а это особо слабое место его воспаленного тщеславия. В общем, не удивительно, что с Гапоном, никогда не страдавшим от скромности, случилось то, что не могло не случиться,— он потерял всякое реальное представление о самом себе и вообразил себя великой исторической личностью, которой все это положено по праву. Вдобавок у него появились большие деньги, они текли буквально со всего мира на банковский счет «фонда Гапона». Какой-то английский журналист помог ему в спешном порядке состряпать записки о своей судьбе. Английское издательство тут же эту книжку издало и выплатило Гапону большой гонорар. А деньги Георгий Аполлонович любил безотносительно ко всему остальному. Еще в Петербурге он признавался Рутенбергу, что его душа обретает особый покой, когда его кошелек пухнет от крупных купюр, тогда он может думать широко и спокойно о самом сложном.

Во французской газете в рецензии на его «Записки» говорилось: «Удивительная судьба этого человека, за короткий срок прошедшего путь от сельского священника до

революционного вождя огромной России, и Россия, где может происходить такое, остается для нас, европейцев, тайной, и Гапон — это живая реальность этой тайны, а читая его записки, вы невольно отдаетесь во власть восторга перед их автором».

Гапон буквально на глазах у Рутенберга преображался, это коснулось даже его внешности. Он купил экстравагантный костюм не то жокея, не то автомобилиста: клетчатый пиджак, кепка с кнопкой и большим козырьком, брюки-гольф с полосатыми гетрами, оранжевые ботинки на толстенной каучуковой подошве и трость с серебряным набалдашником. Выбрал этот костюм сам по журналу «Мужские моды». Рутенберг попробовал уговорить его сменить этот костюм на более скромный, но куда там...

— Нет,— заявил Гапон,— я не могу выглядеть, как другие, от всех я сразу должен отличаться уже своим видом. И мне наплевать, как смотрит на меня твоя Женева, этот скучнейший город жирных мещан, где нет даже приличных кабаков, одни сиротские кофейни. И вообще, я хочу жить, думать и говорить по своим законам.

Он направо и налево раздавал интервью репортерам, не интересуясь, какие газеты они представляют. В этих интервью говорил бог знает что. Солидной французской газете заявил, что всевышний нарек его вождем русской революции и палачом русской монархии и он волю божью выполнит, не щадя собственной жизни. В интервью популярной швейцарской газете Гапон, ничтоже сумняшеся, сказал: «Русский народ избрал меня своим спасителем, и я или погибну, или спасу его от трехсотлетней тирании Романовых».

Дело дошло до того, что во французском юмористическом журнале была напечатана карикатура на Гапона с подписью: «Что-то он становится похож на Хлестакова — героя знаменитой русской комедии «Ревизор». Под карикатурой рядом были напечатаны заявления Гапона в различных его интервью и цитаты из монолога Хлестакова в

сцене вранья. Гапон был взбешен карикатурой и требовал, чтобы Рутенберг подал на журнал в суд.

В создании бума вокруг Гапона приняли участие и многие находившиеся в эмиграции деятели различных политических партий России. Сами давно оторванные от родины и потерявшие реальное представление о происходящем там, они увидели в Гапоне чуть ли не саму Россию, старались привлечь его на свою сторону, искали с ним встреч. У лидера эсеров Чернова возникла мысль вовлечь Гапона в свою партию.

Чернов понимал, что Гапон переигрывает и нередко действительно выглядит смешным, однако заполучить в партию столь знаменитую личность было соблазнительно, особенно если учесть, что к этому времени престиж эсеров заметно сник.

Чернов поручил Рутенбергу уговорить Гапона написать для европейской печати серьезную политическую статью, которая сгладила бы впечатление от его легкомысленных интервью.

— Он не может написать никакой статьи, ни серьезной, ни легкой,— заявил Рутенберг, которого бывший поп раздражал все сильнее.— Он же попросту глупый человек.

Чернов покачал головой:

— Но здесь, на Западе, знают его иным и, между прочим, не без вашей помощи. Напишите статью за него сами и напишите так, чтобы здешний читатель понял, что Гапон все же личность, личность, хотя для Запада и таинственная, как все русское.

— Откровенно сказать, мне противно иметь с ним дело.

Чернов разгневался:

— Партия давно поручила вам работу с ним, и не ваша ли вина, что мы увидели его здесь таким фигляром.

Потом, позже Рутенберг будет вспоминать: «В гостинице мы сели с Гапоном за стол писать статью. Я предло-

жил начать ее так: издавна известно, что газетные репортеры большие мастера все преувеличивать. Коснулось-де это и его скромной фигуры православного священника, волей судьбы вознесенного на гребень великих событий. А истина только в том, что он верный слуга русского народа и ничего больше.

Гапон взбеленился:

— Не согласен! Не хочу! — кричал он надтреснутым тенором.— Слуга — это лакей! А перед лакеями не становятся на колени в благоговении и тем более за лакеем не идут под пули, и разве вы сами не видели все это своими глазами?

В общем, статьи в похвалу скромности не получилось, тем более что как раз в это время Гапону сообщили, что какие-то его богатые покровители покупают для него целый пароход оружия и он — Гапон — вскоре возглавит там, в России, вооруженное восстание против царизма. Между прочим, он не раз заявлял за границей, что если бы 9 января у рабочих было оружие, царизма в России уже не было бы...»

Словом, такой вот он был, этот Гапон. А всеевропейский бум вокруг него продолжался.

«Мы переехали в Париж,— вспоминал далее Рутенберг.— Одному из товарищей пришла мысль пойти с Гапоном к Жоресу *, Вальяну **, Клемансо ***. Гапон охотно согласился. Я был против этого, опасался, что хождение по знаменитостям скверно на него повлияет. Но скоро я должен был уехать из Парижа на несколько дней. Гапон остался один, и вывод его «в свет» состоялся. За вре-

* Жан Жорес — руководитель правого крыла Французской социалистической партии, активный участник движения солидарности с российской революцией 1905—1907 гг.

** Эдуард Мари Вальян — французский социалист, в прошлом член Исполнительной комиссии Парижской коммуны.

*** Жорж Клемансо — премьер-министр Франции, один из руководителей партии радикалов.

мя моего отсутствия он успел побывать у Жореса и Вальяна и условиться о свидании с Клемансо.

— Знаешь, кто такой Вальян? — спросил Гапон, рассказывая мне об этих свиданиях.

— Конечно знаю.

— «У вас большой ум и великое сердце»,— сказал он мне на прощанье. Так и сказал: большой ум и великое сердце. И трясет руку... Оба, и Жорес и Вальян, были страшно рады повидаться и поговорить со мной. Они сказали, что это для них большая честь,— Гапон засмеялся мелким нервным смехом».

Здесь уместно процитировать несколько строк из воспоминаний известного русского общественного и литературного деятеля, близкого Горькому, В. А. Поссе.

Но прежде необходимо пояснить, что наиболее сдержанно к Гапону отнеслись находившиеся, как и Поссе, в то время в Европе социал-демократы, однако далеко не все. В. А. Поссе свидетельствует: «Плеханов, защищая Гапона от нападок социал-демократов, писал в № 93 «Искры», что Гапона нужно не обижать, а благодарить за его сочувствие рабочему классу. Его следует похвалить за то, что он «попрал верой в царя веру в царя, стихийностью — стихийность», что следует пожелать ему «удачи на совершенно новом для него пути сознательного революционера».

А как отнесся к Гапону Ленин, живший в то время в Женеве? Ведь ему пришлось встречаться с Гапоном, о чем свидетельствуют близкие Владимиру Ильичу люди — Н. К. Крупская и В. Д. Бонч-Бруевич.

...От Плеханова Гапон узнал, что в Швейцарии находится Ленин, и стал настойчиво добиваться встречи с ним. Георгий Валентинович сказал, что для этого надо обратиться к Бонч-Бруевичу, который ведает приемной Владимира Ильича. Гапон явился к нему и потребовал свидания с Лениным.

Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич вспоминал:

«...Вернувшись весной 1905 г. в Женеву из нелегальной поездки по России, я узнал, что этот переодевшийся в штатское попик, несомненный агент охранного отделения, деятель департамента полиции и министерства внутренних дел, прилагавший все силы к тому, чтобы совлечь рабочих с революционного пути, теперь, перейдя через трупы расстрелянных демонстрантов, которых он вел на поклон к царю, возомнил себя революционером и антиправительственным общественным деятелем. Как ни странно, многие эмигранты потянулись к Гапону, очевидно, приняв за чистую монету подписанную им прокламацию, где он обращался к рабочим, участникам демонстрации, как к «спаянным кровью братьям». Между тем упорно ходил слух, что Гапон подписался под чужой, не им написанной прокламацией, что будто бы текст ее был выработан сейчас же вслед за событиями одним из очень популярных писателей-беллетристов того времени, идеализировавшим этого якобы «красного» священника; таким образом, получалось, что Гапон совершенно случайно, не желая того, сел не в свои сани.

В Женеве он сначала искал популярности среди студенчества, что ему отчасти удавалось. Но социал-демократическая, особенно большевистская, эмиграция быстро разобралась в нем. Повертевшись некоторое время около нас, он должен был вскоре отчалить от нашего берега.

Вернувшись в Женеву, я принялся за возложенные на меня Центральным Комитетом партии обязанности, среди которых были занятия в так называемой центральной экспедиции, а в сущности — в приемной большевистского ЦК. Сюда приходило к нам множество народа, приехавшего легально и нелегально из России. Эти приемы по определенным дням занимали у меня несколько часов. Часам к четырем всегда приходил Владимир Ильич, и я, отобрав наиболее нужных посетителей, направлял их в особую комнату, где он вел с ними беседу или назначал им конс-

пиративные свидания. Весной 1905 г. в один из таких дней я несколько запоздал на прием и, когда пришел, увидел в приемной довольно много поджидавших меня знакомых и незнакомых людей.

Не успел я войти, как один из них, среднего роста, черный, с волнистыми волосами и чуть вьющейся бородкой клинышком, в пиджаке, неуклюже сидевшем, встал, сделал несколько шагов и нервно, зло, раздражительно произнес, обращаясь ко мне:

— Я Гапон, вот жду вас здесь...

Сразу поняв этого человечка, впервые мною увиденного, уже зазнавшегося и здесь, за границей, я ответил:

— Присядьте. Очередь дойдет и до вас.— И указал ему на стул, с которого он так взвился.

Очевидно, не ожидая такого приема, он смущенно поплелся к своему стулу и уселся, все время нервно покручивая и подергивая бородку и бросая на меня недоброжелательные взгляды.

Подойдя прежде всего к незнакомым — это было наше всегдашнее и обязательное правило — и узнав, кто они и зачем прибыли, я быстро разобрался с ними, перешел к знакомым товарищам и, наконец, к Гапону:

— Я желаю видеть Владимира Ильича,— буркнул он.

— Зачем именно?

— А разве это необходимо? — очевидно, мстил он мне за сухой прием вместо распростертых объятий, которыми встречали его всюду.

— Совершенно обязательно.

— Я хочу говорить о конференции.

— Но вы же знаете мнение нашей партии?

— Я хочу еще раз попытать... Мне очень необходимо,— перешел он на просительный тон.

— Посидите, подождите,— сказал я ему,— там увидим...

Гапон скис и уселся, съежившись.

Вся деятельность Гапона, о которой я подробно раз-

узнал в Петербурге, мне была крайне антипатична. Мне казалось, что в Женеве он, случайный гость, играет заранее продуманную роль, подлаживается к революционерам разных направлений. За ним, конечно, никого не было, и всякое его значение в России уничтожилось на другой же день после 9 января.

Я сообщил Владимиру Ильичу, что его хочет видеть Гапон.

Владимир Ильич неохотно согласился повидаться с ним.

— Но с ним последним,— сказал он мне,— когда все уйдут.

Я поодиночке провожал товарищей, ждавших Владимира Ильича, в другую комнату.

Когда приемная опустела, я сообщил об этом Владимиру Ильичу. Он поднялся, и мы пошли вместе.

Скорыми шагами вошел Владимир Ильич в приемную.

— Чего вы хотите? — спросил он на лету Гапона. Тот быстро встал и, переваливаясь уточкой, сделал несколько неловких шагов к Владимиру Ильичу. По-видимому, Гапон никак не мог привыкнуть ходить в штатском платье.

— Да вот необходимо сговориться о наших делах!

— Каких таких «наших делах»? — проговорил, усмехаясь, Владимир Ильич.

— Как каких? У нас с вами их пропасть!

— Ну, уж и пропасть! Я что-то их не знаю,— подчеркнуто сухо ответил Владимир Ильич и заложил большие пальцы обеих рук за жилетку.

— Что это вы, батенька, так официально со мной заговорили? — вдруг раздражаясь и нахально улыбаясь, заговорил повышенным тоном Гапон; видимо, он намеревался фамильярно похлопать Владимира Ильича по плечу.

Владимир Ильич почувствовал это движение Гапона и быстро попятился, пронизывающе смотря ему в лицо.

Поднятая рука Гапона, очевидно, никак не ожидавшего такого пассажа, повисла и замахала в воздухе.

Я невольно улыбнулся.

Гапон побагровел.

— Официально? — переспросил Владимир Ильич.— А как же иначе? У нас с вами никаких других отношений не было и нет, да навряд ли и будут. Вы чего, собственно, хотите от меня? — перешел он вдруг на вполне деловой тон.

— Да вот нам нужно столковаться о многом...

— Ну, ничего «многого» я не предвижу. За всем, что вам будет нужно, будьте добры обращаться в приемные дни вот к нему,— Владимир Ильич указал на меня,— он вполне уполномочен вести все предварительные разговоры. Я обо всем буду знать, а если нужно будет — повидаемся. Сейчас я очень занят... Прощайте.

Он вышел.

Гапон, чувствовавший себя весьма неловко, то бледнел, то краснел, заметался по комнате, схватил шапку и, почти закричав: «Прощайте! Прощайте!», опрометью бросился вон из нашей столь неприветливой приемной и более к нам ни разу не являлся.

— Это хорошо,— сказал мне Владимир Ильич,— что вы его приняли сухо и не проявили никаких дружеских чувств. Некоторые склонны им увлекаться. События 9 января создали ему ореол, но он совершенно чужой для нас человек. С ним тяжело, неприятно...

Вскоре мы узнали, что Гапон попал в объятия эсера Виктора Чернова, который, очевидно, решил его приласкать, пристроить и использовать в целях своей партии, всегда набиравшей людей с бору да с сосенки, полагая, что и с Гапона можно будет урвать хоть какой-нибудь клок шерсти.

Всем памятна Женевская конференция, состряпанная эсерами под эгидой Гапона; с нее мы, большевики, ушли с протестом в самом начале, при ее открытии. Это было категорическим желанием Владимира Ильича, который таким политическим, публичным актом как бы подчеркивал,

что нам, партии пролетариата, не по пути с авантюристами любого вида и калибра, что даже в борьбе с самодержавием, когда было нужно «вместе бить, а врозь идти»,— с подобной публикой нам нечего делать. Этим официальным уходом с конференции, созванной по настоянию Гапона, мы, большевики, как бы подытоживали свое отношение к нему и к его политическим друзьям и союзникам».

Надежда Константиновна Крупская вспоминала:

«Через некоторое время после приезда Гапона в Женеву к нам пришла под вечер какая-то эсеровская дама и передала Владимиру Ильичу, что его хочет видеть Гапон. Условились о месте свидания на нейтральной почве, в кафе. Наступил вечер, Ильич не зажигал у себя в комнате огня и шагал из угла в угол.

Гапон был живым куском нараставшей в России революции, человеком, тесно связанным с рабочими массами, беззаветно верившими ему, и Ильич волновался этой встречей.

Один товарищ недавно возмутился: как это Владимир Ильич имел дело с Гапоном!

Конечно, можно было просто пройти мимо Гапона, решив наперед, что от попа не будет никогда ничего доброго... Но в том-то и была сила Ильича, что для него революция была живой, что он умел всматриваться в ее лицо, охватывать ее во всем ее многообразии, что он знал, понимал, чего хотят массы. А знание массы дается лишь соприкосновением с ней. Ильича интересовало, чем мог Гапон влиять на массу. (Как мог пройти Ильич мимо Гапона, близко стоящего к массе, влиявшего так на нее? — *В. А.*)

Владимир Ильич, придя со свидания с Гапоном, рассказывал о своих впечатлениях. Тогда Гапон был еще обвеян дыханием революции. Говоря о питерских рабочих, он весь загорался, он кипел негодованием, возмущением против царя и его приспешников. В этом возмущении было немало наивности, но тем непосредственнее оно

было. Это возмущение было созвучно с возмущением рабочих масс. «Только учиться ему надо,— говорил Владимир Ильич.— Я ему сказал: «Вы, батенька, лести не слушайте, учитесь, а то вон где очутитесь»,— показал ему под стол».

Вот и А. В. Луначарский много лет спустя вспоминал, как Ленин высмеивал его чрезмерное увлечение Гапоном.

На Третьем съезде партии Владимир Ильич рассказал: «За границу приехал... Гапон. Повидался с с.-р., потом с «Искрой», затем и со мной. Он говорил мне, что стоит на точке зрения с.-д., но по некоторым соображениям он не считает возможным заявить это открыто. Я ему сказал, что дипломатия вещь очень хорошая,— но не между революционерами...»

Возникает вопрос: следила ли русская охранка за Гапоном в Европе, ведь у нее там был специальный штат сотрудников, которые, по выражению действовавшего в Париже главного охранника Рачковского, «тенью ходили за всеми более или менее опасными политическими эмигрантами».

В служебной тетради Лопухина имеется такая запись, относящаяся к середине 1905 года: «...Опасные планы Гапона на случай его возвращения в Россию. Тщательное выяснение и разработка его связей за границей с лидерами с.-д. и с.-р. Новые объекты террора последних в России. Опора: Иван Николаевич, Раскин, Виноградов, Рачк.». Эти имена теперь расшифровать нетрудно: Иван Николаевич, Раскин и Виноградов — это все псевдонимы, данные охранкой своему великому провокатору Азефу. «Рачк.» — это в то время глава российского политического сыска в Европе Рачковский.

Для того чтобы понять все происходившее с Гапоном в связи с его возвращением в Россию, надо только установить: были ли в Европе встречи Гапона с Азефом?

Такие встречи были! Одна из них состоялась в парижском кафе, когда за столиком сидели Гапон, Азеф, Рутенберг и очень близкий к Азефу эсеровский террорист Карпович. Кроме них в кафе никого не было. Только пианист — пожилой господин с седой артистической гривой — тихо наигрывал какую-то грустную мелодию.

— Ну, что у вас за срочное дело? — недовольно спросил Азеф.

— Дело не столь срочное, как очень важное, — с достоинством ответил Гапон, боясь, однако, глянуть в глаза знаменитому террористу.

К этому времени Азеф еще не был разоблачен как платный агент-провокатор охранки и был сейчас и для Гапона, и для Рутенберга легендарной и грозной фигурой, вторым человеком в эсеровской партии, если не первым.

— Ну, давайте ваше срочное и важное дело, — сердито произнес Азеф.

— Георгий Аполлонович окончательно решил вернуться на родину,— тихо произнес Рутенберг.— Одновременно к берегам России из Англии отправляется пароход с оружием.

— А это зачем? — вяло поинтересовался Азеф: на его крупном, несколько оплывшем лице вздрагивала усмешка, из-под низко нависшего лба в Гапона впились черные маслянистые глаза.

— Вооруженное восстание без оружия немыслимо, — резко ответил Гапон. Его с самого начала встречи начал раздражать этот жирный и больше молчавший собеседник, которого он, однако, боялся.

— Я слышал, что оружием надо уметь пользоваться,— небрежно проронил Азеф.

— Вместе с рабочими восстанут солдаты, — нервно парировал Гапон.

— А как же это вы доберетесь до солдат, для которых высшая сила — их офицеры, а те были и остаются верными слугами своего класса? — повысил голос Азеф.

— Солдаты присоединятся к нам сами, они не забыли своего позора, когда девятого января стреляли и народ. Не забудьте и о «Потемкине».

— Допустим, — чуть заметно кивнул Азеф и резко спросил: — Кто во главе восстания?

— Я, — мгновенно ответил Гапон.

На одутловатом лице Азефа снова шевельнулась усмешка:

— У вас для этого нет необходимого опыта. Одно дело повести слепую толпу со столь же слепой и безнадежной целью образумить царя, и совсем иное дело — вооруженное восстание или, другими словами, война против царя и самодержавия, располагающих колоссальной силой, в том числе и армией.

— Достаточно того, что меня знает и мне верит вся Россия, — с апломбом произнес Гапон, с вызовом глядя на Азефа. А тот обратился к Рутенбергу:

— Вы верите во все это? Но прежде чем ответить, учтите, что я спрашиваю вас не как друга Гапона, а как человека, близко стоящего к руководящему центру нашей партии.

— Все же обстановка в России для восстания благоприятная, — не сразу и не очень убежденно ответил Рутенберг.

— Вы что? Едете вместе с Гапоном в Россию? — жестко спросил Азеф.

— Я обязан ехать.

— Кем обязан?

— Разве вы не знаете — по воле нашей партии я уже давно рядом с Гапоном и, мне кажется, не могу отойти в сторону, когда назревают столь большие дела.

Спустя несколько лет, уже разоблаченный и удравший из Европы Азеф вспомнит об этом разговоре в Париже и приведет его как одно из доказательств «бездумных, авантюрных дел лидеров партии, которые теперь во всех своих бедах винят одного его...».

В это время Гапон жил на окраине Женевы в пустующей квартире эсера-ученого. Целые дни он находился один, за запертой дверью, — Рутенберг запретил ему выходить даже во двор дома. Кормила его служанка хозяина квартиры.

Рутенберг каждый день навещал Гапона. Однажды он застал его за странным занятием: из детского пистолета, стреляющего резиновыми прилипающими пулями, тот палил по укрепленной на стене мишени.

— Я еду в Россию не для мирной жизни, и я должен уметь метко стрелять, — пояснил Гапон. — Сейчас я выверяю твердость руки и прицел. Смотри!

Он несколько раз выстрелил, и все пули прилипли к мишени.

— Ты видишь, как здорово получается? Еще вчера из трех пуль я попадал в мишень только одной, а сегодня — все в яблочко! Все! Я не завидую тому, кто станет там для меня целью.

— Там надо будет стрелять не из детского пистолета, — заметил Рутенберг.

— Мартын! Купи мне браунинг! — воскликнул Гапон.
— Дай слово, что купишь!

— Ладно уж, куплю, — пообещал Рутенберг и спросил: — Когда решил ехать?

— В самое ближайшее время. На днях ко мне должен зайти Владимир Александрович Поссе, он едет вместе со мной. Вместе и назначим дату отъезда.

— Мне этот Поссе что-то не нравится, — поморщился Рутенберг.

— Ты просто ревнуешь его потому, что он едет. А мне он очень нравится, — запальчиво выкрикнул Гапон. — И прежде всего тем, что он не социал-демократ и не эсер, а значит, не будет давить на меня партийными догмами и целиком примет мои расчеты.

— Смотри, не просчитайся, он мужик очень хитрый.

— А мы тоже не лапотные, — самодовольно усмехнулся Гапон...

Однако посмотрим, как развивались события дальше. Пока Георгий Аполлонович только отправился в Англию на переговоры со своими богатыми покровителями.

Гапон уезжал из Парижа в Лондон. Он устремился туда, исполненный больших надежд, в кругу друзей говорил: я еду не в Лондон, а через Лондон — в Россию.

Он уже расплатился с гостиницей. Упаковал чемодан. Вечером отъезд. А пока он давал интервью корреспонденту французского агентства Гавас — седовласому вальяжному господину, смотревшему на него с почтительным любопытством и стремительно записывавшим в блокнот каждое его слово.

Гапон говорил, прохаживаясь по номеру:

— Ответить на ваши вопросы нелегко. Подготовка революции не допускает гласности, которая может вооружить ее врагов.

— О да, о да, — кивал и записывал корреспондент. — Но разве опасно сообщить, какое у вас настроение?

— Это можно... Настроение отличное! — Закинув голову, Гапон сверкающими глазами посмотрел на репортера. — Тому есть основания. Надеюсь, вы понимаете, что революция, как всякое дело, требует средств. Эта проблема в отношении русской революции прекрасно решена.

— Портье сказал мне, что вам заказан билет в Лондон.

— Я не уполномочивал портье давать информацию для газет,— строго произнес Гапон и, круто повернувшись от стены, проговорил, пересекая номер: — Но вот что нужно напечатать обязательно,— он остановился перед корреспондентом и продолжал тоном диктанта:— Революция в России назрела, как назревает кризис всякого тяжелобольного. И тогда спасительно только хирургическое вмешательство.

— Вы берете на себя функции хирурга? — подхватил корреспондент.

— Здесь тот случай, когда хирурга выбирает сам больной.

— О, понимаю... Вам в Англии предстоят деловые встречи?

— У людей дела вся жизнь состоит из встреч. И на этом все, у меня для вас больше нет времени, — категорически заключил Гапон. Он решил остановиться, боясь опять ляпнуть что-нибудь такое, после чего талмудисты из партии будут кривить рожи... (Почти дословно такое интервью Гапона будет распространено агентством Гавас.)

Корреспондент ушел, но в дверь тотчас постучали.

Гапон открыл — и невольно отшатнулся: перед ним стоял Евстрат Павлович Медников, друг и соратник Зубатова, знаменитый мастер политического сыска.

Отстранив Гапона, Медников вошел в комнату:

— Здравствуйте, дорогой Георгий Аполлонович, — заговорил он мягким баритоном, внимательно вглядываясь в попа. — Вот уж истинно — только гора с горой не может встретиться.

— Садитесь, Евстрат Павлович, — растерянно предложил Гапон, показывая на диванчик у стены.

— И то верно, — улыбался Медников. — Присядем рядком, потолкуем о том о сем.

Они сели на тесный диванчик, оказавшись в такой близости, когда лицо в лицо, глаза в глаза...

Когда-то их познакомил Зубатов в своем кабинете, сказав, смеясь Гапону:

— Учтите, это не просто еще один чиновник моего департамента, это король сыска и, кроме того, господин Медников славен тем, что никогда зря не произносит ни единого слова.

Гапону сейчас вспомнилось это с обжигающей ясностью. В тот день был его очередной визит к Зубатову, и

разговор с ним был очень опасный. Он добивался покровительства Зубатова своему объединению рабочих, а тот, ничего не обещая, предупреждал, что его проповеди перед рабочими, когда он убеждает их, что царя можно заставить заботиться об их нуждах, очень близки вожделениям социал-демократических подстрекателей, ибо те тоже хотят заставить царя, хотя бы и силой, стать лучше и отказаться от существующего в государстве порядка.

— А не захочет он, так и свергнуть его,— вставил тогда Медников с недоброй улыбкой.

А сейчас он пристально посмотрел в глаза Гапону и сказал печально:

— Вы, Георгий Аполлонович, небось, наслышаны, что наш с вами Зубатов, хотя и полностью реабилитирован, вернуться на службу отказался. Остался во Владимире... А я теперь занимаюсь своим делом здесь, в Европе, и хотел бы воспользоваться вашей помощью по старой дружбе, да и по службе.

— По какой еще службе? — съежился Гапон.

— Как это по какой? — мягко удивился Медников. — По службе охраны российского, то есть опять-таки нашего с вами, государя императора.

— Он в меня стрелял,— тихо произнес Гапон, пытаясь унять дрожь в коленях.

Лицо Медникова досадливо сморщилось:

— Оставьте, Георгий Аполлонович, эти счеты! Вас-то самого государь может обвинить попросту в подлом коварстве: болтать рабочим о любви к царю, а потом спровоцировать против него такое дело — это что, по-вашему, честно?

Гапон молчал, сердце у него колотилось.

— Не волнуйтесь, Георгий Аполлонович, давайте поговорим откровенно, без всяких хитростей и при полном вашем понимании, что я не сам пожелал увидеться с вами. — Медников помолчал, делая жевательное движение губами. — Вот вы и в здешней печати уже неоднократно

сообщали, что возвращаетесь в Россию, чтобы продолжить борьбу против жестокой русской монархии. Неужели вы не понимаете, что за одно это ваше заявление мы можем спокойно взять вас на границе под локотки и упрятать в «Кресты» *? И что тогда? Тогда все будет очень просто. Суд. Вам предъявляется обвинение от имени всех убитых девятого января, которых вы обманули обещанием мирного шествия. А заодно и обман охранного отделения, с которым вы были тесно связаны. И загремите вы в какой-нибудь Акатуй, где в холоде и позоре закончите свое бренное существование. С нами, Георгий Аполлонович, можно пошутить только один раз. А потом уже шутим мы...— Медников тихо посмеялся.— У вас может возникнуть глупая мысль укрыться в Европе и спиться в здешних кабаках — и это после того великого шума, какой вы подняли здесь своим приездом,— Медников дружески положил руку на вздрогнувшее колено Гапона.— А есть для вас путь иной, прямой и честный: вернуться к своим рабочим, продолжить вашу работу во славу и охранение государя императора, но учтя, что в России сейчас с опасной болтовней покончено и болтуны пребывают в тюрьмах или в местах сугубо отдаленных, а все умные люди, включая нашего царя, ищут пути дальнейшего умиротворения общества. По огромному служебному секрету могу сообщить вам, что царь готовит манифест свободы с амнистией всем своим недавним противникам. Так что продолжению вашей честной работы среди рабочих никто мешать не будет... А мы обеспечим вам полную неприкосновенность.

Гапон отвернул лицо в сторону и молчал. Медников вновь тихо посмеялся:

— Вы, возможно, по легкости мышления думаете сейчас, что я вас пужаю от собственного страха. Отбросьте эту мысль как глупейшую. Мы о вас знаем достаточно,

* Тюрьма в Петербурге.

чтобы не церемониться с вами. Может, интересуетесь, что нам известно? Отвечу коротко: все! Вот, к примеру, мы знаем, что сегодня вы едете в Лондон. Там вам предстоит встреча с неким господином Соковым, который должен передать вам большие деньги от одного богатейшего иноземного покровителя всех врагов российской державы, и на деньги эти будет закуплено и отправлено в Россию оружие для вооруженного восстания против самодержавия. Не надо только говорить, что эти сведения неточные. Не надо, Георгий Аполлонович. А за одну эту вашу сделку с оружием вас по прибытии в Россию можно без особого труда и повесить.

Гапон смотрел на Медникова вытаращенными глазами, дрожь от коленок стала передаваться по всему телу. Его мозг, обожженный страхом, точно оцепенел.

Тонкий психолог Медников все это видел и решил нанести еще один удар.

— Господин Ратаев, который сейчас представляет нашу службу в Европе, человек, замечу, тонкого и беспощадного ума, просил меня передать вам, что он держит в запасе один очень эффектный вариант. С помощью английской полиции взять вас в Лондоне вместе с деньгами, которые вы там получите, и потом показать всему миру, как бравые русские революционеры собираются на иноземные деньги делать русскую революцию. А, Георгий Аполлонович? Неплохая идейка? — он помолчал и продолжил: — Но давайте-ка мы сделаем все иначе. Поезжайте в Лондон. Получайте там свои иноземные деньги. Покупайте оружие, а сами возвращайтесь в Петербург. Никаких донесений от вас мы не хотим. Вы убедились, что и без вашей помощи мы о вас знаем абсолютно все. И этот факт должен защитить вашу совесть в отношении вашей с нами связи. Со своей стороны, мы вас не тронем ни здесь, ни в России, но вот там, в России, если вдруг нам понадобится ваша помощь — не откажите в порядке благодарности за то, что мы сейчас спасаем вас от позора. А за сим, Георгий

Аполлонович, разрешите откланяться. Вам еще нужно отдохнуть перед дорогой. И успокойтесь, пусть все идет так, будто мы с вами сейчас и не виделись. Это самое лучшее решение всех ваших проблем... Ведь в самом же деле: абсолютно ничего с вами не произошло. Просто встретились два знакомых человека и какие-то полчаса откровенно поговорили. И разошлись, чтобы, может, никогда более не увидеться. Что же касается тайны этой встречи, то никто не умеет так могильно хранить тайны, как наша служба. Я вас в этом заверяю клятвенно...

— Революция,— продолжал Медников,— это ведь такое великое дело, которое никакими разговорами не остановишь, если уж она, как утверждали вы в одной своей статейке, назрела. И кто знает, может так статься, что вы вернетесь в Питер к своим рабочим, а они как раз в этот момент и поднимутся против самодержавия, а тогда уже ни вы, ни мы ничего сделать не сможем, как только покориться ее страшной силе. И тут как бы не случилось, что вы, Георгий Аполлонович, однажды вызовете меня в революционную охранку и посадите в тюрьму. Однако все, что происходит сейчас, никак не должно отразиться на делах и событиях, в которых вы принимаете участие. Успеха вам, Георгий Аполлонович!

Медников вновь похлопал Гапона по коленке, резко встал и, летуче поклонившись, ушел...

Гапон долго сидел недвижно на плюшевом потертом диванчике, где еще оставалась вмятина после Медникова. Его мозг понемногу выходил из оцепенения, и с уже обычной для себя легкостью Гапон стал думать о том, что, действительно же, этот их разговор никак не может повлиять на все его дела. И тем более на великое дело революции... И тут Медников прав, революция зависит не от разговоров, а от действия, а он как раз едет в Лондон потому, что действует.

Лидер эсеровской партии Чернов встретился с Рутенбергом в Париже.

— Очень прошу вас,— сказал он,— съездить в Лондон и повидаться с вашим дружком Гапоном. Снова он пылит на страницах газет. И хотя он из нашей партии выбыл, совсем упускать его из виду нельзя.

Рутенберг поморщился:

— Очень мне не хочется его видеть. Надоело слушать его гимны самому себе.

— Петр Моисеевич, это просьба не только моя, это поручение ЦК. Наконец, дело, которое нужно там выяснить, может оказаться очень серьезным. На днях французские газеты опубликовали интервью с Гапоном, в котором он сделал заявление, будто вопрос о средствах для русской революции решен великолепно. Черт его знает — а вдруг? Мы-то сидим без денег. В общем, поручение ЦК надо выполнить, не откладывая.

Рутенберг улыбнулся:

— Если он про деньги не наврал, отнять?

— Во всяком случае, мы должны знать, куда и как он намеревается их употребить. У Ивана Николаевича есть глухая информация, будто он хочет закупить оружие. В общем, поезжайте...

В Лондоне, в дешевенькой гостинице, адрес которой был ему дан, Рутенберг Гапона не обнаружил. Хозяин сказал, что мистер Гапон переехал в более достойное для него место, и назвал адрес.

Это была гостиница средней руки, но Гапон занимал в ней, может быть, самый дорогой номер, в котором стояло даже пианино.

Он встретил гостя по-дружески, собрался даже его обнять, но Рутенберг уклонился.

— Мы с тобой сейчас позавтракаем,— засуетился Гапон. — И всласть поговорим, а то мне тут не с кем словом перекинуться.

— Но у тебя же вон есть пианино, и ты по ночам мо-

жешь играть «ойру» или твой любимый «Реве та стогне Дніпр широкий».

Гапон рассмеялся.

— А между прочим, я знал, что ты приедешь ко мне.

— Откуда ты мог это знать? — удивился Рутенберг.

— Откуда? — Гапон показал на свою грудь: — Сердце-вещун. И видишь, какой точный вещун... Ладно, пойду закажу нам завтрак.

Дальнейший их разговор проходил под кофе с сандвичами и коньяком.

— Ну, а если правду? — спросил Гапон. — Неужели ты в Лондон приехал не ко мне?

— Представь себе — не к тебе.

— Ну да, ну да,— закивал Гапон.— Зачем тебе ко мне, раз я из вашей партии вышел.

— Но из революции, надеюсь, ты не вышел? — усмехнулся Рутенберг.

— С этим не шутят, Мартын,— угрюмо обронил Гапон, и заговорил вдруг энергично, напористо:— Слушай меня. Выходи и ты из партии, и мы будем вместе работать на революцию. — Он выхватил из кармана голубой листок и положил перед Рутенбергом. — Вот смотри, чек на пятьдесят тысяч франков! Ничего себе?

— Солидно,— согласился Рутенберг, внимательно рассмотрев чек.

— И это только первый взнос. Говорю тебе, Мартын,— давай действовать вместе. А твоя и всякие иные партии — это один дым. И все эти ваши и эсдековские талмудисты от революции ни черта жизни не знают и думают, что революцию они совершают на своих заседаниях. Не будет так, Мартын! И твои эсеры, и социал-демократы пойдут за мной. Сами не пойдут? Заставлю! — Гапон встал, скрестив руки на бархатном жилете, и, выпятив грудь, продолжал: — А знаешь, как лихо я провел операцию с этим чеком? Я заранее выписал сюда из России рабочего Петрова. Помнишь его? Верный мой помощник по

обществу. И научил его, как надо говорить о делах в Питере, когда явится этот денежный тип, пожелавший вложить деньги в меня и нашу революцию. И Петров нарисовал дивную картину — весь рабочий Петербург ждет меня и рвется в бой. Так что этот тип, не раздумывая, вынул чековую книжку и выписал сумму. И сказал: «С богом, мистер Гапон». За такие деньги я ему и «мистера» простил,— он рассмеялся. — Словом, брось, Мартын, раздумывать — едем вместе! А это... — Гапон постучал пальцем по чеку,— это же оружие для рабочих! Понимаешь?

Рутенберг молчал.

— Могу тебе сообщить еще одну интересную петербургскую новость. — Гапон приподнялся на носках. — Тамошние рабочие проводят подписку на памятник мне! Понимаешь? Памятник при жизни! Такого еще никто не имел! Это Петров рассказал...

— Это из того, что он рисовал благодетелю по твоей подсказке? — подавляя раздражение, спросил Рутенберг. — А сам-то ты в такое веруешь?

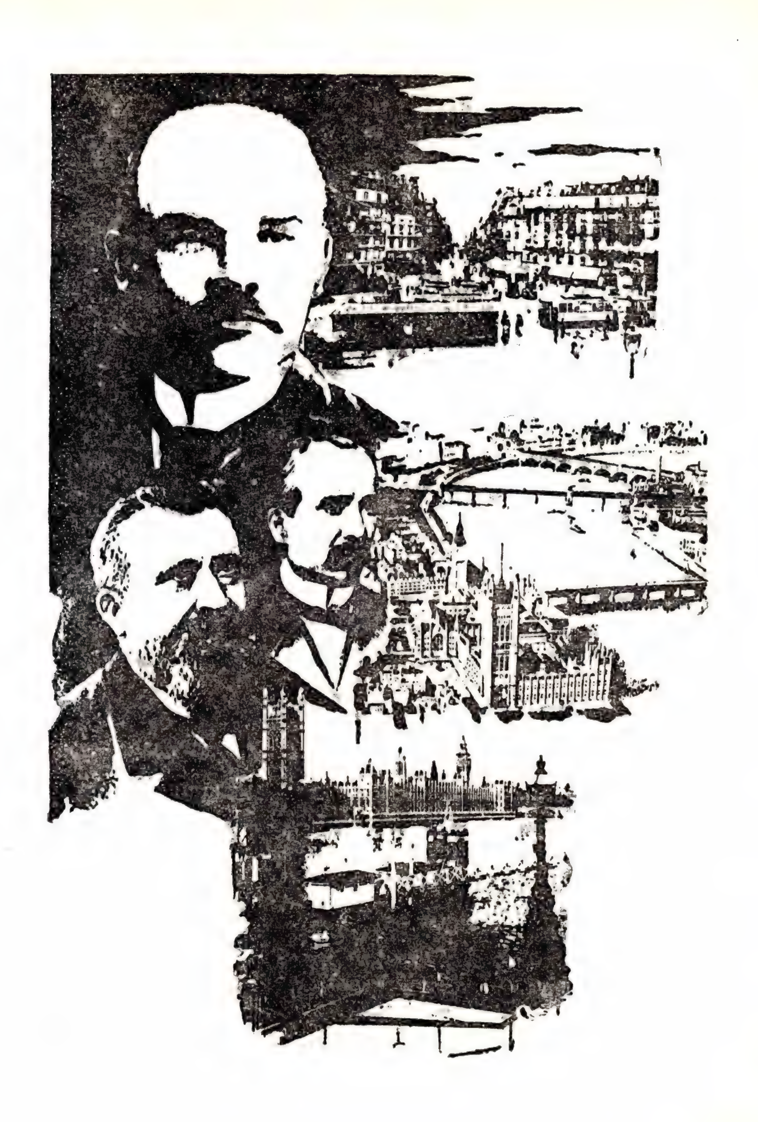
— Ты же знаешь, что я не просто верующий, я священник,— неожиданно и непонятно рассмеялся Гапон, прошелся танцующей походкой и остановился перед Рутенбергом оживленный, сияющий.

Тот исподлобья пристально смотрел ему в глаза:

— А я вот не верю в памятник Гапону! Более вероятно, что ты вернешься в Россию и попадешь в «Кресты». Лично я сидеть в тюрьме не хочу.

— А я этого не боюсь,— решительно произнес Гапон. — Во-первых, я знаю рабочих, они не дадут меня в обиду. Во-вторых,— он снова постучал пальцем по чеку,— это же целый пароход оружия для питерских рабочих! Сам ты мне девятого января, после всего, разве не говорил, что, будь у рабочих оружие, все бы кончилось победной революцией? Говорил? Ну, то-то же. Так вот оно, оружие! — Он свернул чек и спрятал в карман.

Рутенберг усмехнулся:



— Ты свезешь оружие туда в своем чемодане?

В глазах Гапона блеснула злость:

— Если ты поедешь со мной, у нас будет два чемодана! Но зачем вы все так старательно делаете из меня дурачка? Я же сказал тебе — повезет пароход, он уже под погрузкой. Что ты скажешь на это?

— Я лучше промолчу,— угрюмо обронил Рутенберг.

Они долго молчали. Потом Гапон встрепенулся, стиснул руку Рутенберга:

— Мартын, ты знал меня в разных обстоятельствах, ты был рядом со мной, когда расстреливали наше мирное шествие к царю. Памятью о том дне заклинаю тебя поверить, что я сейчас делаю большое дело. Пусть ваши партийные умники не верят, но ты поверь! Я всерьез зову тебя действовать вместе со мной.

— Мне надо подумать. Если будет возможность, я загляну к тебе завтра или послезавтра.

— Ну что ж, думай, думай,— с иронией и грустью сказал Гапон.

В тот же день Рутенберг вернулся в Париж. Его доклад о поездке к Гапону слушали Чернов, Азеф и Савинков.

— Чек на пятьдесят тысяч франков я держал в руках. Подлинный,— говорил Рутенберг.

Одутловатое лицо Азефа скривилось в усмешке:

— А если подлинно и все остальное? Он же большой фокусник. Но так и так нужна тщательнейшая проверка. Особенно в отношении парохода с оружием. Я не верю, что пароход пропустят до Петербурга, но нужно быть готовыми ко всему. Я предлагаю немедленно послать в Петербург Рутенберга, чтобы специально проконтролировать прибытие парохода. Мы должны обеспечить его надежнейшими документами, иначе его схватят уже на границе.

Предложение Азефа было принято, и спустя неделю Рутенберг выехал в Петербург. Он благополучно мино-

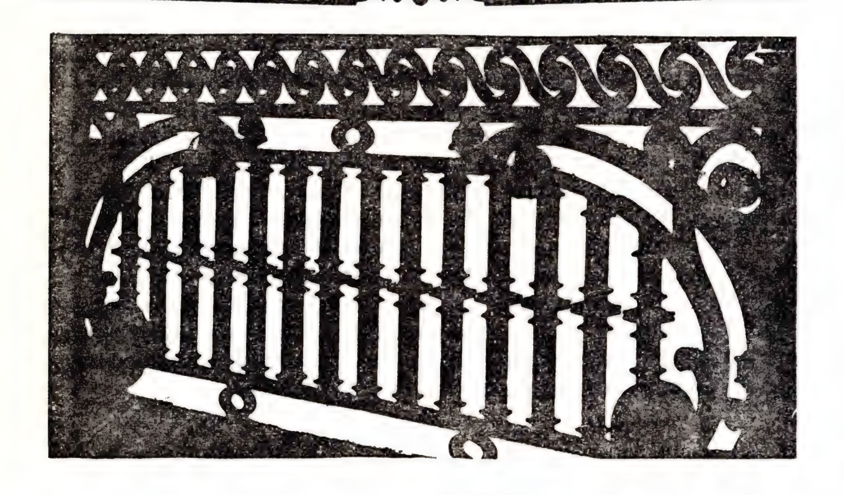
вал границу, но в столице на третий день был арестован и посажен в тюрьму. Наверняка все-таки сработал Азеф!

Весьма подозрительно выглядит и вся история с пароходом «Джон Крафтон», везшим оружие. Не дойдя до России, он сядет на мель у берегов Финляндии, и все оружие с него пропадет. Но об этом немного позже.

Гапон выехал сразу после отправки парохода из Англии, но задержался в Париже, где, по рассказам очевидцев, вел довольно разгульную жизнь и не делал большого секрета из того, что возвращается в Россию...

Меж тем Рутенберг вскоре был выпущен из тюрьмы без предъявления какого бы то ни было обвинения. Перед ним даже извинились. Это странно, ибо охранка прекрасно знала его, он был в списке разыскиваемых в связи с 9 января. Но, возможно, было решено, что он будет более полезен охранке, находясь на свободе под ее контролем как приманка для эсеров и того же Гапона. И этот расчет, как мы скоро увидим, полностью оправдается.

V



О том, как Гапон ехал из Парижа в Петербург, мы узнаем из воспоминаний В. А. Поссе, который был его попутчиком...

Несколько слов о самом Поссе, к воспоминаниям которого мы обращаемся. Еще в конце прошлого века он заявил о себе как общественный и литературный деятель прогрессивных убеждений. Начал издавать горячо поддержанный Горьким журнал «Жизнь», в котором печатал произведения Горького, Чехова, Андреева. Чехов сам передал свою повесть «В овраге» в журнал Поссе, и она была напечатана в одной книжке со статьей Ленина «Капитализм в сельском хозяйстве». Из переписки с А. Н. Потресовым можно узнать, что Ленин, находясь в ссылке, внимательно читал «Жизнь». «Недурной журнал! — пишет

он в апреле 1899 года.— Беллетристика прямо хороша и даже лучше всех!». Надо отдать должное литературному вкусу Поссе. Не только в «Жизни», но и в других предпринимавшихся им изданиях он низкопробной литературы не печатал. Не оставляла сомнений и его передовая общественная позиция. В общем, совсем не случайно Поссе оказался в числе прогрессивных людей России и вошел в ее революционные круги. Оказавшись в эмиграции, он общается с Лениным, Плехановым, Бонч-Бруевичем, Пятницким. Во время первой российской революции сближается с социал-демократами, сам пишет несколько теоретических трудов революционного характера, хотя и не отличающихся глубиной марксистского мировоззрения. Это помешало ему и четко определить свое отношение к эсеровской партии, и полностью принять программу социал-демократов. А вот в истинном лице Гапона он прекрасно разобрался, оказавшись его спутником в поездке в Россию...

Перед отъездом, по настоянию Гапона, Поссе встретился с ним в Женеве. Уже самое первое его впечатление о Гапоне было неблагоприятно: «Маленький, сухой, тонконогий, черный, с синеватым отливом на бритом лице, с большим носом, сдвинутым влево, Гапон смотрит своими черными глазами вниз и в сторону, как бы стараясь скрыть от вашего взора то, что творится в его душе, и в то же время зорко посматривает за вами. В России с длинными волосами, с окладистой бородой, в широкой и длинной рясе он производил, конечно, совершенно иное впечатление, чем здесь, за границей,— стриженый и бритый, одетый по-велосипедному.

Встретил он меня преувеличенно радостно и, крепко пожав руку, тотчас заявил, что моя книга «Теория и практика пролетарского социализма» всецело выражает то, что всегда думал он, Гапон, и что думает и к чему стремится весь трудовой русский народ.

Свою гражданскую жену, увлеченную им шестнадца-

тилетнюю воспитанницу приюта, где он состоял священником, Гапон представил мне небрежно.

Это была бледная, болезненная, видимо, очень робкая женщина, любовно следившая за своим властелином, готовая исполнить все его приказы — впрочем, пустячные: сходи за пивом, принеси папирос и т. п. (Не ей ли в альбом Гапон в свое время написал тот пошлый стишок? — *В. А.*)

Началась беседа. Я говорил о своих разногласиях с партийными социал-демократами. Гапон во всем со мною соглашался...

Вероятно, он соглашался также и с теми, кто находил мои взгляды утопическими или попросту вздорными.

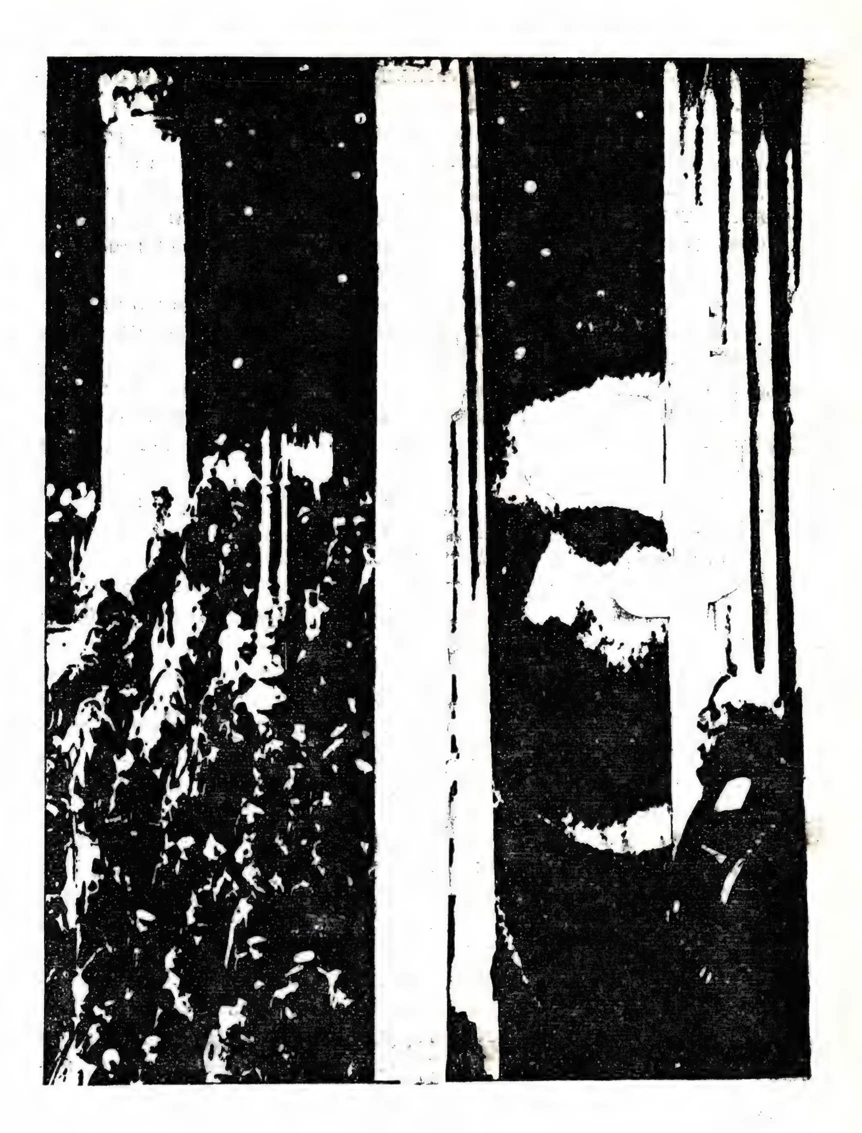
Всякие программные и даже тактические разногласия казались ему несущественными, ненужными. Зачем объединяться на программе и тактике, на теории и практике, когда можно объединиться на нем, на Гапоне, на самой судьбой избранном вожде рабочего народа?

Зная о моей былой дружбе с Горьким, Гапон как нечто особенно важное показал мне письмо, полученное им от Горького незадолго до моего приезда».

Теперь это письмо Горького Гапону, написанное в августе 1905 года, широко известно. В нем он, признавая заслуги Гапона, упрекал его в стремлении изолировать рабочих от социал-демократов и писал: «До сей поры организацией рабочего класса в нашей стране занималась социал-демократическая интеллигенция, только она бескорыстно несла в рабочую среду свои знания, только она развивала истинно пролетарское миропонимание в трудящихся массах, только она социалистична, а вы знаете, что освобождение рабочего достижимо лишь в социализме, только социализм обновит жизнь мира...»

Но Гапон оставался самим собой и ничего этого не мог и не хотел понять. Поссе вспоминает дальше:

«Гапон, польщенный похвалами Горького, пояснял письмо в том смысле, что от его, Гапона, отношения, по-



ложительного или отрицательного, зависит судьба социал-демократической партии.

— Они за мной,— говорил Гапон,— ухаживают, они всеми силами тянут меня к себе, но я не поддаюсь. Я им нужен, а мне они не нужны. За мной шли на смерть десятки тысяч петербургских рабочих, пойдет и весь русский народ, а кто пойдет за ними? Они умеют грызться между собою из-за пустяков, но для единых решительных действий у них не хватает пороху...

Гапон таинственно и важно заявил, что пора действовать, ибо победоносная революция настойчиво стучится в дверь.

Из Англии идут корабли с оружием для русских рабочих. Придет оружие, придет Гапон, и восстание разольется по всей стране.

— Но меня одного мало,— скромно замечал Гапон,— нужны помощники, нужны смелые товарищи. Кто же готов немедленно ехать в Россию и бороться за свободу народа?..

Приглашение Гапона давало мне возможность не только проехать в Россию, но и проникнуть в те рабочие слои, которые еще не были затронуты партийной пропагандой. С другой стороны, Гапон не внушал мне большого доверия, рассказы его о десятках и даже сотнях тысяч преданных ему рабочих, о кораблях, идущих в Россию с оружием для петербургского пролетариата, казались мне фантастическими.

Старался я заставить Гапона более подробно выяснить цель поездки, но Гапон ловко увертывался, и я получал лишь общие фразы о готовности умереть вместе с братьями, спаянными кровью, о необходимости сблизить крестьянина с рабочим и т. д.

Не удалось мне выяснить, входит ли в план Гапона организация политических убийств. Как раз в тот момент, когда я поставил вопрос о терроре, что называется, в упор и Гапон, убегая в сторону своими темными глазами, за-

думался, как ловчее мне ответить, дверь в комнату отворилась, и на пороге появилась высокая, красивая девушка.

Очень красивые люди заставляют почувствовать свою красоту прежде, чем успеешь ее рассмотреть и осознать.

Так и при появлении этой девушки я, да, вероятно, не я один, почувствовал, что она красива, не успев ее рассмотреть.

Все встрепенулись, все как будто стали на момент красивее и, может быть, лучше. Гапон же весь просиял и бросился ей навстречу.

Стройная блондинка с льняными волосами, с серьезными серыми глазами, с тонкими нервными губами, она казалась недосягаемой для этого маленького вертлявого человека, напоминающего жокея или в лучшем случае актера, но никак не священника и народного трибуна.

И однако она пришла только к нему и только для него.

Гапон самодовольно улыбнулся, крепко пожимая ее руку, а его болезненная жена, убиравшая со стола пивные бутылки, смутилась и как будто еще более осунулась.

Вошедшая девушка (ее звали Лариса Петровна.— *В. А.*) ни с кем из нас не поздоровалась, перекинулась с Гапоном несколькими фразами делового и, по-видимому, конспиративного характера, мало понятными для непосвященных, и исчезла.

Не дожидаясь расспросов, Гапон стал с жаром рассказывать, что приходившая к нему девушка — необычайный человек и очень ценный товарищ. Происходит она из очень богатой аристократической семьи, имеет связи в высшем петербургском обществе, получила прекрасное образование, изучала химию в Оксфордском университете, говорит почти на всех европейских языках. Революционеркой ее сделало 9 января, а до того времени она была монархисткой. Теперь она решила отдать свою жизнь на борьбу за освобождение трудового народа и будет работать вместе с нами.

...В конце концов решено было, что мы с Гапоном поедем в Стокгольм, чтобы оттуда, при содействии финляндских революционеров, пробраться в Россию, прежде всего в Петербург, для пропаганды среди рабочих всеобщей революционной забастовки».

Здесь конец первой цитаты из воспоминаний В. А. Поссе.

Вскоре после этой встречи он вместе с Гапоном отправился в Скандинавию, чтобы затем через Финляндию перебраться в Петербург, принять там пароход с оружием и развернуть среди рабочих подготовку вооруженного восстания. Таковы были планы Гапона, и он уверял, что весь рабочий Петербург с нетерпением ждет его возвращения, чтобы немедля дать решающий бой самодержавию...

Но все это оказалось прожектерским враньем Гапона, который в этой поездке открылся Поссе во всей своей нравственной неприглядности и как мелкий политический авантюрист, изо всех сил изображавший из себя пророка и вождя русской революции. В поездке вместе с ним оказалась и та красивая девушка, о которой Гапон уже рассказал, что она из богатой аристократической семьи, но, поверив в него — героя революции, бросила все и стала его боевой помощницей. На самом деле она стала его любовницей и в этом истинном звании и ехала в Россию помогать ему делать революцию. Все это выглядело попросту отвратительно. Но и Лариса Петровна начинала понимать, что совершает трагическую ошибку. И как только Гапон заметил, что она, видя его пустое хвастовство и бездеятельность, стала в нем разочаровываться, он вдруг объявил ей, что будто бы заново осмыслил революционную силу террора и пришел к решению, что революционным выступлениям должен предшествовать, как пролог, террористический акт против крупного царского сановника — председателя Совета министров Витте, и стал готовить ее к совершению этого покушения. Возмущенный Поссе сказал тогда: «Подумайте, совершая покушение на

Витте, Лариса Петровна должна почти наверное погибнуть».

— Ну что ж, и погибнет,— ответил Гапон.— Все мы погибнем.

— Но ведь вы ее любите?

— Революция выше личных чувств! — воскликнул этот пошляк и циник.

Затем постепенно Лариса Петровна отошла от Гапона, и это было для нее тяжелой драмой, ибо она все же верила в его величие.

А Гапону просто стало не до нее. Началась эта история с пароходом «Джон Крафтон», который вошел в Финский залив и сел на мель. Это само собой разрешило возникшую перед тем странную ситуацию, когда выяснилось, что пароход в России никто встречать не собирался и даже неизвестно, кто должен рассчитаться с капитаном.

Но куда девались петербургские рабочие, которые, по словам Гапона, с нетерпением ждали его, чтобы немедленно выступить? Он утверждал еще, что его ждет и Максим Горький, будто бы обещавший ему на дело революции большие деньги. Из Куоккалы, где они в это время жили, Лариса Петровна выезжала в Петербург, чтобы известить рабочих и Максима Горького, где находится Гапон. Но ни Горький, ни рабочие не появлялись, несмотря на то что Лариса Петровна возила им официальное приглашение для участия в неком организационном съезде.

Наконец рабочие приехали, но это были совсем не представители всех одиннадцати гапоновских объединений, а всего четыре человека: робкий, затюканный, боящийся собственной тени Кузин (впоследствии выяснится, что он агент полиции), Петров, Карелин и Варнашев. Плюс Поссе и его друг Михаил — вот и все, кого Гапон назвал организационным съездом.

«Но вождь не унывал,— вспоминает Поссе.— Съезд был открыт честь честью. Председателем по предложению Гапона выбрали меня, секретарем Ларису Петровну».

Первое слово взял Гапон, чтобы дать отчет о своей революционной деятельности после 9 января.

— Товарищи и братья, спаянные кровью! — начал он.— Уже более полугода я был оторван от вас. Не для своей безопасности, а для блага трудового народа на время уехал я за границу, чтобы вернуться к вам для мщения царю-извергу и его опричникам, для завоевания свободы рабочему народу... Вы помните наше «Красное воскресенье». Стройными рядами, с пением молитв, с хоругвями, а главное — с верою в царскую правду шли мы, чтобы сказать царю о нуждах своих и указать пути к исцелению их. Смерть или свобода! Таков был наш клич. Нас встретила смерть. Треск ружейный заглушил нашу последнюю молитву — о царе, пули одурманенных солдат изрешетили священные хоругви. Но мы не дрогнули, мы бодро шли на верную смерть. Я шел впереди и держал за руку друга и товарища, Васильева, он пал, насмерть сраженный пулей. Вокруг меня свистели пули, но каким-то чудом я оставался невредим. Повсюду лежали убитые и раненые. Мы, немногие оставшиеся невредимыми, хотя шли в первых рядах, поняли, что без оружия пробиться к царю невозможно. Меня почти силой увели с места побоища. Мы ушли, но поклялись, что пойдем снова, и пойдем не с хоругвями, а с оружием — и не просить, а свергать. Во дворе, куда меня увели друзья, я сбросил рясу и надел платье одного из товарищей-рабочих. Стали обстригать мои длинные волосы, и братья, кровью спаянные, прятали пряди их у себя на груди. Свершилось великое дело. Освободился народ от бессмысленной веры в царя. Просить он больше не будет. Свободу, товарищи, надо завоевывать! Для этого нужна сила, нужна сплоченность, нужно оружие. Своей задачей я поставил сплотить враждующие между собой социалистические партии, привлечь на сторону русской революции рабочих Западной Европы и, наконец, добыть необходимые средства и оружие. Для всего этого необходимо было уехать за границу, но

не эмигрантом я ехал, а послом русской революции. Многое удалось сделать, но во многом пришлось резочароваться. Разочаровался я, товарищи, в партийных революционерах, во всех этих эсдеках и эсерах. Нет у них заботы о трудовом народе, а есть у них дележка революционного пирога. Есть, друзья мои, не только казенный, но и революционный пирог. Из-за него они и дерутся, и все жиды: во всех заграничных комитетах всем делом ворочают жиды, и у эсдеков, и у эсеров. Даже во главе боевой организации эсеров стоит жид, и еще какой жирный. Жиды...

В этот момент блуждающий взгляд Гапона упал на друга Поссе еврея Михаила. На прекрасном лице Михаила играла злая усмешка. Он как будто был чем-то доволен, как доволен ребенок, разгадавший трудную загадку.

Гапон остановился, криво усмехнулся и продолжал уже другим тоном:

— Жиды, товарищи, это не евреи. Евреев я уважаю и люблю, вот хотя бы взять товарища Михаила. Таких, как он, настоящих, стойких пролетариев, немного найдется и между православными...

— Довольно вилять, святой отец,— прервал его Михаил,— продолжайте в старом духе.

Продолжать в старом духе Гапону было уже трудно. Он бросил еще несколько громких фраз и затем очень неловко, с явной подделкой под искреннее горячее чувство, обратился к присутствующим с призывом:

— Теперь, братья и товарищи, поклянемся, что будем до смерти поддерживать друг друга. Никогда не изменим рабочему народу. Свою жизнь я уже отдал вам, отдал всему рабочему народу. Отдайте и вы свои жизни, поклянитесь, товарищи, поклянитесь кровью русского народа, пролитою в «Красное воскресенье», что вы пойдете за мною бесстрашно вперед на смерть за свободу!

Он кончил.

Наступило молчание, долгое, неловкое. Нарушил его Карелин. Слегка откашлявшись, он заговорил самым обыденным тоном:

— Что же, Георгий Аполлонович, я да, вероятно, и все другие, все присутствующие (не всех я знаю) давно уже, еще до знакомства с вами, работали на пользу трудового народа. Работали до вас, работали с вами. Придется работать с вами — хорошо, не придется — поработаем без вас.

Варнашев солидно поддакивал Карелину. Кузин егозил, но ничего не говорил. Михаил гакнул: не то поперхнулся, не то засмеялся.

Гапон, мрачный, блуждающим взглядом исподлобья окидывал собравшихся. Он как будто только теперь заметил, что их так мало, и люди все свои. Они сидели вокруг стола, а он нервно ходил по комнате.

Овладев собою, подошел к столу и деловым тоном заявил:

— Хорошо, товарищи, значит, работаем вместе. Теперь надо возобновить те полномочия, которые мне уже дали петербургские рабочие для переговоров с английскими тред-юнионами и другими рабочими и революционными организациями. Без этого нельзя получить денег, а деньги нужны большие.

— Вряд ли наше собрание может давать такие полномочия,— заметил Поссе,— так как мы сами не знаем, кого представляем.

Все же полномочия решено было дать, и Поссе попросили проредактировать текст соответствующего удостоверения.

Когда Владимир Александрович писал, что такой-то является уполномоченным, Гапон, стоявший за его спиной, шепнул ему на ухо: «Прибавьте — и вождем русского рабочего народа».

— Зачем же называть вас вождем русского народа? — спросил Поссе громко.

— Зачем? — произнес Гапон с досадой.— Чтобы сильнее воздействовать. Не о себе я хлопочу.

И когда Гапона уполномочили также быть и вождем русского народа, он, несколько успокоенный, предложил набросать план действий. Заговорил о подготовке вооруженного восстания, для успеха которого необходимо ослабить правительство, а потому нельзя отказываться от террористических актов.

— Думаю, что хорошо бы в первую очередь убрать Витте, это самый способный из министров самодержавия, его столп, мы этот столп срубим. Что скажете, товарищи?

Наступило молчание.

Потом откашлялся Карелин и скромно выразил сомнение в том, что убийство Витте будет одобрено рабочей массой. Худого рабочие от него не видят, иные даже надеются, что он подействует на царя в смысле расширения народных прав и, пожалуй, выхлопочет настоящий парламент.

Поссе, принципиальный противник террора, резко возразил против постановки вопроса о политическом убийстве на этом случайном совещании, участники которого хорошенько не знают убеждений друг друга.

— Да я, товарищи, и не предлагаю,— заявил Гапон,— чтобы здесь присутствующие принимали на себя ответственность за убийство Витте. Есть для этого другие люди. Никто против желания не будет втянут в это дело. Мне только ваше мнение важно знать.

Карелин, а затем и Варнашев снова заступились за Витте.

— Трепов, вот это другое дело,— сказал Карелин.— Его смерть рабочие встретили бы с радостью. Трепов сжал нас в железный кулак. Дохнуть свободно нельзя. Пока он диктаторствует, ни о какой организации думать нельзя. Опасно пяти человекам вместе собраться.

Гапон вышел в соседнюю комнату, нервно походил там несколько минут и, вернувшись, заявил:

— Что же, друзья, я привык прислушиваться к голосу рабочих. Трепова, так Трепова. Оставим в покое Витте, убьем Трепова. Согласны?

Петров и Михаил заявили, что убить Трепова — дело, конечно, благое, раз найдутся для этого охотники.

Кузин заелозил и пробормотал, что Георгию Аполлоновичу виднее, нужно ли убивать и кого именно.

Лариса Петровна промолчала, промолчал и Поссе. Карелин и Варнашев высказались уклончиво, но явно несочувственно: не дело для рабочих — заниматься убийствами, на это есть боевая организация. Затем, взглянув на часы, они заинтересовались, когда уходит вечерний поезд на Петербург: как бы на него не опоздать.

— Как, вы уже уезжаете? — изумился Поссе.— Но мы ждали, что вы расскажете нам о настроении рабочих, о подготовке к новому выступлению...

— Что ж, настроение известное. Кто теперь доволен? А выступление — дело стихийное. Может будет, может нет.

Карелин и Варнашев уехали. Совещание расстроилось. Поссе отправился к финляндцам и попросил устроить на ночлег его, Петрова, Кузина и Михаила в той же квартире, где проходило совещание, а Гапона увести куда-нибудь в другое место. У Ларисы Петровны было свое постоянное пристанище, и она тоже ушла.

Но на этом дело не кончилось. «Мы остались вчетвером, и у нас началось свое совещание,— вспоминал Поссе.— Без утайки рассказал я все свои наблюдения за Гапоном и выразил убеждение, что не только не нужно способствовать возрождению его влияния на рабочих, но, напротив, необходимо принять меры к разоблачению его истинной сущности, а сущность эта — властолюбие, не брезгающее никакими средствами для достижения своих целей.

Михаил на этот раз со мной не спорил. Гапон был для него уже негодяем, с которым следует «разделаться».

Петров и Кузин слушали меня со вниманием и, как мне показалось, с чувством какого-то облегчения. Я сказал, быть может, то, что смутно бродило в их душах.

— Правильно вы его поняли, правильно,— оживленно заговорил Петров.— Гнетет он нас и за собой в пучину тянет. Жизнь я потерял с тех пор, как связался с ним. У меня жена, ребенок, а я околачиваюсь без дела; платит он мне по двадцать пять рублей, да не в радость его деньги, будь они прокляты. Душу захватил, впился в нее своими когтями. Вот вы рассказывали, что он Ларису Петровну подуськивает Витте убить и саму на смерть обрек. А со мной еще хуже. Взял он с меня клятву, что я за лучшим своим другом Григорьевым, как сыщик, следить буду и прикончу его, если он против Гапона пойдет.

— Хорошо бы освободиться от Георгия Аполлоновича,— шепотом заговорил Кузин,— да ведь они этого не простят, ни за что не простят.

— Что же, убьют, что ли? — спросил я.

— Нет, убить они не убьют, они отравят.

Но и Кузин согласился со мной, что необходимо заставить Гапона открыть свои карты, подвергнув его перекрестному допросу относительно связей его с социалистическими партиями, источников получаемых им средств и т. п.

Решено было, что завтра утром первый выпад против Гапона сделает Петров, откровенно высказав все, что наболело у него на душе. А мы его поддержим. Все дали слово держаться твердо.

Когда я провожал Кузина в отведенную для него комнату и мы проходили по темному коридору, он вдруг испуганно прижался ко мне.

— Он!.. Смотрите, вон стоит...

— Кто стоит?

— Да он! Георгий Аполлонович!

— Вздор, это вам кажется, Гапон давно уехал.

Я включил электричество. Никого, разумеется, не было. Бледный Кузин дрожал своим маленьким телом. Он попросил меня быть немного с ним, так как ему одному страшно. Он лег в постель, а я сел около него.

— Лучше бы,— заговорил Кузин,— не ссориться нам с Георгием Аполлоновичем. Как бы чего не вышло...

— Ну вот... клялись, что не отступим, и тотчас на попятную.

— Эх, беда наша! Бывало и раньше — лежишь и думаешь: сгубит он нас. Вредный человек. Водит, водит за нос, да и подведет под обух. Беспременно надо отойти от него. Решишь это крепко-накрепко, а наутро повстречаешься с ним — похлопает по плечу, и нет у тебя более своей воли, не смеешь слова наперекор сказать. И опять затанцуешь под его дудочку.

В конце концов Кузин успокоился и подтвердил мне свое обещание не отступать от принятого сообща решения».

Утром все встретились в нервном настроении, но, видимо, никто не отказался от вчерашнего решения.

Приехал Гапон и, войдя в комнату, сразу почуял что-то неладное.

— Ну как, товарищи, хорошо ли отдохнули? — спросил он с кривой улыбкой.

Никто не ответил. Гапон прошелся по комнате, бросая косые взгляды то на того, то на другого. Томительное молчание продолжалось.

Вдруг Гапон круто повернулся к Поссе, хлопнул его по плечу и проговорил искусственно-веселым тоном:

— Славный вы малый, Владимир Александрович, люблю я вас.

Тогда встал со своего места Петров и, грубо пихнув Гапона, сурово сказал:

— Перестань лицемерить. Никого ты не любишь!

— Что с тобой, Петров? Какая муха тебя укусила, или финской водки спозаранку хватил?

— Никакая муха меня не кусала, и ничего я не хватал.

«Ну, начинается»,— подумал Поссе.

Но Петров молчал, молчали и другие.

Кузин семенил на месте, порываясь подойти к Гапону. Тот же нервно ходил из угла в угол и старался улыбнуться, но вместо улыбки выходила злая гримаса. В этот момент гостеприимная хозяйка приотворила дверь и приветливо пригласила в столовую позавтракать.

Все облегченно вздохнули и шумно поднялись со своих мест.

Завтракали, перекидываясь ничего не значащими фразами. После завтрака Гапон, овладев собой, как ни в чем не бывало стал излагать план революционного издательства, и в частности рабочей газеты, редактировать которую предлагал Поссе.

— Ехать сейчас в Петербург, пожалуй, и рискованно,— говорил он,— надо ознакомить рабочих с нашими взглядами. Вернемся с вами, Владимир Александрович, в Женеву, наладим газету, напечатаем листовок, двинем все это в Россию, зерна падут на благоприятную почву. Много передумал я за это время и согласен с вами, что рабочий может победить только всеобщей забастовкой. Денег у нас будет много. Печатать будем сотни тысяч...

— Нет, Георгий Аполлонович,— покачал головой Поссе,— никуда я с вами не поеду и ничего издавать не буду. И не говорите мне о ваших деньгах. Мне и то страшно, что я пользовался ими в эту поездку. Жгут руки почему-то ваши деньги. Не знаешь, откуда они идут. Вы постоянно говорите о своем сочувствии моим взглядам, но не верю я этому, не верю вам вообще. Противны ваши подзуживания убить то Витте, то Трепова, противна комедия с транспортом оружия, которого некому принимать, противно выставление себя вождем русского народа, все противно. Долго я крепился, молчал, на что-то надеялся, но больше не могу. То же вам скажут и другие товарищи.

Гапон позеленел, но не прерывал его, даже вполголоса как бы поддакивал:

— Вот как? Так, так, хорошо. Вот вы каков! Теперь я понял вас. Вот вы каков! Так, так.

Высказавшись, Поссе обратился к Петрову, Кузину и Михаилу, прося у них поддержки. Однако его ждала неожиданность:

«К моему изумлению, у Михаила и Петрова лица были недовольные, натянутые, а Кузин весь съежился. Все молчали.

— Так вам нечего сказать?

Молчание.

Я встал и вышел в другую комнату, сильно взволнованный.

Через несколько минут туда вошла Лариса Петровна, на глазах которой произошло мое столкновение с Гапоном.

Я сидел у стола, положив голову на согнутую руку. При ее входе я не пошевелился. Она подошла близко ко мне и несколько минут молча смотрела на меня, смотрела печально, но без злобы, почти ласково. Затем она заговорила каким-то новым для нее голосом,— мягким, нежным.

— Милый, хороший Владимир Александрович. Помиритесь с ним. Умоляю вас, помиритесь. Сделайте это во имя революции. Он нужен революции. Вы его неверно понимаете. Он нужен, нужен...

Я молчал.

— Хороший мой, я вас ценю, уважаю, я вас люблю. Сделайте это для меня. Поезжайте с ним в Женеву, не хотите в Женеву — поезжайте в Россию. Если вы отвернетесь, он погибнет. Это хорошо, хорошо, что вы высказали все, что было у вас на душе. И ему хорошо, что он все это выслушал. Вы без него и он без вас — ничто. Вместе вы — сила.

— Нет, Лариса Петровна, не уговаривайте меня. Я не



ссорился. Но работать вместе с Георгием Аполлоновичем я не могу.

Я хотел встать и уйти.

— Умоляю вас. Видите, я унижаюсь перед вами.

Она склонилась и, положив голову мне на колени, беззвучно плакала, подергиваясь плечами.

В тайниках моей души мелькнула злая мысль — мысль, как я думаю теперь, неверная: она притворяется, она ловит меня, она подослана Гапоном как средство, оправдываемое целью.

И как будто эта мысль передалась ей. Она медленно поднялась и, не взглянув на меня, вышла из комнаты.

Я тоже вышел. В одной из соседних комнат я увидел Михаила и Петрова, оживленно разговаривающих. Кузин егозил около них.

Михаил набросился на меня.

— Разве можно так? Вы нас всех погубите. Мы в его руках. Он донесет, и нас арестуют.

— Но мы же уговорились все ему сказать.

— Совсем не так мы уговорились. Вы вечно увлекаетесь, для вас дело в эффекте.

— Да, вы не правы, товарищ,— напал на меня и Петров.— Куда мы теперь без него денемся? Денег ни у кого из нас нет даже на дорогу. Я нелегальный. Семья жила только его пособием. Надо было дать ему высказаться, а вы все вывалили, он же отмалчивался и прав оказался.

— Они этого не оставят,— уныло бормотал Кузин,— они беспременно отомстят.

— Что же теперь делать? — спросил я, совершенно ошарашенный.

— Примириться, а затем пригласить его покататься на лодке и вышвырнуть за борт,— решил Михаил.

Но это предложение не встретило сочувствия. Согласились на том, что я «замажу» свое выступление, дам возможность «спокойно» уехать Михаилу, Петрову и Кузи-

ну, переправлю при помощи финляндцев Гапона обратно за границу, а сам поеду в Петербург, чтобы откровенно рассказать о всем происшедшем Карелину, Варнашеву и другим верным людям.

Скверно было у меня на душе, когда я пошел к Гапону, сидевшему в столовой вместе с Ларисой Петровной.

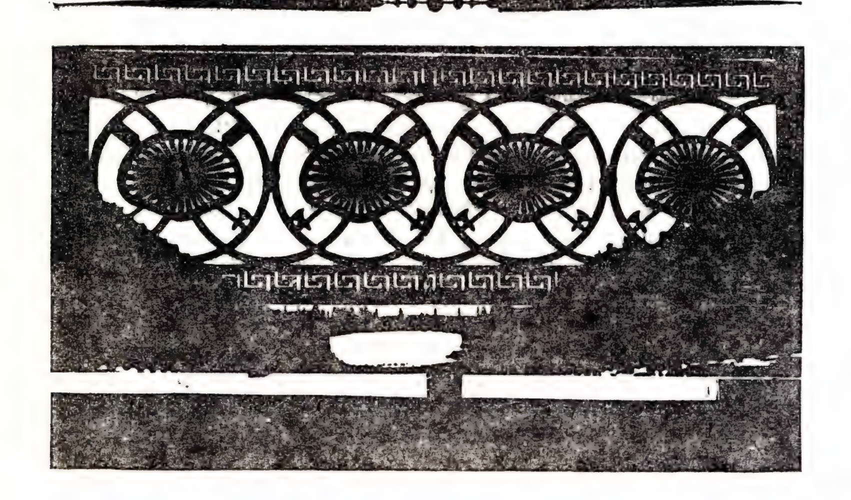
— Георгий Аполлонович,— начал я деревянным голосом,— товарищи указали мне, что я в горячности наговорил вам много лишнего. Они думают, что недоразумения рассеются, когда мы начнем работать, и я готов попытаться. Поедемте за границу, а там видно будет.

— Вот и хорошо,— сказал Гапон безучастным голосом, протягивая мне руку. Видимо, он не совсем доверял моему обещанию работать вместе.

Перетолковав с финляндцами, мы решили, что Михаил, Кузин и Петров немедленно уедут в Петербург, я поеду в Або и при посредстве госпожи Реймс устрою безопасный переезд в Швецию для себя и для Гапона, который в Гельсингфорсе будет ожидать моей телеграммы...»

Больше Поссе Гапона не видел, но он действительно уехал за границу.

VI



В ноябре 1905 года, вскоре после обнародования царского манифеста и амнистии, Рутенберг встретился с Гапоном в Петербурге. В это же время там находился и Владимир Ильич Ленин. Он жил на конспиративных квартирах, выступал перед студентами, встречался с боевыми товарищами по партии, вместе с ними посетил могилы жертв «Кровавого воскресенья» и, глядя на них, сказал задумчиво: «Эта кровь обязывает». Ленин пристально вглядывался в суровое лицо рабочего Петербурга, не обманываясь поспешными надеждами по поводу манифеста.

Сразу после объявления манифеста английская газета «Таймс» вынесла на первую страницу заголовок: «Самодержавие перестало существовать». Ленин же по поводу манифеста писал, что «уступка царя есть действительно

величайшая победа революции, но эта победа далеко еще не решает судьбы всего дела свободы... Самодержавие вовсе еще не перестало существовать. Оно только отступило... собирает еще свои силы, и революционному народу остается решить много серьезнейших боевых задач, чтобы довести революцию до действительной и полной победы».

Итак, 17 октября был обнародован манифест Николая II, даровавший народу пять свобод (совести, печати, слова, собраний и союзов). Ликование, однако, длилось недолго, ибо манифест оказался филькиной грамотой. Дарованные свободы были тут же отняты.

Вечером того самого дня, когда царь подписал манифест, войска оцепили здание петербургского Технологического института, где происходил митинг, и обстреляли его. Когда стрельба прекратилась, к зданию приблизилась мирная демонстрация с красными флагами. Войска разогнали ее. Сюда подоспел гвардейский эскадрон под командованием корнета Фролова. Фролов обнажил шашку и бросился на демонстрантов, его шашкой были поранены многие студенты и рабочие. Вот вам и свобода собраний!

В сатирическом журнале «Волшебный фонарь» (№ 1 за 1906 год) появилось стихотворение без подписи «Пять и одна»:

Пять свобод нам обещали,
И хоть мы их не видали,
Но подумай, о народ,
Целых пять ведь их — свобод.
А народ затылок чешет,
Молвя: пять меня не тешат,
Лучше б дали мне, народу,
Просто-напросто свободу.

Журнал «Стрелы» (ноябрь 1905 года) напечатал стихотворение «Мы свободны»:

Мы свободны! Жизнь прекрасна.
Братства, равенства поборник
Путь свершает безопасно,—

Если дремлет старший дворник.
Мы свободны! Силу, крылья
Нам дала свобода слова...
Не боимся мы насилья —
Если нет городового.
Мы свободны. Прочь, невзгода,
Дождались зари желанной...
На Руси царит свобода —
Под усиленной охраной.
Мы свободны! Мощь народа,
Разум, сердце — все в движеньи
На Руси царит свобода —
На военном положеньи.
Мы свободны. Мы, как дети,
С теплой верой вдаль взглянули.
А вокруг — казаки, плети,
Льется кровь и вьются пули.

Между прочим, появились сатирические стихи и о Гапоне. В журнале «Бурелом» № 2 (март 1906 года) читаем стихотворение «Гапон», подписанное буквой «Ы» (М. Пустынин):

Я встретил в рясе раз его,
Вперед толпы он смело лез,
Но сам не сделал ничего,
Как жалкий трус, от всех исчез.
Теперь явился он опять
И просит общего суда,
Ужели вновь войдет он вспять,
Чтоб не вернуться никогда?

А в журнале «Булат» (№ 1 за 1906 год) напечатано стихотворение Ил. Василевского (Не буква) «Суд над Гапоном»:

I

Я роль громадную сыграл?
Сыграл!
Под пули грудь я подставлял?
Подставлял!
Меня героем мир назвал?
Назвал!
На бой с насилием я звал?

ВЫСОЧАЙШІЙ МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,

МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ,

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ ПОЛЬСКІЙ, ВЕЛИКІЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКІЙ,

и прочая, и прочая, и прочая

Смуты и волненія въ столицахъ и во многихъ мѣстностяхъ [illegible] Нашего Россійскаго Государя [illegible] Его печаль. [illegible] Державы Нашей.

Великій обѣтъ Царскаго служенія повелѣваетъ Намъ [illegible] для Государства смуты. [illegible]

На обязанность Правительства [illegible] Мы возлагаемъ [illegible]

1. Даровать населенію [illegible] гражданской свободы [illegible] личности, свободы совѣсти, слова, [illegible] и союзовъ.

2. [illegible] въ Государственную Думу, [illegible]

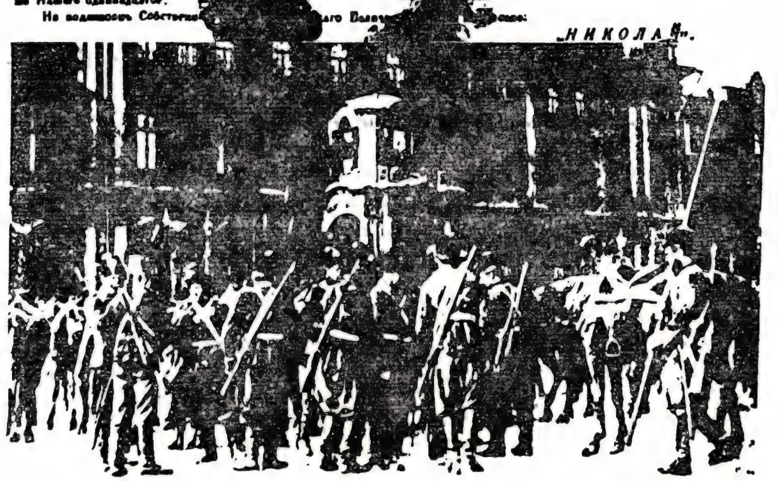
3. Установить, какъ [illegible] Государственной Думы [illegible]

Призываемъ всѣхъ вѣрныхъ [illegible] Родинѣ, [illegible] и мира на родной землѣ.

Данъ въ Петергофѣ, въ [illegible] тысяча девятьсотъ пятое. Царствованія же Нашего одиннадцатое.

На подлинномъ Собственною [illegible] Величества [illegible]:

„НИКОЛАЙ“.



Звал!
Своею жизнью рисковал?
Рисковал!

II

Ты Витте тайно посещал?
Посещал.
И у него ты денег взял?
Взял.
В охранке по «делам» бывал?
Бывал.
И с митингов в сыскное забегал?
Забегал.
Ты у рабочих деньги крал?
Крал.
Ты, значит, братьев предавал?
От них скрывая правду, врал?
Врал.
Себя навек ты запятнал?
Запятнал.

Следующие номера журналов, где появились эти стихи, в большинстве случаев уже не выходили. Журналы были прикрыты цензурой...

Меж тем Гапон после триумфального пребывания в Европе вернулся в Россию — продолжать и завершать революцию. Он обещал это всей Европе, и там нашлось немало слепцов, поверивших ему, хотя нельзя было придумать большего абсурда, как посчитать Гапона способным на это. Еще его путь в Россию сопровождался чудовищной ложью. Чего стоила одна темная история с пароходом, везшим оружие для революции, которого никто, кроме полиции, не увидел! А его политическая клоунада перед питерскими рабочими, своими недавними единомышленниками, которые, еще веря ему, выехали навстречу, чтобы выслушать его речь без единого слова правды, и, убедившись в этом, предпочли не связываться с ним и вернулись в Петербург...

Эта встреча Гапона с Рутенбергом произошла вроде бы случайно. Из газет Рутенберг узнал об открытии Петербургского Совета рабочих депутатов и что он введен в Совет от эсеровской партии. Решил пойти на заседание Совета, которое происходило в здании Вольно-экономического общества. И там встретил Гапона. Они уединились в комнатке за кулисами и обсуждали, что можно делать в создавшейся после обнародования манифеста обстановке, которая была им не очень-то ясна. Оптимисты бормотали о наступлении эпохи либерализации русского общества, но государственная власть не намерена была допустить покушение на самодержавие и его священные принципы. И охранка не дремала. Из тех, по кому уже прошелся железный кулак нового диктатора столицы генерала Трепова (назначен петербургским генерал-губернатором 11 января 1905 года), одни продолжали сидеть в тюрьме, других выпустили, но держали под контролем полиции. На улицах города, при явном покровительстве полиции, бесчинствовали шайки черносотенцев, которые жестоко расправлялись с «врагами монархии», выбирая жертвы по своему усмотрению. Но вот же открыто шло заседание Совета, и в комнатку, где они уединились и беседовали, доносились голоса ораторов и аплодисменты... (Увы, очень скоро этот Совет будет разогнан!)

— Я вернулся в Россию, чтобы действовать,— говорил Гапон.— Посещаю отделения своего общества. Рабочие там бывают, но разговаривать с ними пока боюсь. Я бы просил тебя, Мартын, выяснить, касается ли амнистия лично меня, и походатайствовать об этом.

Рутенберг смотрел на него удивленно:

— С твоим-то прошлым клянчить амнистию? Не солидно, не хорошо. Тебе можно и надо заручиться защитой самой революции. Иди сейчас в зал, публично назовись и попроси защиты от полиции. Я уверен: ты эту защиту получишь, и тогда никто пальцем тебя не тронет.

— А если тронут?

Рутенберг так и взвился:

— Ты помнишь свои слова накануне Девятого? Когда я предостерег, что могут убить и тебя, ты ответил: «Зато если я останусь в живых, меня вознесут до небес». Ну что, вознесли? — Он не мог подавить злости.

Гапон съежился и стал вздрагивать всем телом, его влажные глаза налились тоской. Неужто он собирался заплакать? И тогда Рутенберг сказал уже спокойно и назидательно:

— Никогда, Георгий Аполлонович, нельзя спекулировать на жизни и смерти, это опасно и даже преступно. Как же можно думать о собственном вознесении, забыв о могилах тех, кто шел вместе с вами?

Гапон молчал, низко опустив голову. Шевельнул плечами:

— Ну я же теперь вернулся к ним и буду с ними до конца.

— До какого конца? — быстро спросил Рутенберг.

— До любого! А прежде всего я восстановлю свое общество... Лучше посоветуй мне, как поумнее и поосторожнее вести работу в отделениях общества?

— Главное — реально оценивай свои возможности. Прислушайся к настроению рабочих. А осторожность прояви в одном: для доказательства своей благонадежности не затевай политической драки с социалистическими партиями, они сильнее тебя во всех отношениях. Но и не давай ни одной их этих партий занимать в твоих отделениях главенствующего положения. Всюду тверди, что твои отделения — это внепартийные рабочие организации вроде профессиональных и кооперативных союзов, задача которых — вести серьезную и спокойную экономическую борьбу.

— Вот этот твой совет я принимаю,— Гапон благодарно пожал Рутенбергу руку.— И разреши мне, когда надо, обращаться к тебе за помощью?

— Если сумею, конечно, помогу.

Гапон еще раз пожал ему руку и даже обнял его. Где они могут встречаться, Гапон не спросил, а Рутенберг не сказал.

Видя, что Гапон в расстроенных чувствах, Рутенберг решил его подбодрить — сообщил ему, что в канцелярии прокурора Судебной палаты сказали, что на Гапона амнистия распространяется полностью. Но тот выслушал это известие равнодушно. Вскоре и Рутенберг и мы узнаем, почему Гапон был за себя так спокоен...

Как мы помним, Рутенберг по заданию эсеровского ЦК выехал из Парижа в Петербург, чтобы проконтролировать прибытие в Россию парохода с оружием. Но выполнить это поручение партии ему не пришлось — когда он был еще в Финляндии, в местных газетах появилось сенсационное сообщение о том, что пароход сел на мель и оружие захвачено финской и русской полицией. Тогда Рутенберг решил ехать в Петербург, а там, как только он на Финляндском вокзале сошел с поезда, его схватили агенты охранки. В течение двухнедельных допросов охранка не смогла предъявить ему никакого обвинения. Попытка доказать, что он был одним из организаторов 9 января, окончилась неудачей. Кроме того, правительство в это время уже готовило манифест об амнистии по делам 9 января.

Рутенберга выпустили, и он собирался вернуться на Путиловский завод, в мастерскую, которой раньше заведовал. Но сделать этого не смог, полиция предложила ему покинуть Петербург.

Он уехал в Москву, а там как раз грянуло Декабрьское вооруженное восстание. Рутенберг перешел на нелегальное положение. Партия подыскала ему удобную и надежную квартиру.

В Москве шла беспощадная охота на всех подозреваемых в причастности к революционному движению, и

жить там нелегально было нелегко, поэтому Рутенберг очень дорожил своей квартирой в тихом переулке близ Трубной площади.

И вдруг 6 февраля вечером, вернувшись домой, он узнает от жены, что его ждет Гапон. Рутенберг буквально окаменел на месте. Спросил шепотом:

— Кто его сюда привел?

— Я встретила его утром на улице, дала наш адрес и сказала, что в это время ты будешь дома.

Он еле удержался, чтобы не обругать жену последними словами. Да за что ругать? Она же ничего не знала о его отношениях с Гапоном после 9 января и вдобавок все еще преклонялась перед ним. Рутенберг только подумал с досадой, что уже завтра ему придется бросать эту квартиру и искать другую.

Он прошел в комнату, где находился гость. Гапон, до того вроде дремавший сидя за столом, вскочил, заговорил радостно:

— Здравствуй, дорогой Мартын! Здравствуй! Я уже отчаялся тебя увидеть, и для меня это было равносильно потерять последнюю надежду и веру в свой завтрашний день. Но вот сам бог помог мне встретить твою жену. Мартын, дорогой! — он распахнул руки.

Уклонившись даже от рукопожатия, Рутенберг обошел его, сел к столу и спросил жестко:

— Знаешь, хуже чего незваный гость?

— Знаю, Мартын. Хуже татарина. Но я заклинаю тебя всем нашим прошлым: помоги мне! — Он принялся мелкими шажками ходить по комнате.

— Да сядь ты, ради бога, и скажи толком, что случилось?

Гапон сел и, сжав голову обеими руками, слепо смотрел на дешевенькую клеенку в цветочках, покрывавшую стол.

— Ну говори же, говори, что тебе от меня надо?

Гапон тяжело поднял голову:

— Мартын, ты пророк. Помнишь наш разговор в Лондоне? Дело у меня тогда заваривалось славное, и я был в глупом восторге, говорил тебе, что мне все время слышится музыка, а ты сказал — не торопись плясать, эта музыка может быстро умолкнуть. Музыка, Мартын, оборвалась тут же! — почти выкрикнул Гапон.— Все меня обманули! Продали! Ты только подумай! Вспомни Женеву, Париж, Лондон! Как все подсаживали меня на пьедестал!

— Кстати, о памятнике,— перебил его Рутенберг и спросил с усмешкой: — Где стоит твой памятник, на который рабочие собирали деньги по подписке?

Гапон обеими руками оттолкнулся от стола, закинул голову вверх:

— Все это было враньем Петрова,— ответил он сдавленным голосом.— Представляешь? Врал, обманывал меня Петров — мой самый близкий соратник по рабочему делу! — лицо его скривилось, стиснутые губы тряслись.

Рутенбергу показалось, что Гапон сейчас заплачет, но вдруг он понял, что действительно же тот должен переживать сейчас тяжкую драму одиночества, когда все отвернулись от него. Однако Рутенберга беспокоило и какое-то несоответствие между истерическим состоянием Гапона и его внешним весьма благополучным видом: на нем был дорогой костюм-«тройка», усы и борода тщательно подстрижены, щеки выбриты до синевы.

— А как у тебя дела с восстановлением отделений общества? — спросил он, подумав, что, может быть, здесь дела пошли неплохо.

Гапон энергично прошелся по комнате, вроде бы взял себя в руки и снова сел за стол напротив Рутенберга.

— В прошлый раз ты обещал мне помощь. Так слушай...— он долго смотрел куда-то поверх его головы, потом снова уткнулся взглядом в стол.— Давеча я говорил тебе, что приступаю к работе в своих отделениях, и ты еще советовал, как мне себя вести. Я точно так и поступил — всем, всюду и самим рабочим твердил, что никакой

политикой мы заниматься не будем, а будем спокойно и мирно своими силами улучшать свое положение. Я уже наметил создать свое кооперативное дело на паях. И представляешь, сам Витте решил мне помочь, выделил казенные деньги на восстановление моих отделений.

— Как же ты об этом узнал? — спросил Рутенберг, пока не веря услышанному.

— Представь себе, является ко мне от самого графа Витте его чиновник для особых поручений Манасевич-Мануйлов *.

— Он чиновник и от департамента полиции,— вставил Рутенберг.

— Погоди, Мартын,— поднял руку Гапон.— Является он, значит, и говорит, что граф Витте считает мою сегодняшнюю работу с рабочими государственно полезной и решил выделить средства на восстановление общества. Но мало этого, он говорит еще, что мою работу хочет поддержать начальник политической части департамента полиции Рачковский и по этому поводу он хотел бы со мной увидеться. Вот тут я оказался в полной растерянности. Был бы ты, я бы спросил твоего совета: идти ли мне на эту встречу? Как ты сказал бы, так я и поступил бы. А теперь сразу предупрежу тебя — с Рачковским я виделся. Мы встречались в ресторане у Кюба.

Рутенберг напряженно ждал, что еще скажет Гапон. Тот помолчал, точно припоминая тот разговор, и продолжал:

— Рачковский сказал, что ему известно благоволение ко мне графа Витте и что он давно хочет предоставить средства на восстановление моих отделений. Сказал также, что ему известно, как я сейчас разговариваю со своими рабочими, и похвалил за умную позицию. Но тут же добавил, что обольщаться этим у меня нет никаких оснований, так как мое дело все равно висит на волоске.

---

* В других источниках — Манусевич-Мануилов.

Я спросил, почему? Он объяснил, что о полном восстановлении моего общества министр внутренних дел Дурново пока и слышать не хочет, говорит, что это кончится второй Москвой. Я ему на это заявляю, что думать так обо мне — глупо. Неужели Дурново не понимает, что я получил такой тяжкий урок, после которого фактически стал уже другим человеком! Тогда Рачковский спросил: вы сейчас против существующей власти? Я ему сразу ответил, что не представляю себе в России никакой иной власти. Он: а как же с вашими заявлениями после Девятого января насчет царя-зверя и тому подобное? Я ответил, что, когда мне задают этот вопрос рабочие, я им объясняю, что писал это, когда еще гремели выстрелы и на улицах не просохла кровь, и тогда мною руководил не ум, а нервы, а главное — непонимание происшедшего. Теперь же, когда власти на наших глазах добиваются, чтобы в стране был порядок и благополучие, не является ли нашей святой обязанностью помочь этой власти? И все сознательные рабочие с этим согласны... Рачковский долго думал, потом сказал: Дурново хочет иметь гарантии, что вы не поднимете новую смуту. Я ему заявил, что гарантией пока может быть только мое слово истинно верующего сына России. Тогда Рачковский заметил, что слово — это только колебание воздуха, и спросил, не могу ли я написать записку на имя Дурново, такую убедительную, чтобы он мог решиться представить ее царю, который до сих пор вздрагивает при упоминании моего имени. Никто же другой открыть мне дорогу не может. Я подумал и такую записку написал и отдал Рачковскому для Дурново. Целых десять страниц — и очень умно написал.

— Копия у тебя есть? — спросил Рутенберг. Он помнил писания Гапона в Европе и усомнился, что тот мог написать что-то действительно умное.

— Есть копия, я ее сейчас не захватил, она в гостинице. Я тебе ее принесу... Но нам надо поговорить еще и

с глазу на глаз. Поедем сегодня в «Яр» на часок-другой, я, кстати, этого кабака до сих пор не знаю. У меня деньги есть, и мы там хорошенько посидим в свое удовольствие.

Рутенберг усмехнулся:

— Я вижу, Рачковский уже приучил тебя вести деловые разговоры в кабаках.

— Зря ты так,— нахмурился и покраснел Гапон.— А где же нам поговорить? Ходить к тебе сюда я опасаюсь, ты же нелегальщик, а вдруг хвост?

— Ко мне не надо,— согласился Рутенберг.— А насчет «Яра» я должен подумать.

— Долго думать, Мартын, нельзя — железо куют, пока оно горячее! А я тебе расскажу такое...

Они условились встретиться через три дня на Тверском бульваре, около Никитских ворот. Сели там на скамейку и некоторое время молча смотрели на здания, покореженные в дни Декабрьского восстания. В доме, фасадом выходящем на бульвар, зияла дыра размером в два окна.

— Смотри, тут и артиллерия действовала,— кивнул на дом Рутенберг.

— А выходит, что била она и по мне,— подхватил Гапон.— Сколько раз в разговоре Рачковский тыкал мне эти московские события! Будто я к ним причастен.— Он достал из кармана бумагу: — Вот копия моей записки Дурново. Читай.

Рутенберг читал не спеша, удивляясь толковости записки, насыщенной действительно умными размышлениями о современном положении в России и о том, как укрепить авторитет государственной власти. Здесь первым пунктом стояла задача полного умиротворения рабочих, этой главной силы всяких революционных выступлений. Гапон рекомендовал, взяв за основу октябрьский царский манифест и в подтверждение объявленной в нем амнистии, разрешить ему открыть все одиннадцать от-

делений общества, где он развернет работу исходя из того, что для него святость особы государя — непреложна, а верная служба ему — единственное счастье.

Рутенберг вернул записку:

— Ну что ж, написано действительно с умом. А что же стало с этой запиской дальше?

— Вот тут-то, Мартын, и начинается самое интересное... Но я, брат, замерз и сидеть тут больше не хочу. Давай вечерком в «Яр». Там расскажу тебе все. Ты ахнешь! Я, чтобы не засветить твою квартиру, в девять часов подъеду на пролетке вот сюда. Договорились?

— Ладно, в девять,— кивнул Рутенберг, встал и быстро пошел по бульвару к Страстной площади.

В тот же день он разыскал находившегося в Москве Савинкова и рассказал ему о своих встречах с Гапоном.

Савинков задумался:

— А не ловушка это специально для нас?

— Разве что для Гапона,— предположил Рутенберг.

— А зачем он им? Он же у них, судя по всему, так или иначе на привязи. И потом, они же уверены, что Гапон с его мелкой душонкой на террор не способен.

— Но есть серьезные основания полагать,— сказал Рутенберг,— что они действительно хотят использовать Гапона с его возможностями умиротворения рабочих.

— Я не допускаю, что они все еще верят в возможность этого полицейского рая. Особенно после Девятого января. Разве что пойдут на это только из растерянности. Но я советовал бы тебе продолжить контакты с Гапоном, чтобы узнать от него как можно больше. Может, через него найдем подход к Рачковскому. Эта цель для нас сладкая...

Вот почему Рутенберг решил поехать с Гапоном в «Яр».

Точно в девять часов вечера он пришел в условленное место, и тут же подкатил извозчичий возок с Гапоном. Рутенберг сел рядом с ним.

— Через Пресню в «Яр»,— приказал Гапон извозчику.

Они ехали по Пресне, разоренной недавними боями. Улицы не были освещены, в редком окне горел свет. Возок громыхал полозьями по ледяным колдобинам. Извозчик повернулся к ним:

— Вот как революция катком тут прокатилась,— и показал кнутом вокруг.

— А может, не революция, а бравые семеновцы? — спросил Рутенберг.

— Барин мой, кто ж тут теперь разберется, кто чего наломал...

Когда впереди уже стал виден Петровский парк, Гапон наклонился к Рутенбергу:

— Забыл сказать тебе: я, чтобы не привлекать лишнего внимания, пригласил еще одну свою знакомую и соученика по академии с женой. Мы сейчас пройдем в кабинет и там их подождем...

Рутенберг подумал, что даже интересно посмотреть, кто здесь его друзья.

Гапон вел себя как-то странно. С гардеробщиками, пока они раздевались, он держался, как сердитый барин, но стоило ему наткнуться на взгляд Рутенберга, как он съеживался и изображал из себя человека чем-то угнетенного, даже подавленного, с растерянной и виноватой улыбкой.

В кабинете он предложил сесть в углу на диван. Както судорожно раскурив папиросу, взял Рутенберга за руку:

— Ну вот, дорогой Мартын, слушай мой рассказ дальше... Следующая встреча с Рачковским проходила уже в присутствии жандармского полковника Герасимова. Тот тоже начал с объяснения мне в любви, даже обнял меня, и вдруг я почувствовал, что, обнимая меня, он ощупал мои карманы. Понимаешь? Проверял, нет ли со мной оружия. Вот, оказывается, до чего они меня боятся! И тогда

я им как будто невзначай сказал, что со мной никакого оружия нет. Они рассмеялись, переглянулись. В это время уже был накрыт стол, и мы сели. Выпили, и Рачковский этак весело спросил:

— А почему, Георгий Аполлонович, нам не предположить, что вы пришли сюда вооруженным? Ваше положение вообще затруднено главным образом тем, что многие вас боятся. Вот министр Дурново тоже боится. И Витте боится. Он вообще опасается, не хотите ли вы нас хитро употребить? А когда дочитал до того места, где вы говорите о священности для вас особы государя, резко отодвинул от себя бумагу и сказал: «Как в это поверить после Девятого января?» А Дурново, прочитав записку, сказал так: «Все, в чем он нас здесь уверяет, он обязан доказать делом». Тогда Рачковский будто бы сказал Дурново, что для этого, мол, надо дать Гапону работу в его обществе рабочих. А Дурново будто бы на это даже кулаком стукнул по столу и воскликнул: «Нет, раньше мы должны иметь доказательства того, что в этой записке правда». Когда он мне все это рассказал,— продолжал Гапон,— я спросил: «Но как же мне им это доказать?» И вдруг Рачковский говорит, что правительство России находится в очень затруднительном положении, в его распоряжении мало таких талантливых людей, как я. Такое же положение и в нашей службе, вот я, говорит, уже в почтенном возрасте, а заменить меня некем. Возьмите, говорит, мое место, если вы действительно хотите защитить государя от всяких бед. Я на это, конечно, рассмеялся. Герасимов тоже рассмеялся: «Господин Рачковский любит пользоваться гиперболами, но если вернуться к земной реальности, то, если бы вы стали работать с нами по защите государя, у нас на душе было бы спокойней». Рачковский подхватил: «И тогда, Георгий Аполлонович, вы сможете вполне официально открыть все отделения вашего общества». Тогда я стал думать, что самое главное для меня — это работа в обществе и что в связи с этим

на всякие их маневры надо уметь смотреть широко... А Рачковский говорит: «А помочь нам вы могли бы и сейчас, вы бы рассказали нам хоть что-нибудь». Я заявил, что ничего не знаю. Рачковский возразил, что поверить в полную неосведомленность такой личности, как я, могут только отпетые дураки. «Расскажите нам хотя бы о себе — вот вы довольно долго были за границей, что там делали? С кем встречались?»

Гапон запнулся и спросил:

— Мартын, ты понимаешь всю эту ситуацию?

— Чего ж не понять? — пожал плечами Рутенберг.— Они вяжут тебя в свою агентуру.

— Но ты же знаешь, что я на это не пойду под пыткой! — почти выкрикнул Гапон.— Нет, так разговаривать я не могу. Ты же мне попросту не доверяешь. И давно не доверяешь. Вот я тебя зову Мартыном, Мартыном Ивановичем, а ты, оказывается, Петр Моисеевич.

— Откуда ты узнал? — быстро спросил Рутенберг.

— Рачковский сказал.

— Он что, обо мне расспрашивал?

— Не только. О Чернове спрашивал, о «бабушке».

— Что же ты им сказал?

— О Брешко-Брешковской *, о «бабушке», значит, я сказал, что кроме случая, когда по приезде в Швейцарию она расцеловала меня, я больше ее в глаза не видел. Ну, а Чернов предложил мне выйти из его партии, что я с готовностью и сделал, на том всем моим отношениям с ним — конец.

— А что ты сказал обо мне?

— Что ты мой друг. Что ты спас меня от пуль Девятого января, за что я тебе до гробовой доски благодарен. А между прочим, Рачковский мне на это говорит: «Ника-

* Брешко-Брешковская Е. К. (1844—1934) — одна из организаторов и лидер партии эсеров. Мелкобуржуазная пресса называла ее «бабушкой русской революции».

кой он вам не друг, он вам даже своего настоящего имени не сказал. Кроме всего, Рутенберг серьезный революционер и он настолько подчинен железной дисциплине их эсеровской партии, что дружбу с вами он мог завести только с разрешения своего ЦК, а вы-то даже вне их партии. Вы, говорит, не знаете даже, что он причислен к боевой организации и что здесь, в Питере, он создавал боевые рабочие дружины. Его давно можно определить за решетку, но он умен и хитер, как черт. Два раза его брали, а улик никаких, пришлось отпускать...»

В этом, самом интересном для Рутенберга месте разговора в кабинет заглянул слуга и сказал, что приглашенные гости прибыли.

— Вот и хорошо,— оживился Гапон.— Пошли в общий зал, там музыка, там нормальные, живые люди, пойдем хоть развеемся немного.

Оказалось, в общем зале их ждал накрытый стол, за которым уже сидела симпатичная женщина средних лет, которая назвалась Александрой Михайловной. Гапон добавил, глупо хихикая, что она его давняя, но безнадежная любовь. За столом была еще супружеская пара.

Высокий огромный зал ресторана был заполнен гулом голосов. Почти все столы были заняты, и за каждым шел свой разговор, звякала посуда, слышался смех. Затянутые в смокинги рослые официанты, держа на кончиках пальцев нагруженные подносы, скользили по зеркальному паркету, как по льду. Время от времени играл балалаечный оркестр, к полночи были обещаны цыгане.

Официант принес шампанское и вино. Гапон засуетился, распорядился откупорить шампанское и начал разливать его в фужеры; приглашенные смотрели на него с обожанием.

— За нашу встречу! — торжественно провозгласил Гапон. Обойдя стол, чокнулся со всеми, Александру Михайловну фамильярно обнял за плечи, чем изрядно ее

смутил. Держа поднятым свой фужер, сказал: — Только русские люди могут вот так встретиться за столом, вчера еще не зная друг друга.

Большими глотками, от которых прыгал в воротничке его острый кадык, он осушил свой фужер и тут же его снова наполнил. Рутенберг подумал: было бы хорошо, если бы он напился, а потом отвезли его домой для продолжения разговора. Но с Гапоном вскоре произошло непонятное, оживленность будто выключилась, он уронил голову на руки и замолк. Потом подозвал официанта, сунул ему в руку деньги:

— Это оркестру. Пусть сыграют «Реве та стогне»...

Официант сходил к оркестру, и тот сразу заиграл заказанную украинскую песню.

— Моя ридна писня,— шепнул Гапон Рутенбергу и вдруг заплакал, бросился к Александре Михайловне, стал целовать ей руки, обливая их слезами, чем поверг ее в еще большее смущение, а супружескую пару — в удивление.

Рутенберг, однако, заметил, что он успевал еще и внимательно и тревожно оглядывать зал, точно искал кого-то...

— Кого ты все выглядываешь? — тихо спросил он Гапона.

Тот резко повернулся к нему, глаза в глаза:

— Свою судьбу, Мартын, выглядываю... а может, и твою тоже.

В начале двенадцатого часа Рутенберг сказал, что у него разболелась голова и ему пора домой.

Гапон встал из-за стола:

— Я тебя провожу.

В гардеробе он взял свою шубу и начал одеваться.

— Ты что? — удивился Рутенберг.— Бросаешь гостей?

— Ничего, Мартын, у них есть деньги, а та супружеская пара отвезет Александру Михайловну домой. В об-

щем, все в порядке, а я еду к тебе, я должен рассказать тебе все до конца.

Дома у Рутенберга никого не было, и они уединились в его маленькой комнатке.

— Первое, что я тебе скажу,— решительно заявил Гапон,— это то, что все люди сволочи.

— И ты в том числе? — бегло улыбнулся Рутенберг.

— Я их жертва. Ты же не знаешь, что было дальше. Витте дал обещанные мне тридцать тысяч, но эти деньги похитил известный тебе авантюрист Матюшенский *. Похитил и скрылся. Я послал вдогонку своего рабочего Кузина, и тот настиг его в Саратове, деньги отобрал.

Рутенберг вспомнил вечно затурканного, робкого Кузина и усомнился, что тот мог провести такую операцию. (О кузинской операции Гапон, конечно, врал, и позже Рутенберг узнает, что деньги у Матюшенского были отобраны охранкой, которая и настигла его в Саратове.)

— Но деньги-то,— продолжал Гапон,— были уже ни к чему, так как общество мое, как ты знаешь, было закрыто. Но тут-то и начинается самое интересное.— Гапон схватил руку Рутенберга, порывисто сжал ее: — Только слушай внимательно и верь. Хорошо?

— Говори, говори...

— Оказывается, вокруг моего общества шла борьба сановников высшего класса, и представляешь, что происходит? Витте дал мне деньги, а меня боялся сам министр внутренних дел Дурново, и, когда я приступил к возрождению своих отделений, он официально заявил, что, если гапоновскому делу дадут возродиться, он, Дурново, уйдет в отставку. Тут-то мне и передали, что со мной хочет встретиться правая рука Дурново — Рачковский. Он, мол, намерен помочь в исполнении моих идей. Я и согласился...

Рутенберг слушал Гапона очень внимательно.

---

* В других источниках — Матюшинский.

— Да! — рассмеялся Гапон.— С его помощью я побывал в лучших ресторанах столицы — у Кюба, у Донона, у Контана... Разговаривали в отдельных кабинетах, там одна обстановочка чего стоит.

— Погоди,— остановил его Рутенберг.— Зачем ты нужен Рачковскому, я могу догадаться, но зачем он тебе, если твое общество фактически закрыто?

Лицо у Гапона точно затуманилось, он низко опустил голову:

— Я понимаю, что ты думаешь, но это меня не остановит. Я должен рассказать тебе все. Но прежде — зачем мне нужен Рачковский? — Он резко поднял голову и впервые за весь разговор посмотрел Рутенбергу в глаза.— Надеюсь, ты понимаешь, что я оказался выброшенным из жизни России? И это после того, что имя мое гремело на всем ее просторе и за ее пределами. Да ты об этом знаешь не хуже моего. И вдруг я — ноль, даже друзья отвернулись от меня. И ты в их числе. Думаешь, я ничего не замечал там, в богом проклятой Европе, а теперь здесь?

Рутенберг подумал, что действительно для него с его патологическим честолюбием то, о чем он говорит,— драма.

— И главное,— продолжал Гапон,— впереди ни щелочки просвета. И вдруг возникает Рачковский. Силу и ум этого человека я знаю — недаром же именно он заведовал заграничной агентурой департамента полиции. И подумал: может, тут какая-то надежда для меня? В России, ты сам знаешь, никогда не понять толком поворотов политики. А вдруг подуло каким-то ветром, и сильные мира российского поняли, что я еще могу пригодиться? Рачковский говорил мне: вы талант-самородок, это ясно всем. Талант владеть массой — редчайший талант. В России, кроме вас, я не могу назвать ни одного имени. И добавил: так думает и наш министр Дурново, хотя он вас не любит и боится. Мы с ним о вас много говорили и пришли к выводу, что не использовать ваш талант во благо

России просто грех, и притом тяжкий. Но о том, как использовать, надо еще думать и думать... При этом разговоре присутствовал другой туз охранки, жандармский полковник Герасимов. Он и говорит мне: «Вот ваш друг Рутенберг — очень интересный человек. Вы бы и помогли соблазнить его помочь нам». Так, гад, и сказал — соблазнить. Потом стали спрашивать про боевую организацию. Я ответил, что про это абсолютно ничего не знаю, и пошутил: мол, при случае спросите у Рутенберга, а только он мне про их организацию ничего не говорил. И добавил намеком, что если я про то что-нибудь и знаю, то промолчу, ибо тогда я, как Самсон, останусь без волос. Они посмеялись, а Рачковский мечтательно так говорит: «О, если бы Рутенберг доверился нам...» Тогда я сказал им: «Это вам будет стоить таких денег, каких у вас нет». Тут Герасимов вставляет: «Для этого найдем любые деньги». И тут, Мартын...— Гапон судорожно вздохнул,— и тут они взяли меня за горло. Они показали мне фотокопию документов Сокова,— помнишь, я в Лондоне показывал тебе подписанный им чек? Вот... подлинные, значит, его письма японскому посланнику в Париже, и в них полный отчет о расходовании денег, какие он получил от посла. Показывают и говорят: «Вот, значит, какие вы революционеры — на японские деньги собирались устраивать русскую революцию. Хороши!» Затем показывают в том документе мою фамилию и мою расписку в получении пятидесяти тысяч. И спрашивают, что я буду делать, если они завтра опубликуют этот документик в столичных газетах? Я как подумал об этом, у меня спина похолодела. Представляешь, какая была бы беда для вашей партии?!

— Представляю,— процедил Рутенберг сквозь зубы.— А на каком языке тот документ?

— На французском.

— Ты же французского не знаешь, как же мог разобраться, что в документе?

— Там было написано так: «С.-Р.— 100 000». Это я мог

понять. Господи, какое счастье, что я тех денег не касался!

— Но ты-то получил от Сокова пятьдесят тысяч! Как же ты их не касался?

— Да ну их, эти деньги, они пошли прахом. Забудем. Главное, что я еще хочу тебе сказать: ты охранки не бойся, ты им так нужен, что они тебя пальцем не тронут.— Гапон помолчал и вдруг спросил: — Хочешь, я твоего брата освобожу из Бутырок?

— Он не в Бутырках,— ответил Рутенберг.— Он сидит в столичных «Крестах».

— Освободят его и оттуда. Они клялись мне, что сделают для тебя все, что ты скажешь.

Рутенберг рассмеялся:

— А моего брата освобождать не надо, он еще молодой, и тюремная школа будет ему на пользу.

— Ты слушай, что было дальше. Рачковский говорит: мы знаем, что вы едете в Москву. Поговорите там с Рутенбергом, передайте ему наш разговор. Но мы должны удостовериться, что вы с ним встретились. Устройте свидание в «Яре». И вчера я позвонил им из Москвы, что встреча состоится. Вот ты спрашивал, чего я в ресторане все оглядывался? Так я смотрел, нет ли там Рачковского или Герасимова. Теперь я хочу, чтобы ты знал нечто новое обо мне...— продолжал Гапон.— Я изменил свое отношение к вашему террору. Я теперь за террор. Таких вот типов, как Рачковский или Трепов, надо убивать беспощадно. В общем, думай, Мартын, по-моему, в твои руки идет жирный козырь... А теперь я пойду к себе в гостиницу. А завтра еду в Петербург. Там найти меня легко, я буду жить в гостинице на Лиговке. Приезжай...

Гапон ушел. Рутенберг подождал около часа, потом вышел на улицу, проверил, чисто ли возле дома. Убедившись, что все в порядке, взял извозчика и поехал в Замоскворечье, где жил Савинков.

Они проговорили с Савинковым всю ночь. Рутенберг рассказал все, что услышал от Гапона.

Савинков слушал с двояким чувством: он был рад, что именно ему в руки пришла эта ситуация с выходом на Рачковского, но досадовал, что здесь замешан Гапон — конечно же, человек несерьезный, непрочный, а Азеф его вообще не терпит и из-за одного этого может отвергнуть перспективную комбинацию против такого крупного деятеля охранки,— комбинацию, крайне сейчас необходимую для престижа боевой организации, последнее время сильно померкнувшего.

Выслушав Рутенберга, он сказал:

— Твой дружок — отъявленный мерзавец, опаснейший для всех нас и нашего дела. Он со своим мышиным умом доигрался до того, до чего не мог не доиграться. Но дело тут возникает большое, серьезное, и кустарничать тут нельзя. Тебе, Мартын, надо ехать в Петербург, оттуда сразу же в Гельсингфорс, где сейчас и Чернов, и Иван Николаевич (то бишь Азеф.— *В. А.*). Доложишь им все. Сообщи мое мнение: Гапона надо, пока не поздно, ликвидировать. Но учитывая, что охранка будет теперь его охранять и от нас, тебе, наверно, придется подыграть Рачковскому, только при этом может появиться возможность покончить и с ним, а если повезет — то и с Дурново. От моего имени скажи это в Гельсингфорсе. Я буду там через три-четыре дня...

Рутенберг и сам понимал, что без одобрения и помощи главного боевика Азефа такое дело немыслимо, но ехать ему не хотелось, он попросту боялся этого человека. Однако дело все же прежде всего, и Рутенберг отправился в Гельсингфорс, заручившись обещанием Савинкова, что он выезжает сразу за ним.

Спустя пять дней в Гельсингфорсе, в богато обставленном гостиничном номере сидели в глубоких креслах Рутенберг и Азеф. За широким окном простиралась панорама припорошенных снегом крутых черепичных крыш фин-

ской столицы. От порта доносились басовитые гудки пароходов.

Рутенберг давно закончил свой рассказ и напряженно смотрел на Азефа, оплывшее лицо которого не выражало ничего, кроме досады, что повергало Рутенберга в тревогу — вдруг он сделал или сказал что-то не так? Но вот опухшие веки Азефа шевельнулись, вздрогнули, приоткрыв черные маслянистые глаза:

— Вы все это рассказали Савинкову? — спросил он, раскуривая папиросу.

— Да. Как сейчас вам.

— И что сказал на это Борис Викторович?

— Он считает, что пока суд да дело, мне надо включаться в эту игру, чтобы получить доступ к Рачковскому, а то и к Дурново.

— Узнаю Бориса Викторовича,— проворчал Азеф.— Обожает сложные сюжеты...— Он выдохнул дым вверх, понаблюдал за ним и придавил папиросу в массивной глиняной пепельнице. Хлопнул пухлой ладонью по подлокотнику кресла.— Эта игра длинная и не очень надежная. А надо срочно ликвидировать Гапона. На нашем извозчике прокатите его в Крестовский сад, поужинайте там хорошенько, а попозже на том же извозчике свезите его в лес подышать сосновым воздухом. Там суньте ему нож в спину и выбросьте из саней. В отношении него это программа-максимум, и он достоин только этого. А играть вместе с гадюкой — слишком большая для нее честь, не говоря о том, что это очень опасно.

— Мне расценивать это как решение Центрального комитета? — спросил Рутенберг.

— А без протокола у вас не поднимется рука даже на изменника? — разозлился Азеф.

— А разве не вы, Иван Николаевич, учили нас, что в терроре, как нигде, каждый шаг должен быть документирован?

Азеф вырвал свое грузное тело из кресла:

— Хорошо. Чернов как раз здесь, в Гельсингфорсе. Когда, вы сказали, приедет Савинков?

— Думаю, завтра он уже будет здесь.

— И тогда мы проведем заседание ЦК.

Это заседание состоялось здесь же, на другой день. Чернов, видимо, уже проинформированный обо всем Азефом, обратился к Савинкову:

— Устранять Гапона, Борис Викторович, сейчас нельзя,— перевел взгляд на Азефа.— И вы, Иван Николаевич, в этом вопросе тоже не правы. Вы не учитываете громадной популярности Гапона среди петербургских рабочих. При их слепой вере в него возникнет легенда, что Гапона убили революционеры из зависти, а выдумали, что он предатель. А мы-то свои доказательства выставить не можем.— Чернов сжал в кулаке свою бородку-клинышек и снова воткнул взгляд в сонное лицо Азефа.— Иван Николаевич, тут ваше слово решающее.

— Для того чтобы избежать нежелательного резонанса,— замедленно и ворчливо начал Азеф,— по-моему, может быть только такой шаг: ликвидировать Гапона во время его свидания с Рачковским. Такое обстоятельство убийства наверняка просочится в публику, и тогда резонанс будет для нас вполне благоприятный.

— Ну что ж...— заторопился Чернов (он всегда куда-то торопился, за что Савинков уже давно в узком кругу называл его «господин Торопыга»).— Ну что ж, давайте действовать в этом направлении.

Савинков резко поднял руку:

— Подождите, Виктор Михайлович, вы знаете, как сложна подготовка каждой акции. А здесь эта сложность прямо гомерическая.

Чернов пожал плечами:

— Хотелось бы услышать исполнителя. Рутенберг берет на себя это дело?

Рутенберг молчал — он-то понимал всю сложность задуманного. Трусом, однако, он никогда не был. Но очень

волновался — впервые он вот так близко и даже на равных с руководителями партии, да еще собравшимися из-за него. Он слушал их спор и скорей чувствовал, чем понимал, какое большое значение придается начатому им делу, и в душе у него возникала острая тревога — а вдруг он не справится, не оправдает надежд ЦК?

— Я сделаю все, что смогу,— негромко произнес он наконец,— но всю подготовку целиком взять на себя не могу.

— В этом я Рутенберга понимаю,— сказал Азеф.— Мы все должны ему помочь.

— Да, да,— закивал Чернов.— Кроме того, мы должны ясно представить себе, что исполнение нашего решения для товарища Рутенберга связано с необходимостью войти в грязную комбинацию с охранкой, а это для него обстоятельство необычайно трудное и в политическом, и в психологическом смысле, и в этом аспекте мы обязаны сделать все возможное, чтобы он каждую минуту ощущал и наше к нему исключительное доверие, и помощь. И сам продумал каждое свое слово Рачковскому.

— Я думаю сейчас,— заговорил Азеф,— о том, как упростить и облегчить акт. Надо их ликвидировать вместе — и Гапона, и Рачковского. А в уме держать Дурново. Во всяком случае, это для исполнителя легче, и шансов на выход из ситуации больше...

Но вот разговор сосредоточился на том, как лучше Рутенбергу завоевать полное доверие Рачковского, не потеряв при этом своего лица?

— Не потерять лица — это главное,— вдруг произнес Чернов, поучительно подняв палец и строго смотря на Рутенберга.— Надеюсь, Петр Моисеевич, вы это понимаете?

Рутенберг молчал, опустив голову. Савинков подошел к нему, положил руку на плечо.

— Что, Петро, опустил буйну голову? Настоящая борьба — всегда сложное дело. Но вот что надо при этом всегда

учитывать: тот же Рачковский не бог и не царь ума человеческого, и, как известно, на всякого мудреца достаточно простоты.

— Не скажите, Борис Викторович,— отозвался Чернов,— Рачковский все же не рядовой пес охранки, и нам сейчас надо бы как-то практически помочь Рутенбергу выработать наилучшую схему разговора с ним.

— Согласен, Виктор Михайлович,— оживился Савинков.— Я над этим подумаю.

Азеф посмотрел на Савинкова.

— Вы за это?

— О да,— кивнул Савинков.— На решающее свидание с Рачковским Рутенберг должен идти вместе с Гапоном, и если все удастся, эти два трупа рядом создадут для нас выгодную ситуацию. Скажем, если мы — ЦК — потом возьмем смерть Рачковского на себя, а о Гапоне не скажем ни слова, это даст повод думать, что он оказался там не по воле партии.

Азеф прихлопнул мягкой ладонью по столу:

— Ах, как я завидую Рутенбергу, что он сможет казнить Рачковского! Это же моя давнишняя мечта! Но у меня не было никакой возможности подобраться к нему. Только подумать, скольких борцов вырвал он из наших рядов! И мы громко, на весь мир, заявим, что высший суд революции над палачами существует и действует, а казним их мы! — Азеф проговорил это с совсем не свойственной ему экспрессией. Однако этот его пафос Рутенберга трогал мало, он понимал, что в данном случае исполнить приговор революционного суда будет необыкновенно трудно. Азеф это тоже понимал и вдруг спросил у Рутенберга: — Ну, а вы-то готовы к этому акту возмездия? — это прозвучало как «а не трусите ли?».

И Рутенберг твердо, но с явным оттенком злости ответил:

— Я буду счастлив выполнить это решение партии! — и через секундную паузу добавил: — Но у меня есть со-

мнения уже чисто практического характера, и я просил бы более опытных боевиков помочь мне с ними справиться...

Азеф, конечно, понимал, что эта просьба главным образом адресована ему, и буркнул вопросительно:

— Какие сомнения?

— Ну, например,— начал Рутенберг,— могу ли я слепо надеяться, что в полиции, прежде чем допустить к Рачковскому, меня не обыщут?

Азеф склонил свою крупную голову к плечу:

— Да, это очень серьезный момент, и его надо обдумать. Но все-таки это будет зависеть в первую голову от степени доверия Рачковского вам, которое вы должны завоевать, прежде чем идти на дело.

— Пока это в большей степени зависит от Гапона,— заметил Рутенберг.

— Но этому-то мерзавцу,— подхватил Азеф,— Рачковский верит полностью! А может, оружие или взрывное устройство пусть будет у Гапона?

Рутенберг усмехнулся:

— И там, на глазах у Рачковского, он передаст его мне?

— Нет, нет,— подал голос Савинков, стоявший поодаль и смотревший в окно: — Мы же договорились, Петр убивает и Рачковского, и Гапона. А будет или не будет обыск — это действительно зависит от того, как поверит Рачковский Рутенбергу. Если он поверит, что вы идете к нему с ценнейшей информацией, то не позволит вас обыскивать. И все-таки,— продолжал он,— я бы снял вопрос об одновременном убийстве Рачковского и Гапона. При всех политических выгодах этого для нас мы не имеем права забывать, что это создает для Рутенберга неимоверные трудности. Наконец, разве можем мы не считаться с сомнениями Виктора Михайловича в необходимости ликвидации Гапона? Ведь он этих сомнений еще не снял. Я бы предоставил Рутенбергу право выбора: ликвидиро-

вать одного или двух, в зависимости от того, как будет складываться ситуация.

— Так не годится! — решительно сказал Азеф.— В наших традициях всегда была абсолютная ясность цели. Но вот что можно сделать: простейшим способом ликвидировать Гапона, а затем Рутенберг это убийство подал бы Рачковскому как крайне необходимое устранение свидетеля его решения работать на охранку. Такая предусмотрительность укрепила бы доверие Рачковского и облегчила бы выход на него самого. Но все это требует времени, а тянуть с этим нельзя.

Все долго молчали. Но вот Азеф шевельнул в кресле свое крупное тело:

— Так или иначе, первая задача — завоевать доверие Рачковского к Рутенбергу. Для этого я бы предложил еще один ход: симулировать подготовку нами покушения на министра Дурново. Такую симуляцию можно провести великолепно: начать слежку за объектом и сделать так, чтобы охранка ее обнаружила. Понимаете? И через того же Гапона можно даже навести охранку на нашу слежку с предупреждением, что боевая организация возобновляет активную деятельность. Вы представляете интерес Рачковского к этому? — Азеф взглянул на Рутенберга, но тот не ответил, сумрачно молчал, стараясь не коснуться взглядом скользких глаз Азефа. Вся эта затея с симуляцией покушения на Дурново на первый взгляд выглядела сто́ящей, но он-то знал, как готовятся покушения и какая это чрезвычайно сложная работа, требующая усилий доброго десятка людей.

— Один я такую симуляцию провести не смогу,— угрюмо произнес он.— И если тот же Рачковский разглядит, что это симуляция, тогда вообще всей игре конец.

— Но я в помощь вам выделяю опытнейшего боевика Иванова,— быстро сказал Азеф,— которого Рачковский прекрасно знает. Когда он обнаружит в этом деле Иванова, то отбросит всякую мысль о симуляции. А вам нужно

будет только встретиться разика два с Ивановым на ходу. За вами наверняка следят, ваши встречи засекут, и после этого ничего для симуляции больше делать не надо, все силы — на Рачковского.

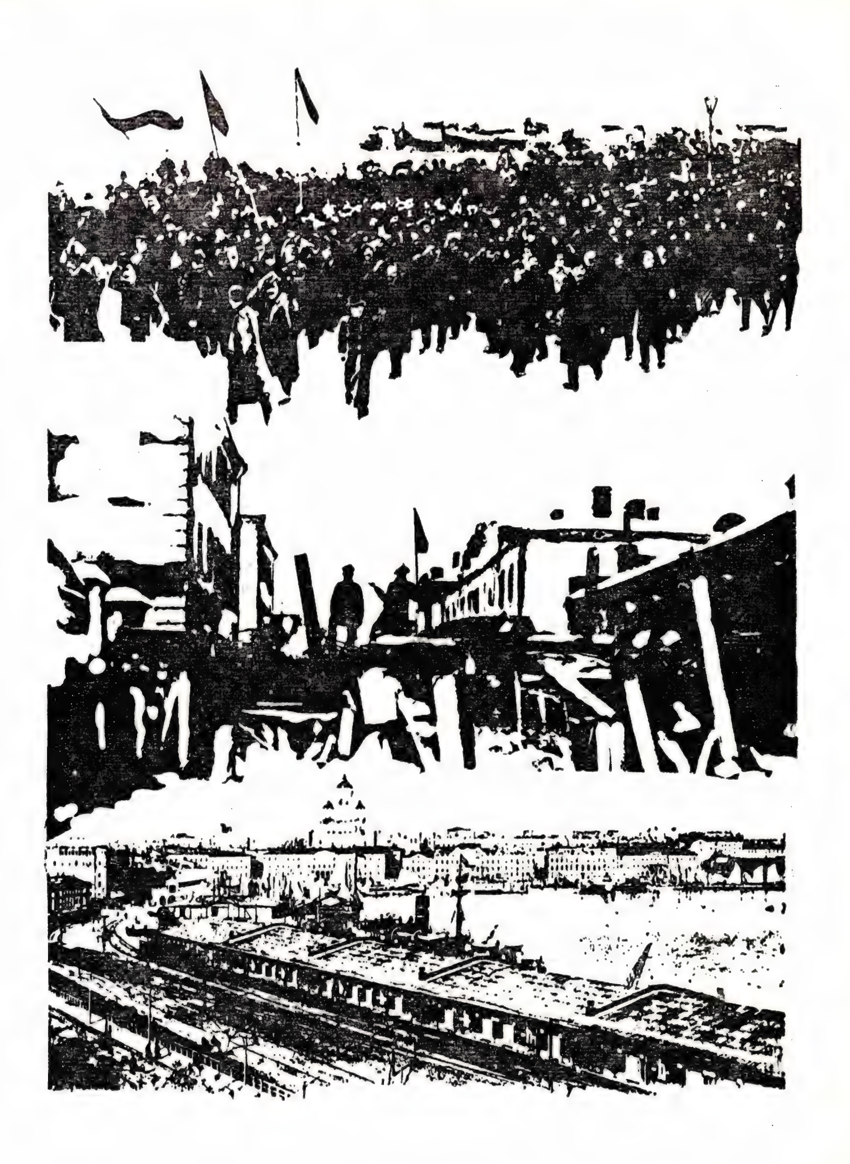
— Ну что ж,— подхватил Чернов.— Давайте сейчас на этой схеме и остановимся.

Разговор был окончен. Чернов тут же ушел, бегло пожав руку Рутенбергу. Вскоре ушел и Савинков. Прощаясь, он обнял Рутенберга за плечи, встряхнул:

— Трезво пойми — ты получил от партии огромное дело...

Азеф тоже приблизился к Рутенбергу:

— Честное слово, завидую, что вам дано казнить такую опасную для революции сволочь, как Рачковский. А с Гапоном не тяните, он только мешает в главном деле. И вы же слышали, Чернов эту схему принял. В общем, убирайте с дороги этого грязного попа и идите дальше...— И он заговорил более приглушенно: — Я заметил, вы сомневаетесь в необходимости симуляции покушения на Дурново. Если откровенно — я тоже. И знаете что? Мы проведем симуляцию симуляции. Не понимаете? Самой симуляции со всеми сложными атрибутами слежки за жертвой и тому подобного не будет. Но вы, скажем, два раза встретитесь с Ивановым, и поскольку оба вы у Рачковского под колпаком, он об этих встречах узнает и сильно встревожится, ибо знает, что Иванов боевик серьезный. Он у вас наверняка спросит, что у вас с Ивановым? Вы ответите, что два раза случайно встретились, но о своих делах он ничего вам не говорил и речь у вас шла только о том, продолжает ли наша партия террор или решила его ослабить и даже отменить. Что последнее предположение высказали вы, а Иванов, мол, сказал, что, по его мнению, отмены быть не может. После этого Рачковский может считать, что вы как бы подтвердили, что Иванов в столице, и таким образом даже вроде бы выдали его, не зная, что он у них под колпаком. Отсюда еще большее доверие



Рачковского вам. Понимаете?.. Подведем итог. Идеалом остается ликвидация обоих: Рачковского и Гапона. Быть бы исполнителем мне, я бы не раздумывал ни минуты — обоих,— Азеф рассек рукой воздух.— Второе. Брать или не брать партии на себя ликвидацию Гапона — вопрос непростой по одной причине: и в том, и в другом случае получается, что партия имела с ним какие-то дела. Проблема деликатная: если были с ним дела, то какие? А если никаких дел не было, почему казнили его именно вы? А вы же должны помнить: когда Гапон был в Европе, сам Чернов настоял, чтобы он вступил в нашу партию, а позже сам же вывел его из партии. Видите, какая путаная может образоваться коллизия, когда имеешь дело с таким хамелеоном, как Гапон. Но вы правы: все это вопросы, так сказать, вторичного характера. А то, что его надо казнить, решение партии твердое. Так что, если сложится ситуация, когда Рачковский окажется недоступным, а Гапон — рядом, уничтожайте эту гадину, и в этом акте с вами будет наша партия.

Последняя фраза Азефа впоследствии окажется для Рутенберга роковой. Но об этом позже...

Встреча эсеровских лидеров с Рутенбергом продолжалась на другой день. Поначалу Чернов участия в разговоре не принимал, поставил кресло к окну и с рассеянным видом смотрел на улицу, но было видно, что он слушает.

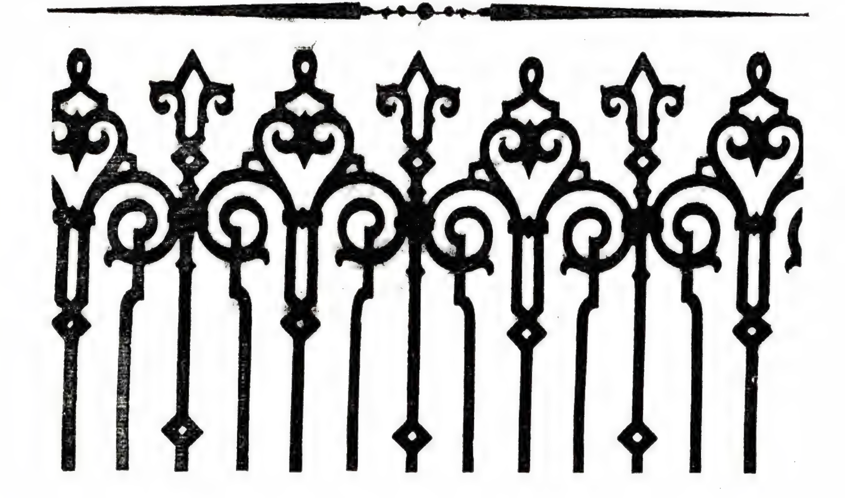
То, о чем шла речь, тревожило его тем сильнее, что в это время партия эсеров вступала в глубокий, длительный кризис, который приведет к расколу в руководстве, к разногласиям в выборе цели и тактики. Партия будет то отказываться от террора, то заменять его экономическими экспроприациями, то снова возобновлять, прикрывая всю эту тактическую неразбериху псевдореволюционной фразеологией, и будет все больше удаляться от истинной практики революционной борьбы в России. И уже совсем близко было разоблачение Азефа, которое станет сокру-

шительным ударом по эсеровскому руководству, на долгое время подорвет его авторитет, тем более что в «деле Азефа» это руководство займет позицию безоглядной защиты предателя и провокатора, даже спасет его от наказания, и все это будет делаться во имя защиты своего престижа. Это еще впереди, но уже и сейчас Чернов озабочен сохранением авторитета ЦК.

Как раз в то же время в эсеровской газете в статье «Ближайшая задача и обязанность» он призвал членов партии без колебаний доверять своему Центральному комитету, «который свято предан высоким революционным идеалам».

Ну вот, высокие идеалы, святая преданность — а тут эта мутная история с Гапоном. В общем, Чернову было о чем тревожиться...

VII



Утренним поездом Рутенберг вернулся в Петербург, а около полудня к нему домой уже явился Гапон. Рутенберг понимал, что охранка могла засечь его возвращение на вокзале, где ее филеры, конечно, были. Тогда, значит, Гапон узнал о его возвращении от них. И это тоже неудивительно — Рачковский торопится заполучить его вместе с Гапоном.

— Как ты можешь так подолгу пропадать,— начал Гапон с упреков,— когда тут у меня земля горит под ногами? Если Рачковский решит, что я вожу его за нос, он же просто посадит меня за решетку и сделает это только от уязвленного самолюбия.

— Рачковский отлично понимает, чего стоит для меня решение идти к нему с поклоном.

— Почему с поклоном? — вспыхнул Гапон.

— Ладно, мы к нему пойдем. Решение мною принято,— твердо произнес Рутенберг.— Но прежде я хотел бы выяснить кое-что о твоем положении...

— А что со мной? — встревожился Гапон.— Со мной все ясно. Рачковский мне пока верит.

— А почему он должен тебе верить после того, как Петров поместил в газете разоблачение насчет полученных тобою денег?..

8 февраля 1906 года в газете «Русь» было опубликовано письмо рабочего Петрова, в недавнем одного из активнейших помощников Гапона в его обществе:

«Милостивый государь, хочу довести до сведения товарищей рабочих и всего русского общества, почему я вышел из центрального комитета и отказался от председательства 7-го отдела Невского района собрания русско-фабрично-заводских рабочих и гапоновской организации? После 17 октября 1905 г. на первом заседании центрального комитета Гапон сказал нам, что он должен умереть, чтобы воскресить наше дело. Далее он сказал: «Товарищи, даю вам на открытие отделов — 1000 руб. собственных денег, и у вас есть 4000 рублей, вот вы и работайте пока на эти деньги, а после найдутся еще. О деньгах, товарищи, не хлопочите, в них недостатка не будет». Вскоре было созвано общее собрание в Соляном городке всех русско-фабрично-заводских рабочих города Петербурга, где казначеем Карелиным был дан отчет и сколько осталось у нас денег. Он говорил, что у нас собственных денег 4000 рублей и 1000 рублей дал нам о. Гапон своих. Товарищ Смирнов сказал речь о милости Гапона, что он заработал в Лондоне 40 000 рублей и из собственных трудов дал нам 1000 рублей. Во второй половине декабря 1905 года председателем центрального комитета русско-фабрично-заводских рабочих Варнашевым дан был отчет о расхо-

дах по открытию отделов. Варнашев начал с того: «Товарищи! Вы знаете, что у нас денег было 4000 рублей и 1000 рублей дал Гапон, который получил от Витте». Не буду описывать, что произошло при этом открытии между товарищами, но обнаружилось, что знали это только Гапон, Варнашев, Кузин и Карелин — рабочие, председатели отделов, интимные друзья Гапона.

После отчета Варнашева положение становилось нехорошим и слишком темным. Я и товарищ Черемушин стали сомневаться в честности Гапона. Сомневаться пришлось недолго. В начале января 1906 года близкий друг Гапона Александр Матюшенский куда-то скрылся. После 9 января 1906 года я пришел в помещение центрального комитета, где встретил взволнованного секретаря Кузина, который позвал меня в отдельную комнату и, волнуясь, говорил: «Ты знаешь, у нас беда случилась, нас обокрал Матюшенский, украл у нас деньги».— «Какие? У кого? Сколько?» — задал я Кузину вопросы. «Видишь, как это случилось. Председатель Варнашев поехал к министру Тимирязеву за обещанными деньгами, тот говорит, что Матюшенский давно уже их получил, и показал Варнашеву расписку в получении денег. Варнашев — к Матюшенскому, но того и след простыл».— «Но какие же это деньги?» — я спрашивал. «Видишь ли, как это было. Гапон не тысячу рублей получил от Витте через Тимирязева, а 30 000, тысячу рублей Гапон дал в октябре, когда уезжал, а остальные поручил Матюшенскому, вот он и получил от Тимирязева. Помнишь, он говорил, что дает ему деньги купец, а это были те деньги, которые дал Витте. Гапон дал 1000, Матюшенский в два раза 6000 рублей, а остальные 23 000 увез».

Через день я говорил с Гапоном об этих деньгах. Я спрашивал, как он мог взять их один и кто ему позволил и зачем взял? Гапон отвечал, что принужден был взять якобы потому, что не открывали собрания. Второй раз Гапон говорил мне, что ему было предложено Витте



30 000 рублей за то, чтобы Гапон уехал за границу и не подымал шума об иске за убытки, которые понесли рабочие при закрытии собраний после 9 января 1905 года. Но на вопросы, кто ему позволил взять, он не отвечал, а ругал Матюшенского и, хлопая меня по плечу, говорил: «Ищи его, негодяя, получишь 5000 рублей».

Положивши для этого 1 год 3 месяца жизни, я был предан делу душой и телом. Раненный 9 января, я принужден был скрываться за границей. Теперь, открывши все темные дела Гапона, моя честь и совесть не может спокойно выносить эту мерзость и темных дел Гапона. Я решил открыть эту загадочную личность для рабочих и всего русского народа. Обращаюсь ко всем товарищам рабочим и прошу посмотреть, какой наш вождь, и на что он способен, и как он обманывает нас.

Товарищи рабочие! Возьмите в свои руки наше дело и ведите его сами до конца. Не доверяйте его одной личности и той, которая ничего общего с нами не имела, да и иметь не может. Гапон не может стать с нами за станок и плуг, и поэтому его цели другие и темные для нас, а раз темные, то он нам не нужен и вреден освободительному движению. Я к русскому народу обращаюсь и прошу посмотреть, на что наше правительство бросает деньги.

Председатель Невского района 7 отдела собраний
русско-фабрично-заводских рабочих
Николай Петрович Петров».

Вот о каком письме напомнил Гапону Рутенберг в первые же минуты их встречи после возвращения из Гельсингфорса.

Конечно же, письмо было для Гапона страшным ударом, но Рутенберг с удивлением увидел, что тот нисколько не растерян.

— Петров изменник и провокатор,— совершенно спокойно заявил он,— и подлежит рабочему суду.

Рутенберг решил тронуть, как он думал, самое больное место Гапона в связи с этим письмом.

— Ну хорошо, Петров изменник. Но что после этого подумает о тебе Рачковский? Наверно, теперь полетят все твои планы?

Он напряженно ждал ответа. Гапон предостерегающе поднял руку:

— Об этом не думай. Что для Рачковского какой-то Петров? Есть он на белом свете или его нет? И что для Рачковского и его государственных дел какое-то письмо в газетке? А что касается сути, так Рачковский о тех деньгах знал все до последней мелочи раньше Петрова.

— От кого? — быстро спросил Рутенберг.

— От того же Мануйлова,— спокойно ответил Гапон.— Неужели ты можешь подумать, что вопрос о деньгах для моего общества мог решаться без участия охранки?

— Мне все-таки насчет этих денег не все ясно,— обронил Рутенберг.

Гапон остановился перед ним:

— С деньгами было так. Распоряжение дать их нашему обществу шло от Витте, но практически деньги были получены у министра торговли Тимирязева.

— Кто их получил? — спросил Рутенберг, глядя в бегающие глаза Гапона.

— Я же тебе говорил — Матюшенский.

— Сколько?

— Вот тут и подтвердилась твоя давняя характеристика Матюшенского как авантюриста. Он заявил мне, что Витте нас обманул, дал не тридцать тысяч, как обещал, а всего семь. Но Тимирязев показал нам расписку Матюшенского в получении им тридцати тысяч. Меж тем Матюшенский скрылся, и никто не знал, где он. Но так как в этой операции с деньгами изначально принял участие чиновник Витте по особым поручениям Мануйлов, кото-

рый, кроме того, как ты сам говорил, работает и в полиции, я обратился за помощью к нему. О краже общественных денег он сообщил охранке, и оттуда последовал приказ найти Матюшенского и отобрать у него деньги. Его нашли в Саратове, но у него осталось только двадцать три тысячи, а семь тысяч он успел истратить. Тогда я в правлении нашего общества на Владимирской собрал всех своих ближайших соратников и рассказал им историю этих денег, которые были нам даны на восстановление помещений общества, разгромленных после Девятого января. Мои соратники Кузин, Карелин, Иноземцев и другие стали требовать, чтобы об этих деньгах больше никто не знал. Наиболее горячо об этом говорил именно Петров, и он даже поклялся, что об этих деньгах никогда не вспомнит. Но я тогда категорически заявил, что никаких подозрений насчет этих денег опасаться не следует: деньги даны нам на общее рабочее дело совершенно открыто и официально, и когда будет нужно, я сам через газеты расскажу, что это были за деньги. Тогда Петров стал кричать, что я смогу это сделать только на основе решения общества. Вот же тип, а? А знаешь, почему он написал в газету? Он нуждался в деньгах, а мы из той суммы не дали ему ни копейки и всю ее вложили в наше дело. В общем, я поклялся, что сам совершу возмездие над Петровым. Но ты же, Мартын,— с нервной оживленностью продолжал Гапон,— не знаешь, что произошло еще... Я собрал всю верхушку моего общества вроде бы как на дружеский ужин — почтить память погибших Девятого января. До этого я рассказал о предательстве Петрова рабочему Черемушину*. Ты его знаешь, он человек твердого характера. Он выслушал и сказал: «Я его во время ужина убью, дай мне только револьвер». И я дал ему свой браунинг. Ну вот, сели мы за стол. Черемушин как раз напротив Петрова. Я произнес страстную речь в честь памяти това-

* В других источниках — Черемухин.

рищей, погибших Девятого января. Кончил говорить. И вдруг вижу, как Черемушин достает из кармана пистолет, встает и громко заявляет: «Нет правды на земле!» — и с этими словами стреляет в Петрова раз, два, три, а Петров сидит как ни в чем не бывало, только таращится. И тогда Черемушин приставляет пистолет к виску и стреляется сам. Никто остановить его не успел. Рабочие бросились ко мне, умоляя меня не стреляться, хватали за руки.— Он усмехнулся: — Откуда они взяли, что я хотел застрелиться, не знаю. Я им спокойно сказал: «Давайте поклянемся верно служить рабочему делу». И все поклялись. Очень трагическая это была минута, Мартын, никогда ее не забыть...— Гапон помолчал и добавил: — Но в одном ты прав: все же после всего этого доверие Рачковского ко мне, конечно, не возросло.

— После этой драмы ты с ним виделся? — спросил Рутенберг.

— Я виделся с ним только один раз, но думаю, что до этого, после у меня не было сил идти к нему. Точно не помню...

— Давай вместе посчитаем дни,— предложил Рутенберг.— Это же очень важно для нашего дела.

Стали считать. Гапон путался, злился. Наконец вышло, что он был у Рачковского на другой день после самоубийства Черемушина.

— Значит, сил у тебя все же хватило? Где встретились?

— В отдельном кабинете у Кюба,— подавленно произнес Гапон.

— Как же это ты успел с ним связаться?

— На другой день после драмы я утром позвонил ему и попросил о встрече. Он ответил: «Через час у Кюба позавтракаем».

— Дальше, дальше,— требовал Рутенберг.

Гапон совсем скис, лицо у него будто обвисло:

— Ну... Когда я приехал в ресторан, дежурный тата-

рин сразу же провел меня в кабинет. Рачковский уже сидел за столом.

— О чем говорили?

— Я сказал, что видел тебя перед отъездом в Гельсингфорс, но что ты твердо ответа о встрече с ним не дал.

— О Петрове и Черемушине говорили?

— Он сказал, что подлецы мои товарищи — сперва сами наблудят, а потом стреляются. Я ответил, что сам разочаровался в них.

— А куда ты утром звонил Рачковскому?

— Домой. Номер четырнадцать семьдесят четыре.

— Как он узнаéт, что звонишь именно ты?

— Я называюсь Апостоловым.

— А как зовешь его ты?

— Иван Иванович,— Гапон испуганно встрепенулся.— Зачем ты все это выспрашиваешь?

— Не бойся. Я его не трону. Теперь, если мне встречаться с ним, то только для того, чтобы сорвать у него приличные деньги и уехать куда глаза глядят. Сколько он даст за то, что я приду?

— Тысяч пять даст!

— Мало. Меньше, как за двадцать пять тысяч, не пойду.

— Двадцать пять? — Гапон задумался.— Не знаю, не знаю. Если бы ты ему хоть два слова сказал о делах Иванова в столице, вот тогда можно требовать куда больше.

— Ладно. Связывайся с ним и скажи, что жить до старости я здесь не собираюсь. Хочу уехать. Нужны деньги. Словом, или дело, или иди он к чертям.

— Хорошо, я все передам. Только ты эти дни будь дома,— попросил Гапон.

Теперь Рутенбергу оставалось только ждать известий. Спустя три дня Гапон пригласил его к себе на квартиру.

Дверь открыла жена Гапона. Это была простая женщина с бледным болезненным лицом, слепо и преданно любившая мужа, прощавшая ему все его причуды и выверты и пытавшаяся приучить его к семейной жизни.

— Это так хорошо, что вы пришли,— тихо проговорила она, пропуская Рутенберга в квартиру и помогая ему раздеться.— С ним опять что-то происходит, он сам не свой. Предохраните его от ошибок, он вас слушается...

Рутенберг про себя тревожно удивился — неужели он рассказывает ей о делах?

Она привела его в комнату, где Гапон сидел в кресле, закинув ноги на стол. Увидев Рутенберга, он свалил ноги со стола и встал.

— Так всегда сидят американцы и говорят, что от этого кровь лучше идет к голове,— когда жена оставила их одних, заговорил тихо: — А я думал, ты не придешь. Помоему, ты веришь мне все меньше. Но раз уж пришел, садись, в ногах правды нет,— Гапон показал ему на кресло рядом с собой. И, как только Рутенберг сел, резко повернулся к нему: — Ну, что ты решил?

Тот пожал плечами:

— По-моему, сейчас важно другое — что решил Рачковский? А мое решение тебе известно.

Гапон закинул лицо вверх и задумался, пощипывая бородку:

— Я говорил с ним, правда, только по телефону.— Он исподлобья глянул на Рутенберга.— Он, конечно, тебя ждет. И я так его понял, что если бы ты хоть намекнул, какое дело у Иванова, он дал бы за это даже больше, чем ты хочешь. Они страшно трясутся за жизнь Дурново. Вашей боевой организации они боятся пуще смерти.

— Ну что ж, мы с ним это обсудим,— спокойно сказал Рутенберг.— Но сейчас меня тревожит одно — чтобы о нашей с ним встрече не узнал никто.

— За это я ручаюсь! — торжественно заявил Гапон.— Сам я, как ты понимаешь, могила, а полиция еще никогда

не выдавала своих помощников. Никогда. И даже с которыми у полиции не получилось, после спокойно жили и даже благоденствовали.

Рутенберг покачал головой:

— Но торгуется он зря. Я рискую жизнью. Если просочится хоть капля о нашей встрече, мне крышка. Да и ты конспиратор неважный.

— Как ты, Мартын, можешь говорить такое?

— Ну ладно. А насчет того, дорого я им буду стоить или нет, скажу тебе так. За один мой обед с Рачковским при том, что я буду молчать, мои же товарищи пустят мне пулю в лоб... Кстати, а что получишь ты за то, что уговоришь меня?

Гапон посмотрел растерянно:

— Я тоже хорошо получу, особенно если Иванов связан с Дурново.

Рутенберг усмехнулся:

— Красиво получается: Иванов на виселицу, а ты за деньгами?

Гапон встрепенулся, хотел что-то сказать.

— Ладно. Я решил,— остановил его Рутенберг.— Договаривайся о встрече в ближайшие дни. Но пять тысяч — это не деньги.

— Мартын, он даст гораздо больше, ты ему только хоть чуть-чуть поясни, чем занят Иванов.

— Что значит твое «чуть-чуть»? Это же выдача в их руки боевых товарищей!

— Почему обязательно выдача? Мы же можем их предупредить, и они скроются.

— А если их схватят? Всем виселица! А мне — пуля от своих.

— А ты при чем? Рачковский говорит, что он сделает так, что причиной неудачи будут ошибки самих товарищей.

— Да как ты не понимаешь, что все равно им — виселица?!

— Но и у вас же бывают потери...— вяло возразил Гапон.— А ты, получив деньги, можешь уехать куда глаза глядят и жить там в достатке и покое.

Рутенберг едва удержался, чтобы не сказать Гапону, какая он сволочь.

Но тот продолжал идти напролом:

— Теперь только ваше свидание — и конец,— с наигранной легкостью заключил он.

— Когда можно ждать сигнала от Рачковского? — деловито осведомился Рутенберг.

— Да каждый день может пригласить.

— Ладно, посмотрим,— угрюмо проговорил Рутенберг, в эту минуту решая, что ждать приглашения бесконечно он не будет, а совесть приказывает ему сделать то, что он может сделать уже теперь,— покончить с Гапоном.

А тот точно подслушал его мысли, встрепенулся:

— Ты, Мартын, почему-то не хочешь понять, как опасно втемную играть с этим Рачковским.— Не далее как три дня назад он вызвал меня на встречу. Как обычно, отдельный кабинет, роскошная еда — и сразу вопросик: «Где Рутенберг? Его уже два дня нет в городе». Я отвечаю: «Не знаю, у него свои дела, у меня свои»... И тогда он говорит: «У нас складывается впечатление, что вы оба преувеличиваете надежность гарантии амнистии для вас. Вам обоим следовало бы знать, что амнистия не отменяет обвинения в совершенном преступлении, она только считает на данный момент необязательным наказание. Подчеркиваю, на данный момент». Вот и все. И если, говорит, вы оба не докажете делом, что готовы помочь нам, мы можем в два счета получить согласие министерства юстиции на исключение вас из списка подлежащих амнистии, учитывая тяжесть вашего преступления. Подумайте-ка об этом вместе с Рутенбергом. Вот так...— Гапон умолк и напряженно смотрел на собеседника.— Что скажешь?

— Ладно, намекни им, что я склоняюсь помогать им, но стоить это будет очень дорого. Но ты...— Рутенберг

быстрым шагом подошел к Гапону вплотную,— ты остерегись дать им основание подумать, что со мной все будет легко! Трудно будет и дорого! А если задешево продавать меня начнешь, крепко пожалеешь. А теперь слушай внимательно: при первой же встрече с Рачковским скажешь ему такую фразу, запомни: Рутенберг просил передать, что Иванов приступает к делу. Запомнил?

Гапон точно повторил эти слова. Рутенберг попрощался и ушел...

Предательство Петрова и публичное самоубийство Черемушина, конечно, подкосили Гапона, он вдруг с тоской и страхом отчетливо обнаружил, что главной его надежды — опоры на рабочих — у него больше нет. Оставался только Рутенберг и возможность с его помощью снова обрести доверие и поддержку всесильной охранки.

Как плохой шахматист не умеет обдумывать свои и предвидеть все возможные ходы противника, так и Гапон не был способен охватить умом все хитросплетения своего сегодняшнего сложного и опасного положения и хватался за то, что, по его мнению, сейчас было особо необходимо для него лично. Его не оставляла почти паническая мысль: что будет с ним, если Рутенберг откажется от предложения Рачковского? Но он, однако, и понимал, что для него выход из этой ситуации в том, чтобы Рачковский верил ему и хотел встречаться с ним. И он решает немедленно просить Рачковского о встрече...

На этот раз встреча ему была назначена не в ресторанном кабинете, а на конспиративной квартире охранки на Садовой улице.

Это был скромный по внешнему виду коммерческий дом, в каких снимают квартиры чиновники средней руки. Однако квартира, в которой оказался Гапон, была обставлена дорогой стильной мебелью, но выглядела нежилой

или давно покинутой жильцами. Стол, за который сели Рачковский и Гапон, был покрыт пылью. Рачковский, будто нарочно желая обратить на это внимание Гапона, провел ребром ладони по столу, потом глянул на нее и, достав из кармана носовой платок, тщательно вытер.

— У меня, Георгий Аполлонович, очень мало времени. Давайте только о самом главном. Как Рутенберг?

С ответом промахнуться было нельзя. Гапон осторожно проговорил:

— Я уже сообщал вам, что он колеблется, но для такого человека, как он, это уже почти согласие.

Рачковский пристально посмотрел на него:

— И что же дальше?

— Сейчас его колебания могут привести к желательному вам решению. Есть совершенно новое обстоятельство: у него возник явный конфликт с руководством его партии, и особенно с ее боевой организацией.

— А разве он сейчас видится с ними? — быстро спросил Рачковский.

— За последнее время несколько раз ездил в Гельсингфорс и только что оттуда. Зачем бы ему туда ездить?

Рачковский молчал. Он знал об этих поездках Рутенберга и что тот встречался с Азефом и Савинковым. Знал от самого Азефа. Другое дело, можно ли быть уверенным, что Азеф сообщил всю правду о переговорах? Рачковский допускал, что Азеф может обманывать и его...

— Ну и что же? — пожал он плечами.— Мало ли зачем он туда ездил. Не думаю, чтобы он вам об этом докладывал.

— Но каждый раз, возвращаясь оттуда,— оживился Гапон,— он немилосердно ругал своих лидеров, называл их тряпичными революционерами, потерявшими всякое представление о том, что происходит в России.

Рачковский снова молчал. У него в столе лежало донесение Азефа, в котором тот всячески поносил лидера партии эсеров Чернова, называл его безнадежным поли-

тическим импотентом. Мол, даже рыбу он ловит на искусственных мух. Зная, что Чернов — истовый рыболов, Рачковский искренне посмеялся, прочитав это, и отдал должное острому языку Азефа. Но Азеф так же может продать и его самого...

Рачковский удивленно глянул на Гапона: «А он, оказывается, может улавливать истину, казалось бы, ему недоступную. Но точно ли он видит и чувствует Рутенберга?»

Гапон будто подслушал его мысли:

— Поверьте, Рутенберг стоит на грани согласия пойти вам навстречу, но каждый раз подчеркивает, что это будет стоить вам очень дорого. Последнее время он уже не раз делился со мной своей мечтой пожить спокойно и в достатке где-нибудь в Крыму, а еще лучше — за границей. Он уже сейчас покупает дачу, говорит, запишу ее на имя жены — пусть у нас будет еще и такой запасной уголок для тихой жизни.

Рачковский снова вспомнил донесение Азефа, в котором тот давал ему совет не преувеличивать опасность Рутенберга как революционера. По его наблюдениям, он устал от борьбы и политики и, если бы у него были средства, немедля поменял бы политику на обеспеченную жизнь мещанина.

— Но как же все-таки это наше дело будет развертываться дальше? — спросил Рачковский.

— Мне кажется, лучше всего нам встретиться втроем и поговорить напрямую. Кстати, Мартын настойчиво просил меня передать вам, что Иванов приступает к делу.

Рачковский покачал головой:

— В вашем присутствии он на решающий разговор не пойдет.

— А если так? — дернулся Гапон.— Мы придем вдвоем, а в нужный момент я вас оставлю с ним наедине.

— Я подумаю. Но сначала я жду от вас сообщения, что его колебания кончились.

Рачковский пригласил к себе полковника Герасимова, курировавшего в охранке работу по внешнему наблюдению. Он так сумел поставить эту службу, что охранка знала каждый шаг интересовавших ее объектов. При Зубатове и Медникове культурный уровень филеров соответствовал в лучшем случае уровню церковноприходского училища. Герасимов же брал на службу людей, как он выражался, с собственной башкой на плечах. Это при нем в петербургской охранке появился филер с кличкой «Гимназист», который владел французским и прославился тем, что одно свое донесение закончил стихами:

К полуночи объект прошел домой,
Но и в постели он оставался мой...

Герасимов еще шел к столу Рачковского и уже услышал его вопрос:

— Что происходит с боевиком Ивановым?

— Иванов? Одну минуточку...— Герасимов сел к столу и вынул свою знаменитую «поминальницу» — пухлую записную книжку в черной корочке.— Иванов ведет себя довольно странно. Живет по-прежнему в той же дорогой квартире на Литейном, содержит слугу и повариху, пользуется одним и тем же лихачем.

— Лихач не из обычных их наблюдателей?

— Нет. Скорей, он наш наблюдатель,— улыбнулся Герасимов.— Во всяком случае, его вчерашние маршруты с Ивановым — утром у меня на столе, но они, как правило, пустые. Посещает Донона почти всегда с дамами.

— Этих дам установили?

— А как же! В одном случае артисточка оперетки госпожа Леман, замечу, товарец не дешевый, про Иванова говорит: «Кавалер скучный, но с деньгами не жмется». Из очень состоятельной семьи. Она распространяет слух, будто выходит за Иванова замуж, кстати, для нее он не Иванов, а Шиманский.

— Ну хорошо, хорошо,— поморщился Рачковский.—

А что же Иванов делает в столице еще? Вы же знаете, что он за штучка.

— Ничего для нас существенного. Бывает на бегах, в прошлое воскресенье выиграл там двести рублей. Посещает театры. Ездит в Териоки кататься на лыжах.

— Встречи его там не прозевали?

— Не было встреч. Хотя по воскресеньям там тьма лыжников. Но он катается в одиночку, один раз с нашим «Гимназистом», но без всяких интересных с ним разговоров, кроме как о погоде.

— Странно,— заметил Рачковский.— У меня есть, правда, пока глухая информация, что он приступает к делу.

— Учту,— кивнул Герасимов.— А нет данных, на кого они теперь нацелились? По моим наблюдениям, Дурново они оставили в покое. Может, Трепов? Он недавно получил по почте угрожающее письмо за подписью «студенты-революционеры». Но что это за студенты, пока выяснить не удалось.

— Не прозевайте, полковник! Внимательно смотрите Иванова. Рутенберга смóтрите?

— Он только что съездил в Гельсингфорс. Выяснить, что он там делал, вне наших возможностей.

— Мы это знаем. А что он делал по возвращении?

— Два раза его дом посетил Гапон.

— Иванов с ним не встречался?

— Зафиксирована одна встреча — быстрая, на ходу.

— Спасибо. Но Иванова смотрите неотрывно. Его контакты для нас необычайно важны.

Герасимов ушел. Рачковский задумался над лежащими перед ним бумагами.

Здесь возникает вопрос: сообщал ли Азеф охранке о комбинации Гапон — Рутенберг против Рачковского?

Есть основания предполагать, что по каким-то своим соображениям он этого не сделал. Известно, например, что он ненавидел бывшего директора департамента полиции Лопухина, будто предчувствовал, что в недалеком буду-

щем тот поможет разоблачить его как платного агента охранки. Не перешла ли эта инстинктивная ненависть Азефа и на Рачковского? Кроме того, у Азефа был конфликт с самим Рачковским, когда тот возглавлял заграничную агентуру охранки и был фактическим начальником Азефа, тоже находившегося за границей. Как свидетельствовал позже полковник Герасимов (уже после разоблачения Азефа), причиной конфликта была неуемная жадность Азефа до денег, которую Рачковский будто бы пытался урезать.

Надо сказать, что, когда читаешь хранящиеся в архиве охранки служебные донесения Азефа с очередной «продажей» полиции кого-нибудь из товарищей по партии, в конце почти каждого донесения натыкаешься на его просьбы, «вторичные напоминания», категорические требования прислать ему то 400 рублей, то 700, а то и тысячу. Из какого тарифа он при этом исходил, непонятно.

Так или иначе, неизвестно, предупредил ли Азеф Рачковского о грозящей ему опасности. Если он это и сделал, то несколько позже, о чем можно судить по произошедшему крутому повороту Рачковского в переговорах с Рутенбергом...

Как мы знаем, Борис Савинков был полностью осведомлен о подготовке комбинации Гапон — Рутенберг — Рачковский. Потом, вспоминая эту историю, он напишет, что «возникновение всей этой дикой затеи можно не оправдать, но хотя бы объяснить тем, что в то время у партии С. Р. не было никакого, соответственного обстановке в России, политического актива, вдобавок усиливался разлад внутри партии по поводу эффективности террора, и в этих условиях руководству партии такая фигура, как Рачковский, даже хотя бы в проекте плохо продуманной комбинации показалась престижным делом. Жалко тут одного Рутенберга, который в результате этого попал в трясину безысходного положения...»

Утром посыльный от Гапона принес Рутенбергу коротенькую записку: «Суббота. Ресторан Контан. Девять вечера. Спросить кабинет господина Иванова».

Рутенберг решил ехать безоружным.

Почему он принял такое решение? Позднее, когда возникнет затяжной конфликт по поводу всей «гапоновской одиссеи» между руководством партии и Рутенбергом (мы об этом еще узнаем), Азеф назовет это решение Рутенберга первым и откровенным проявлением его трусости и уловкой, чтобы не выполнить волю партии в отношении Рачковского. Сам же Рутенберг будет объяснять иначе: он думал, если Рачковский подготовил ему в ресторане западню и его возьмут безоружным, то никакого обвинения ему предъявить не смогут, а по старым делам он амнистирован. А если же его разговор с Рачковским состоится, он сделает все, чтобы он не стал последним, и во имя этого пойдет даже на то, что даст честное слово — если узнает, что Иванов готовит покушение на Дурново, сообщит об этом Рачковскому. И он мог такое честное слово дать, ибо знал, что Иванову, который все равно у них под колпаком, такого дела никогда не поручат. А если за это Рачковский проникнется к нему доверием и продолжит встречаться с ним, он выберет удобный момент и ликвидирует его — таково объяснение самого Рутенберга.

В восемь часов вечера он нанял дорогого извозчика (подъехать к такому шикарному ресторану на кляче нельзя) и целый час катался по городу, чтобы явиться в точно назначенное время. Как только он приказал извозчику ехать к Контану, тот оглянулся:

— За вечер вы мой третий пассажир к Контану, один из них похвалялся, будто едет туда на прием к министру Дурново. Вы тоже?

Тот хвастливый пассажир сказал извозчику, видимо, правду: у ресторана было необычное оживление, городовые управляли подъездом экипажей с гостями, у дверей

маячили филеры. Яркие лампочки были окутаны снежной круговертью разыгравшейся метели.

Отпустив извозчика, Рутенберг уверенно прошел к парадному входу — а вдруг Рачковский его ждет?

Когда он вошел в ярко освещенный вестибюль ресторана, было четверть десятого. Гардеробщики с собачьи-преданными физиономиями помогали гостям раздеваться. Рутенберг стал в стороне, держа свое пальто в руке. Уголком глаза он видел, как торчавший у колонны филер ощупывал его острым взглядом.

Подбежал молоденький слуга-распорядитель:

— Я — в кабинет, заказанный господином Ивановым,— небрежно сказал ему Рутенберг.

Слуга исчез, но тут же вернулся в сопровождении важного метрдотеля, который спросил:

— На сколько персон должен быть кабинет?

— На две,— раздраженно ответил Рутенберг.

С легким поклоном метрдотель ушел. Через несколько минут он вернулся и с почтительно печальным лицом произнес:

— Какое-то недоразумение: господин Иванов никакого кабинета не заказывал.

Рутенберг решил схулиганить:

— Если все-таки господин Иванов появится, скажите ему, что его гость приходил...

На улице он сел в повозку лихача, привезшего новых гостей. Вернувшись домой, задумался, что могло произойти? Может, что-то напутал Гапон? Может, Рачковский, назначая встречу, не знал, что в тот же вечер в том же ресторане Дурново устраивает прием, и поостерегся встречаться там с Рутенбергом. Но он не мог не знать об этом заранее, учитывая, что они дрожат за жизнь Дурново. А может, Рачковский по каким-то соображениям решил вообще не встречаться с ним?..

Теперь и нам невозможно точно установить, почему такое важное для Рачковского свидание не состоялось.

Через пять лет Петр Иванович Рачковский в своей домашней постели тихо отдаст богу душу после тяжелой болезни. А за год до смерти он в письме будущему генералу охранки Спиридовичу напишет: «Все-таки тогда, в 1906 году, в своей ситуации с Гапоном я разобрался правильно. Это подтверждают многие эсеровские публикации после убийства Гапона и разглашения тайной деятельности Азефа — они тогда собирались меня ликвидировать вместе с Гапоном. Этот мутновато нами видимый в то время Рутенберг в своих последующих публикациях прямо заявляет, что он должен был выполнить решение партии — убрать Рачковского, воспользовавшись для этого моим с ним свиданием, где он, по словам Гапона, должен был дать мне согласие на сотрудничество. Получить такого осведомителя было для меня грандиозно важно, сами понимаете, но бог помог мне своевременно разобраться в этой ситуации и свидания с Рутенбергом избежать. Наконец, я и не очень-то верил в то, что Гапону действительно удалось сломать Рутенберга и уговорить его стать информатором по боевой организации. В общем, так все сложилось к лучшему. Что же касается казни Гапона его соратниками с участием того же Рутенберга, то ее следует считать вполне логическим действием, учитывая всю вину Гапона перед ними по совокупности, и в этом смысле мне непонятна последовавшая затем тяжба эсеровского ЦК против Рутенберга по поводу казни непутевого попа...»

Итак, Рачковский пишет, что вовремя разобраться в ситуации ему помог бог. Думается, точнее будет другое — ему помог Азеф.

Так или иначе, а та твердо назначенная встреча Рутенберга с Рачковским не состоялась. Рутенберг пытался догадаться о причинах этого. Но утром к нему пришел Гапон — оживленный, напористый и вроде раздосадованный.

— Во всем виноват, Мартын, ты,— выговорил он Ру-

тенбергу.— Ты же в ответ на мою записку не прислал свое подтверждение, что будешь у Контана, и я вынужден был предупредить Рачковского, что встреча не состоится. Он очень расстроился и сказал: «Неверные вы люди, с вами трудно вести серьезное дело». Однако потом все же велел, чтобы я позвонил ему во вторник и договорился о встрече с тобой. Мартын, поверь мне! Встреча состоится! Непременно состоится! Ты только никуда не исчезай и жди во вторник моего посыльного...

Во вторник посыльный принес записку: «Обязательно в конце недели, я заеду за тобой сам».

Гапон нервничал: если сорвется сделка Рутенберга с Рачковским — он пропал, и никаких шансов воскреснуть у него нет и не будет. О восстановлении общества рабочих нечего и думать. После раскрытия Петровым в печати присвоения денег общества, после публичного самоубийства Черемушина, потрясшего всех, кто был при этом, о прежнем доверии к нему рабочих нечего и мечтать. На днях он, проходя через толпу у здания общества, явственно услышал за спиной: «Полицейский поп». Он резко обернулся, ища оскорбителя, но наткнулся на такие суровые, беспощадные глаза рабочих, что счел за лучшее поскорее пройти в здание.

В общем, сейчас его судьба в руках Рутенберга, только бы тот перестал кочевряжиться и играть в дешевое благородство. Ведь стоит ему только сказать несколько слов о том проклятом Иванове — и перед ними обоими откроются дороги в новую жизнь.

И вдруг Рутенберг сам вечером пришел к нему домой — веселый, решительный, как никогда в последнее время:

— Я к тебе на минутку, но минутку, которая решает все.

— Велю жене винца нам поставить, чайку,— засуетился Гапон.

— Я действительно на минутку. А завтра наш последний разговор — и будь все как будет! Я решил дать Рачковскому то, что он просит. На что я иду, ты прекрасно понимаешь, и ты будешь единственным свидетелем того, что произойдет, потому именно с тобой я должен договориться, как мы поведем себя после этого. Прямо тебе скажу, я боюсь только за тебя и хочу дать тебе несколько полезных советов, как потом уйти от всего этого подальше и чтоб никакого дыма не осталось.

— Сделаю все, как ты скажешь, — ответил Гапон.

— Завтра я еду отдавать задаток за дачу, и мы встретимся там. Разговор у нас будет длинный, и никто не должен нам помешать. Это в Озерках. Но сам ты дачу не найдешь, и потому я встречу тебя на станции. Я туда отправляюсь сейчас, а ты выезжай завтра одиннадцатичасовым поездом. Все запомнил?

— Ну как же! Как же! Озерки. Одиннадцатичасовым. Можешь быть уверен.

Рутенберг собрался уходить:

— На случай, если Рачковский захочет увидеться с нами завтра, назначай не раньше семи вечера.

— Понял, понял...

— До завтра.

Гапону оставалось жить меньше суток.

Рутенберг решил действовать незамедлительно. В казни Гапона он видел единственную для себя реальную возможность оправдаться за все, что он не сделал. Самой страшной для него была мысль, что его обвинят в трусости. Азеф, когда только решался вопрос о проведении акции против Рачковского и Гапона, спрашивал у него, не трусит ли он? Признаться в трусости даже себе Рутенберг не хотел и во всем винил Гапона, который вокруг этого дела создал атмосферу неуверенности. В общем, он со своей задачей не справился и надежного выхода на Рачковского не обеспечил. Кроме того, себя Гапон показал способным на крайнюю подлость, Рутенберг мог заподозрить

его даже в том, что он просто решил продать его охранке, которая вообще стала для него единственным и последним козырем в жизни.

Рутенберг спешно приступил к подготовке казни Гапона. Он тайно встречался с его соратниками по обществу рабочих и рассказывал им все о связях Гапона с охранкой и про то, как он теперь продает охранке его. Рутенберг хотел, чтобы суд совершили сами преданные Гапоном рабочие. В этом была своя хитрость — он получал возможность впоследствии заявить, что убийство Гапона совершено им не единолично. Однако в полной мере он этим не воспользуется и признается, что организовал возмездие предателю. А отрицать он будет нечто иное...

Всему, что рассказывал Рутенберг о Гапоне отобранным для казни рабочим, те не только верили, но и сами добавляли свои подозрения и обвинения. Их возмущение и гнев были безмерны, они требовали немедленной и беспощадной расправы с предателем. Рутенберг наметил пятерых, как ему казалось, наиболее надежных рабочих — членов партии эсеров, которые и станут судьями. Однако он считал, что они должны получить совершенно неопровержимые доказательства измены Гапона рабочим, и они получат их из рук... самого Гапона. Там, на даче в Озерках, они своими ушами услышат его разговор с Гапоном, из которого им станет ясно все до последней точки.

Дачу в Озерках еле успели подготовить и к нужному часу в одной из ее комнат поместить рабочих, которые станут судьями.

Рутенберг встретил Гапона на станции, и они не спеша направились к даче. Был конец марта. День выдался яркий, прозрачный. Теплынь, хотя от земли веяло прохладой. Воздух был наполнен ароматом сосны.

— Хоть подышим на природе,— сказал Рутенберг, чтобы хоть что-нибудь сказать, он все-таки очень волновался, и, когда ждал поезд, его не раз прохватывал озноб.

— Не знаю, как ты,— легко заговорил Гапон,— а я, как будут деньги, уеду на родную Полтавщину, куплю домик у реки с вишнями под окнами и буду...— Он вдруг прервал себя и остановился.— Знаешь что, давай-ка поговорим здесь и я со следующим поездом вернусь домой.

— Ты с ума сошел, здесь же что ни поезд — то сотни чужих глаз. И потом такое дело,— спокойно и с деловой строгостью продолжал Рутенберг.— Я для верности приготовил записку Рачковскому, в которой прошу его в исключительно важных интересах поторопиться с нашей встречей. Ты же понимаешь, что значит для него заполучить мою собственноручную записку.

— Я же еще когда предлагал тебе дать ее мне,— напомнил Гапон.

— Тогда я еще не решался на это. Так вот, записка спрятана у меня на даче, я боюсь носить ее с собой, мало ли что... Идем, идем, надо же нам поговорить в спокойной и надежной обстановке.

Когда они подошли к даче и Рутенберг стал отпирать калитку, Гапон, окинув дачу быстрым взглядом, спросил:

— Там никого нет?

— Тут иногда только ночует нанятый мною сторож, но я его вчера отпустил на неделю, он поехал к родне в Лугу. Скажи-ка лучше, ты, пока ехал, хвоста за собой не заметил?

Гапон рассмеялся:

— Чист, как ангел. Рачковский сказал мне, что они за мной уже давно не приглядывают. Но ты, я вижу, труса играешь...

— Если бы ты понимал, на что я решился, тебе было бы не до смеха.

Дача снаружи была заперта на висячий замок. Рутенберг начал его неторопливо отпирать.

— А другой ход есть? — спросил Гапон, заглянув за угол дома.



— Он запирается изнутри засовом,— ответил Рутенберг, распахивая дверь.

Они вошли в темную переднюю. Рутенберг приоткрыл на окне внутреннюю ставню, стала видна узкая лестница на второй этаж. Поднялись в большую комнату с крытой верандой. Гапон сбросил шубу, сел на деревянный диван у стены и, нервно потирая руки, вытянул ноги в новеньких ботах.

Рабочие-судьи находились в соседней комнате, на двери в которую висел замок, который не был заперт, в нужный момент Рутенберг мог мгновенно снять его и распахнуть дверь. А теперь он, медленно шагая по комнате, начал разговор.

— Прежде всего я хочу услышать твое слово священника. Речь пойдет о душе, на которую я лишний грех брать не хочу.

Гапон рассмеялся:

— Давай, исповедуйся... раб божий...

— Я решил дать Рачковскому ниточку к акции против Дурново. И еще — к акции, которая готовится в Москве против генерала Дубасова.

— Отлично, Мартын! — воскликнул Гапон.— Могу тебя заверить, тут пахнет уже не двадцатью пятью тысячами, а помножь на четыре. Понял?

— Деньги деньгами. Но я беру на душу великую тяжесть — ведь охранка похватает наших людей и их повесят. Наверняка! Всех повесят. А мы с тобой останемся при больших деньгах. Может быть грех тяжелее? — он замолчал, изображая душевные муки.

— Но разве сам ты после Девятого января не учил меня, что революция без крови и жертв не бывает? Учил, и я этот закон принял. Я и самоубийство Черемушина отнес на этот закон.

— Вот тебе и на,— удивился Рутенберг.— Ты же сам дал ему револьвер, чтобы убить Петрова, а он выстрелил в себя. При чем тут революция?

Гапон подобрал ноги и всем телом подался вперед:

— Ну допустим даже, что одного-двух схватят. Но они-то погибнут за революцию, которая без крови не бывает! И вообще, мы говорим не о том. Я сегодня утром созвонился с Рачковским. Он ждет тебя завтра в восемь вечера.

— Где?

— В его любимом месте — у Кюба.

Помолчав, Рутенберг сказал обреченно:

— Мне остается успокоить душу одним — что меня казнят свои. Как в молитве: смертью смерть поправ.

— И сущий во гробу жизнь даровав,— почти весело подхватил Гапон. И добавил: — А Рачковский, между прочим, говорил и об этом. Он сказал, что тебя от мести своих спасти очень просто. Для вида, говорил, мы его вместе с другими арестуем, месяца три подержим. И он — чист.

— А если вместе с товарищами повесят и меня? Тогда на твоей душе будет не только Черемушин, но и я — твой друг.

— Рачковский тебя не тронет! Клянусь!

— А если все произойдет по худшему варианту, как ты сам-то жить будешь, как с богом поладишь?

Гапон подумал немного и твердо ответил:

— Если тронут тебя, я застрелюсь, честное слово, но этого не случится. И бог ко мне уже давно милостив.

— А если я опубликую твое покаянное письмо Дурново, в котором ты обливаешь помоями своих рабочих, как на это посмотрят рабочие и все честные люди?

— Ты не сделаешь этого! — выкрикнул Гапон.

— А если сделаю, перед тем как пойти на виселицу?

— Я объявлю тебя сумасшедшим — и делу конец. И вообще, дорогой Мартын, мы с тобой говорим о том, чего не будет. А наша с тобой реальность ясна и проста — мы получаем деньги и уходим в совсем другую жизнь, где нам гарантированы благосостояние и полная безопасность. И скажи мне, кого нам бояться? Общественного мнения?

Да какая ему цена? Подумай, еще недавно это мнение превозносило меня, а теперь об меня ноги вытирают.

— Ладно, оставим это,— примирительно сказал Рутенберг.— А что касается денег, то у тебя их получится поболее, чем у меня. Я же не забыл чек на пятьдесят тысяч франков, который ты показывал мне в Лондоне. Эти денежки, небось, в банк запрятал?

Гапон тяжело вздохнул:

— Ах, Мартын, Мартын, я те денежки еще в Европе растряс, ты же видел, как я там жил, ни в чем себе не отказывал.

— А помнится, ты говорил, что эти деньги даны на революцию. И ты, брат, грешный человек, не менее меня грешен, так что будем мы с тобой по церквам вместе свои грехи замаливать.

Гапон рассмеялся:

— Я знал одного дьякона, который говаривал, что безгрешными бывают только последние дураки.

Огромным усилием воли Рутенберг подавил ярость и спросил:

— Ты знаешь, что предателю Тихомирову * царь подарил серебряную чернильницу?

— Ну и что? — беспечно спросил Гапон, видимо, обрадованный, что разговор уходит в другую сторону.

— Да ведь и тебе могут такую чернильницу поднести.

— Тоже в руку,— рассмеялся Гапон.— Снесу ее в ломбард...

Вот тут Рутенберг одним прыжком очутился у двери в соседнюю комнату и сорвал замок.

Вбежали рабочие.

— Вот твои судьи! — крикнул Рутенберг.

Гапон вскочил, норовя успеть к входной двери, но его схватили, и он мгновенно был связан. И повешен.

---

* Тихомиров Л. А. (1852—1923) — народоволец, отрекшийся от своих революционных убеждений и ставший монархистом.

VIII



В архиве охранки сохранились два документа о смерти Гапона.

1. Протокол пристава 2-го стана СПБ уезда Недельского о найденном им в Озерках трупе:

«1906 года апреля 30 дня (т. е. спустя месяц после казни). Сего в 5 часов дня полицейский урядник Людорф доложил мне, что в Озерках на углу Ольгинской и Варваринской ул., на даче Звержинской, в пустой необитаемой даче, во дворе, сего числа усмотрен на втором этаже в запертой снаружи комнате повешенный человек. Прибыв совместно с помощником начальника СПБ губернского жандармского управления в СПБ уезде подполковником Кузьминым на место, я из расспроса дворника Николая Конского узнал, что 24 минувшего марта дачу эту нанял

на лето один господин, назвавшийся Иваном Ивановичем Путилиным, проживающим угол Чернышева пер. и Фонтанки, меблированные комнаты Виноградова, и дал 10 р. задатку, прося оклеить и приготовить одну комнату наверху и, купив дров, истопить, чего дворник не исполнил, мотивируя тем, что мало было дано денег. 26 марта на дачу приехал молодой человек, видимо, служащий нанявшего дачу и, узнав, что ничего не сделано, на другой день привез якобы своего хозяина, который, дав еще 30 руб., послал служащего заключить условие с г. Звержинской, а сам, говоря, что ему осталось десять минут до отхода поезда, ушел. Г. Звержинская дала расписку на 40 руб. задатку на дачу, сделанную за оплату 190 руб., при этом Путилин требовал, чтобы верхняя комната была бы готова на другой день к 12 час. дня. На другой день прождали жильцов до 3 час. дня, дворник Николай Конский не дождался жильцов. А на следующий день, 29 марта, в 2 ч. дня их встретил другой дворник, Василий Матвеев, причем Путилин послал за пивом своего человека, и когда тот принес таковое, то они дали ему, Матвееву, бутылку, а две оставили себе. Дворник с пивом ушел к себе на дачу Петровой, где живет, а когда пришел обратно, то жильцов на даче уже не было и двери дачи оказались закрытыми, после этого никто уже более не появлялся. Прождав долгое время появления жильцов, дворник Конский поехал разыскивать г. Путилина, но нигде его не нашел. Тогда по распоряжению хозяйки была 26 апреля наведена справка в адресном столе, и оказалось, что разыскиваемое лицо выбыло из СПБ 20 января в Москву. Приметы нанимавших дачу следующие: назвавшийся Путилиным хорошо одет, лет 45, гладко выбритый, волосы на голове с проседью, человек красивый и представительный. Другой, повидимому рабочий, молодой человек лет 19, блондин с едва пробивающимися усиками, одет в тужурку со стоячим воротником и лакированные сапоги, высокого роста, худощавый. 30 сего апреля по просьбе г-жи Звержинской в



присутствии местного урядника Людорфа была вскрыта квартира и все оказалось в порядке, только одна комната была закрыта на висячий замок, вследствие чего был приглашен слесарь Александр Либауэр, в присутствии которого и понятых дворников Конского и Матвеева был обнаружен повешенный или повесившийся человек, по всем признакам и по сличению с фотографической карточкой напоминающий бывшего священника Георгия Гапона. Веревка, на которой висит тело, обыкновенная для сушки белья, довольно толстая, повешена на незначительную железную вешалку, тело находится в сидячем положении, ноги согнуты в правую сторону, около, справа, валяются боты новые (два), слева темно-серая мерлушковая шапка, покрыт меховым пальто с бобровым воротником, один рукав которого завязан тонкой веревкой. Повешенный одет в темно-коричневый жилет, сверх которого одет черный пиджак, под цветной сорочкой фуфайка коричневого цвета, на ногах черные брюки, при нем черные часы с цепочкой, а также обратный Финляндской ж. д. билет II класса от 28 марта, а на столе разостлан номер газеты «XX век» от 27 марта и на этой газете белый ситный хлеб около 2-х фунтов. Около этажерки вблизи ног покойного валяется его галстук и стекла от разбитого стакана и вблизи пивная бутылка, наполненная какой-то жидкостью. Повешенного человека дворники в лицо никогда не видели.

Пристав Недельский».

2. Рапорт о похоронах Гапона.

«В дополнение рапорта от 30 минувшего апреля за № 1297 доношу Вашему превосходительству, что 3 сего мая тело убитого Георгия Гапона предано земле на Успенском городском кладбище, что по Финляндской ж. д., похороны окончились в час тридцать дня и прошли спокойно. Обедня началась в 10 ч. утра, и к этому времени стал стекаться рабочий народ, которого было до 200 человек, в числе рабочих были и женщины. На похоронах находи-

лись приехавшая возлюбленная покойного Мария Кондратьевна Уздалева и подруга ее Вера Марковна Карелина. На могилу покойного возложены венки: 1) с красной лентой, с портретом Гапона, с надписью: «9 января, Георгию Гапону от товарищей рабочих членов 5 отдела»; 2) с черной лентой: «Вождю 9 января от рабочих»; 3) с красной лентой: «Истинному вождю революции 9 января от рабочих»; 4) с красной лентой: «Дорогому учителю от Нарвского района 2 отделения» и 5) с красной лентой: «Василеостровского отдела от товарищей многоуважаемому Георгию Гапону». Собравшиеся рабочие пропели похоронный марш, начинающийся словами: «Вы жертвою пали...» Затем стали говорить на могиле речи рабочие: Кладовников, Смирнов, Князев, Ушаков, Кузин и Карелин о том, что Гапон пал от злодейской руки, что про него говорили ложь, и требовали отмщения убийцам. Затем послышались среди присутствующих крики: «месть, месть, ложь, ложь». После этого пропели вечную память и, исполнив гимн «Свобода», начинающийся словами «Смело, товарищи, в ногу», все рабочие покинули кладбище, закусили в буфете и спокойно разошлись. На могиле похороненного поставлен деревянный крест с надписью: «Герой 9 января 1905 г. Георгий Гапон». Сделанный мною по случаю похорон усиленный наряд полиции из урядников и стражников на Успенском кладбище снят.

Исправник Колобасов.
№ 1297 от 3 мая 1906 г.».

Вот так — спокойно, чисто протокольно и на уровне не выше станового пристава. Но важно заметить, что исправник Колобасов в своем похоронном рапорте обращается к «Вашему превосходительству». К кому именно — непонятно, но скорей всего все же к Рачковскому, поскольку именно он по службе занимался Гапоном и его должно интересовать все с ним связанное.

Так или иначе, никаких эмоций или деловых распоря-

жений эти документы не вызвали, на них одна и та же размашистая надпись: «В архив». Но не забудем, что эти документы поступили в охранку спустя месяц после смерти Гапона, когда Рачковский о его конце узнал уже почти все. А тогда, месяц назад, эмоции были, во всяком случае, у Рачковского. Были и распоряжения...

Об исчезновении Гапона он узнал 1 апреля. Заявление об этом сделала жена Гапона в полицейский участок по месту своего жительства (правда, позже выяснится, что это была не жена, а возлюбленная). Но так как Гапон был фигурой весьма известной, заявление попало в «свод происшествий» особой важности.

1 апреля в кабинет Рачковского зашел его заместитель полковник Герасимов. Положив перед ним на стол «свод происшествий», он, смеясь, ткнул пальцем в строку об исчезновении Гапона:

— Имеете неплохую первоапрельскую шуточку, во всяком случае, хотелось бы иметь это в качестве шутки...

А Рачковскому было не до шуток. Как только Герасимов ушел, он приказал своему сотруднику Михайлову лично проверить это происшествие.

Михайлов посетил заявительницу 2 апреля и доложил: «Г-жа Уздалева имеет основания для тревоги и предположения об исчезновении. Гапон уехал от нее 28-го марта утром, сказав, что хочет часок подышать весной, и напомнил ей, что вечером, как было между ними условлено, они вместе идут в гости. В тот день он домой не вернулся и его нет по сей день, на что у нее нет никаких объяснительных версий, кроме той, что его важные дела всегда отнимали у него очень много времени».

В тот же день всевидящий Герасимов сообщил Рачковскому, что его наружным наблюдением установлены 26 и 27 марта поездки эсера и друга Гапона Рутенберга по Финляндской дороге в Озерки, причем 26-го с возвращением в тот же день, 27-го — без возвращения. А 30 марта Рутенберг выехал в Гельсингфорс, имея при себе чемодан,

Далее следует телефонограмма Рачковского в Озерки местному уряднику Людорфу: «Срочно выяснить, имело ли место пребывание в Озерках священника Гапона 26, 27 и 28 марта с. г.».

Ответ Людорфа: «Пребывание Гапона в Озерках в указанные дни не установлено».

Рачковский сразу же связал исчезновение Гапона с Рутенбергом и его отъездом в Гельсингфорс. Спустя пять дней это получает первое, правда зыбкое, подтверждение: рабочий электростанции Кирилл Потанин в трактире Сыроватова, в своей компании, говорил, что ему откуда-то известно, что Гапона где-то под Петербургом судили рабочие и приговорили к смерти за связь с полицией. Эту версию Рачковский принял как весьма достоверную, и его тревожило, как бы она не растеклась по городу. Агенты и осведомители охранки подняты на ноги, особо те, которые раньше «опекали» гапоновское общество. Один из них доносил: «...разговоры об этом идут, но установить источник не удается». Агент, в чьем донесении сообщалось о разговоре в трактире Сыроватова, предлагал доставить на Фонтанку рабочего Потанина и допросить. Рачковский на это не пошел — не надо поднимать пыль впереди пролетки. Однако пыль поднималась сама.

В газете «Новое время» появилась заметка под заглавием «Слух»: «По городу бродит слух об исчезновении или убийстве Георгия Гапона. Близкая Гапону г-жа Уздалева, проживающая в Териоках, факт исчезновения подтверждает, но допускает его поездку за границу, о которой он ей говорил. Категорически не отвергает она и возможность убийства, так как врагов у Гапона, особенно последнее время, было много даже среди его недавних приверженцев. Конкретно указала на рабочего Петрова, который недавно выступил против Гапона даже публично в газете. Поговаривают и о возможной политической подоплеке убийства, если таковое действительно произошло».

Эта газетная заметка, что называется, подлила масла в огонь, и теперь в разговорах многие ссылались на газету, каждый трактовал заметку, как хотел. Рачковского тревожили рассуждения о политической подоплеке, в которых чаще всего фигурировала версия, что Гапон убит своими последователями за связь с полицией. Истинная судьба Гапона Рачковского не трогала, более того, он хотел поскорее получить подтверждение, что тот убит. И вскоре он такое подтверждение получит из Гельсингфорса от Азефа со ссылкой на находящегося там Рутенберга, который сам участвовал в суде и казни.

Вот когда Рачковский начинает уже серьезную операцию по защите собственного мундира! Он же прекрасно знает, что провал его комбинации с вербовкой Рутенберга произошел из-за Гапона, который попросту не справился с задачей, чего даже при беглом знании Гапона следовало ожидать. Знают это и те работники охранки, которым эта комбинация была известна, в первую очередь полковник Герасимов, который тоже встревожился и даже нашел нужным напомнить Рачковскому, что он, Герасимов, в комбинации практически не участвовал. Рачковский ответил ему на это со злостью: «Корабль еще не тонет, полковник, не торопитесь бежать». Но сам-то он был встревожен более Герасимова, ибо хорошо помнил о судьбе Зубатова, выброшенного на свалку как раз за грубые ошибки в использовании агентуры. А эта скандальная история с Гапоном может стать достоянием широкой гласности. За спиной у Рутенберга его партия эсеров, у которой есть все возможности распубликовать ее в европейской печати. В этом смысле смерть Гапона обрадовала Рачковского — не стало главного свидетеля провала проводившейся им комбинации по вербовке Рутенберга. Но Рутенберг-то оставался за границей, где добраться до него было нелегко, почти невозможно, так как подключить для этого все силы и возможности охранки Рачковский не мог. Ведь даже его правая рука полковник Герасимов, который не раз присутст-

вовал на его встречах с Гапоном, теперь от этого открещивался.

Рачковский придумал и разработал хитрейшую операцию против Рутенберга. Он использовал для нее давнего агента охранки, числившегося в журналистах, Манасевича-Мануйлова. Тому было поручено срочно выступить с серией статей, дискредитирующих эсеровскую партию, ее боевую организацию, руководителей. Манасевич получил искусно изготовленные в охранке документы, весьма похожие на подлинные. Он получил даже заголовок для серии статей — «Маски»: вот, полюбуйтесь на лидеров этой партии — один к одному безликие люди, способные на все.

Рутенберг на первом плане. Он выставляется как активный член боевой организации, для которого главная цель в жизни — деньги. «Мне удалось,— говорилось в одной из статей серии,— получить подтверждение высокого официального лица, имени которого я не имею права назвать, что Рутенберг собирался за очень крупную сумму передать через Гапона охранке важные тайны боевой организации, членом которой он был. Торг об этом уже близился к концу, когда Рутенберг, почувствовав тревогу, решил от этой сделки отступить. Он вызвал Гапона в Озерки якобы для завершения торга и там его убил, устранив таким способом и своего дьявола-искусителя, и единственного возможного свидетеля против него на партийном суде за измену и предательство...»

Эту серию статей следует признать мастерски выполненной охранкой провокацией. Дело дошло до того, что Центральный комитет эсеровской партии выступил с ответом, который получился явно поспешным и плохо продуманным. В нем, как говорится, с порога отрицалось все, о чем говорилось в статьях. А о Рутенберге в ответе было сказано только то, что он не был членом боевой организации и что, таким образом, партия не имела никаких сношений с Гапоном. И ни слова о связи Рутенберга с департа-

ментом полиции: мол, ЦК об этом тоже ничего не знает и потому не может ничего сказать, а тем более нести за это ответственность. В общем, в то время как Рачковский в создавшейся ситуации тщательно продумывал каждый свой шаг, руководство эсеровской партии действовало опрометчиво и само ставило себя в двусмысленное положение. Не говоря уже о Рутенберге, которого они сами подталкивали в яму...

Здесь следует вспомнить, что в это время членом ЦК и лидером боевой организации эсеров был агент и провокатор охранки Азеф и конечно же Рачковский не мог не воспользоваться его помощью в такой дискредитации Рутенберга, чтобы тот длительное время не мог выступить как свидетель по комбинации охранки с Гапоном. Почти наверняка Азеф приложил руку к составлению ответа ЦК на статьи «Маски».

Теперь Рачковского беспокоило, как поведут себя рабочие-эсеры, принимавшие участие в суде и казни Гапона: они же свидетели того, как Гапон на их суде давал показания о своих связях с охранкой. Тут снова срабатывает подручная газета «Новое время». В разделе «Происшествия» она печатает: «В субботу в трактире Козырева (Оренбургская ул., на Выборгской стороне) произошла безобразная пьяная драка, как это ни странно, связанная с именем Гапона. Сильно пьяный рабочий — клепальщик с Невского судостроительного, в полиции назвавшийся Крупниковым, среди пьяной застолицы принялся похваляться, будто он судил и убивал Гапона. Но за столом и в помещении оказались несколько тоже нетрезвых приверженцев Гапона, которые набросились на Крупникова и стали его избивать за клевету на их кумира. Драка грозила превратиться в массовое побоище, если бы вовремя не подоспели чины полиции. Закоперщики драки доставлены в арестное помещение и будут преданы суду за нарушение порядка, и там они уже будут иметь дело с судьями настоящими!»

Все, что мог предпринять Рачковский в столице, он сделал. Так или иначе, он мог считать, что опасность, которую представлял собой Рутенберг, уменьшилась, может быть, даже полностью устранена. Но все-таки он не знал того, что предпримет сам Рутенберг...

На другой день после казни Гапона Рутенберг приехал в Гельсингфорс и там через эсера Зиновьева передал руководству партии проект заявления для газет о казни. Спустя сутки этот же Зиновьев привез ему письмо члена ЦК Натансона, в котором Рутенбергу предлагалось немедленно уехать за границу. Что же касается заявления для печати, то не без иронии у него просили разрешения заняться заявлением самому Центральному комитету.

Словно ослепший, шел он по весенним, ярко освещенным улицам финской столицы, то и дело натыкаясь на прохожих. Собственно, куда он шел?.. Постепенно к нему приходило сознание безвыходности положения, но он не мог понять, почему с ним так поступают? Он не знал даже, где ему переночевать. Около полуночи добрел до вокзала и сел там на деревянную скамью. Немного обогрелся, понаблюдал безлюдный ночной вокзал. Вдруг подумал: зацепись сейчас за него полицейский патруль — это может кончиться очень плохо, у него же нет никаких документов. Чувство реальной опасности словно подстегнуло Рутенберга, и он вспомнил, что здесь, в Гельсингфорсе, в районе порта, живет хорошо знакомый ему эсер, даже его адрес вспомнился.

Он разыскал этот адрес около полуночи. Нажав кнопку звонка у двери, замер в тревоге: а что, если знакомого нет дома?

Но тот был дома и принял его приветливо.

— Мне нужно на недельку скрыться,— сказал ему Рутенберг, ничего не объясняя.

Знакомый ответил, что утром свезет его на хутор к брату, недалеко от города.

Так и было сделано. Расставаясь уже там, на хуторе, Рутенберг попросил знакомого по возвращении в город зайти в гостиницу, где жил Зиновьев, и сообщить ему, где он находится.

Спустя несколько дней к Рутенбергу на хутор приехал член боевой организации эсеров Борисенко, которого он давно и хорошо знал. Он привез устное сообщение от Азефа о том, что Центральный комитет не будет делать каких бы то ни было заявлений по поводу смерти Гапона, так как это было частной его, Рутенберга, инициативой, и, таким образом, он может поступать по своему усмотрению. Кроме того, Борисенко рассказал, что Азеф в ужасном настроении от того, что к уже случившимся неудачам боевиков в России прибавилось новое — получено известие, что в Москве арестован Савинков. При этом Азеф считает, что охранка смогла выйти на Савинкова в результате сношений Рутенберга с Гапоном и нарушения ими конспирации. Рутенберг ошеломлен — по его вине арестован и может быть казнен Савинков, к которому он испытывает большое уважение! Нет! Об этом он не может даже подумать!

— Ты в это веришь? — кричал он Борисенко. Но тот молчал, лицо его оставалось непроницаемым.

Ночью, не дожидаясь рассвета, Рутенберг помчался в Гельсингфорс. Еще не развеялись сумерки утра, когда он позвонил Азефу и потребовал свидания. Тот ответил холодно и резко:

— Нам с вами говорить не о чем! Все, что я мог вам сказать, вы уже знаете от Борисенко,— и положил трубку.

Не зная, чем будет платить, Рутенберг снял дешевенький номер в гостинице и сообщил Зиновьеву, где поселился. На всякий случай...

Он лихорадочно размышлял, что же ему дальше делать, как поступить? Сообщить, как приказано, что казнь Гапона была его частной инициативой, он не мог. В этом случае он должен сообщить и о своих попытках добиться свидания с Рачковским. А он это делал вместе с Гапоном, и это

будет значить, что они вместе совершали преступление, за которое казнен Гапон. А он, Рутенберг, что? Оправдан? Кем? Сослаться на партию он не имеет права. Наконец, обвинение его в том, что он содействовал аресту Савинкова, проявив неумелость конспиратора. Отстранить этот ужас от себя ему было тем труднее, что он знал за собой эту беду — плохую конспиративность, имел за это даже замечание от партии два года назад... Но у него не было никаких разговоров с Гапоном о Савинкове — это он знал точно. Выхода из создавшегося положения он не видел, и у него возникла мысль о самоубийстве с оставлением документа о его причинах.

Вдруг утром посыльный от портье гостиницы пригласил его к телефону.

Кое-как одевшись, Рутенберг бегом бросился в холл. Взял трубку и услышал в ней голос... Савинкова:

— Здравствуйте, Петр! Я только что приехал из Москвы. Все связанное с вами знаю, и сейчас мы с Иваном Николаевичем приедем к вам.

Они вошли в его номер оживленные, даже веселые. Оба его обняли, Савинков поцеловал. Азеф в эту минуту снисходительно улыбался.

— Я считаю, я убежден,— энергично заговорил Савинков,— что смерть Гапона должна быть объявлена делом партии.

Азеф грузно прошелся по тесной комнате и сказал:

— Нет, Борис Викторович, в заявлении не должно быть ни слова о партии или о боевой организации.

— Но тогда заявление не будет соответствовать истине! — воскликнул Рутенберг.— Я такое написать не смогу. Если кто-то другой сумеет подготовить такой документ, хотя бы спрятав истину, я его подпишу.

— Попробуйте написать вы, Борис Викторович,— предложил Азеф.

— Попробую,— согласился Савинков.

И они ушли.

Спустя час Савинков вернулся и сказал, что у него заявление не получается, и предложил идти к члену ЦК Натансону.

— Я же не член ЦК,— объяснил он,— и не имею тут решающего голоса.

Пошли к Натансону. Туда же был приглашен и Азеф. Савинков доложил о положении с заявлением. Не дослушав его, Натансон стукнул кулаком по столу:

— Пока я жив, я на это не соглашусь! Мое мнение: ничего о смерти Гапона не публиковать. Оставить это тайной. Мало ли у революции бывает своих тайн! А через год или два, в зависимости от будущих обстоятельств, ЦК сделает заявление.

И вдруг против этого возразил Азеф:

— Откладывать это нельзя,— категорически заявил он.— Или мы сейчас берем на себя это дело, или никогда!

Продолжая не понимать причины спора, Рутенберг спросил:

— Может, кто-то считает, что Гапон погиб невинно?

— Я этого не считаю,— ответил Натансон.— И тебя я считаю единственным, кто имел моральное право вынести ему смертный приговор.

— Но разве не было приговора ЦК об убийстве и Рачковского, и Гапона? Наконец, разве Иван Николаевич не говорил мне, что, если с Рачковским не выйдет, казнить Гапона? — спросил Рутенберг и услышал невероятное:

— Ничего даже похожего я вам не говорил,— заявил Азеф, глядя ему в глаза.— Не было решения ЦК и о двойной акции.

— Но тогда разрешите мне написать все, как было, в моем личном, так сказать, представлении,— попросил Рутенберг, ошеломленный вероломством Азефа.

— Пишите, что хотите,— бросил тот,— но ни слова о партии, о боевой организации, а значит, и обо мне.

— Да, именно так,— рассерженно произнес Натансон.

Савинков молчал...

Рутенберг придумал такой ход: написал заявление от имени суда рабочих, приговорившего Гапона к смерти, и засвидетельствовал его своей подписью, как одного из участников суда. Отнес заявление Азефу.

Тот сел к столу и, стиснув лоб пальцами, начал читать. Читал долго, несколько раз отрывался, смотрел вверх, что-то обдумывая, и снова возвращался к тексту. Рутенберг стоял перед столом и от волнения начал чувствовать в ногах дурную слабость.

Но вот Азеф закончил чтение и протянул ему заявление:

— Этот документ, Петр Моисеевич,— заговорил он глухим голосом,— порождает совершенно новую ситуацию, причем мне непонятно, какую роль в этой ситуации вы предлагаете мне, тем более никакой моей роли в этом не может быть. Это пишут рабочие, ваши соучастники в казни Гапона. Вы то, что они пишут, подтверждаете своей подписью, а что должен делать я? — он поднял на Рутенберга маслянистые черные глаза.— И этот документ только подтверждает, что акция была вашим личным делом.

— Но рабочие свидетельствуют: я им сказал, что партия, членами которой они являются, об этой акции знает.

Азеф откинул свое грузное тело на спинку кресла:

— И это ваше попросту неправдоподобное заявление рабочим тоже целиком на вашей совести. Я здесь ни при чем, а партия и подавно.

В душе Рутенберга вспыхнула такая ярость против Азефа, что он не мог ему ответить. Тот, очевидно, понял это по его глазам и сказал:

— Кроме всего, как вы намереваетесь переправить этот документ в Петербург? Почтой высылать нельзя — это вы, надеюсь, понимаете, даже не очень глубоко владея законами конспирации. Пока вы будете ждать надежной оказии, пройдет время, а в иностранных газетах, да и в русских тоже, появились сообщения о таинственном ис-

чезновении Гапона. Его адвокат Марголин звонил из Берлина Чернову, спрашивал, как понимать эти сообщения, и заявил, что он собирается возбудить официальное расследование. Могу сообщить вам мнение Чернова, это и мое мнение тоже: вам надо поскорее уехать за границу, во Францию или Германию, и там терпеливо переждать развитие событий. Все привезенные вами вещи Гапона мы отсылаем адвокату Марголину в Берлин, можем послать ему и это ваше заявление, а вы уж там вместе с ним решайте, как вам поступить, но не вздумайте нарушить партийную дисциплину и впутать в это дело партию или кого-то из ее руководства. Больше я ничего сказать не могу...

В чем тут все-таки было дело? Почему руководство партии эсеров заняло такую странную позицию по отношению к Рутенбергу?

Чтобы разобраться в этом, необходимо разделить это время на два периода: первый — до разоблачения Азефа как давнего платного агента охранки, а значит, выполнявшего ее волю; и второй — после его разоблачения.

Рачковский все учитывает, и прежде всего то, что Рутенберг в партии на хорошем счету, партия может за него заступиться, используя для этого имеющиеся у нее возможности публикации своих материалов в европейской печати. Следовательно, Рутенберг должен быть скомпрометирован настолько сильно, чтобы любое его свидетельство подвергалось сомнению и чтобы у партии возникло желание вообще от него отречься. К выполнению этой задачи Рачковский конечно же подключает Азефа, своего агента, члена ЦК эсеровской партии и руководителя боевой организации. И мы уже видели, как Азеф это делает. Ему тем легче со всем этим справиться, что в тот момент он самый влиятельный человек в руководстве партии и отлично знает, что сейчас в ЦК

нет ни одной сильной личности, которая могла бы ему противостоять. Лидера Чернова он уже давно про себя прозвал балалайкой без главной струны. Савинков — импульсивный романтик. Гершуни — дышит на ладан. Натансон — главный поддакиватель. Гоц — далече. Словом, никто не мешает Азефу загнать Рутенберга в глухой угол, ему даже помогают, как мы уже сейчас увидели...

Появление статей Манасевича «Маски» еще больше усложнило положение Рутенберга. Он публично назван агентом охранки — а как это опровергнешь? Это могла бы сделать партия, и он просит об этом ЦК. В печати появляется ответ ЦК на статьи «Маски». В нем отвергаются как подлые измышления охранки все дискредитирующие партию факты. А по поводу Рутенберга в ответе содержатся только опровержение того, что он член боевой организации, и заявление, что партия никаких сношений с Гапоном не имела и о его смерти ей ничего не известно. Об обвинении же Рутенберга в сношениях с охранкой — ни слова.

Его положение становилось поистине трагическим. Из Петербурга приходили известия, что там распространяется версия, будто народный защитник Гапон убит правительственным агентом Рутенбергом. Нетрудно догадаться, что о создании и этой версии позаботился Рачковский. Не случайно она попала на страницы газеты в статье, подписанной тем же Манасевичем-Мануйловым.

Рутенберг решил потребовать над собой партийного суда. Поскольку большинство членов ЦК жили в Европе, он решил выполнить полученную раньше рекомендацию Центрального комитета уехать за границу, в Германию. Оттуда он направил Чернову требование о суде и вскоре получил телеграмму от Азефа, назначавшего ему свидание в Гейдельберге.

Это их свидание состоялось вечером 18 июля на набережной. Азеф пригласил Рутенберга присесть на скамейку. Изо всех сил сдерживая злость, Рутенберг спросил:

— Почему ЦК до сих пор ничего не сообщил о моем деле?

— Петр Моисеевич, неужели вы не понимаете, что Центральный комитет по горло занят массой важнейших дел?! Но могу вам сказать, что такое заявление будет сделано. В свое время. Впрочем, что вы рассчитываете прочитать в этом заявлении?

— Прежде всего то, что в этой истории моя честь вне всяких подозрений.

— Опомнитесь, Петр Моисеевич! Не хватало еще сделать заявления о незапятнанности чести Чернова, моей, Савинкова, включая и нашего святого Гершуни. Неужели вы не понимаете, что подобные заявления просто постыдны, позорны для нашей партии?! Давать справки о честности людям, которые несколько раз с открытыми глазами шли на смерть! Ужас!!

Рутенберг молчал. А вокруг был теплый летний вечер, напоенный пряным ароматом цветущих лип; по ярко освещенной набережной фланировали праздные люди, отдаленно слышалась музыка... Рутенберга внезапно пронзил страх, что он сходит с ума. К реальности его возвратил строгий голос Азефа:

— Я хочу сделать вам одно предупреждение пока чисто личного характера. Вы в партии рядовой солдат. Крупинка у подножия горы. И дикая нелепость думать, что вы можете диктовать партии свою волю. К примеру, вы сильно рискуете, когда кому попало рассказываете о моем участии в убийстве Гапона.

— Я говорю только правду! — вспылил Рутенберг.

— Значит, вы и мне будете говорить, что я поручил вам убить Гапона?

— Уж вам-то во всяком случае! — охрипшим от злости голосом ответил Рутенберг.— Вы-то знаете, что именно так и было.

— Вы лжете! — задохнулся Азеф.— Лжете!

Рутенберг, сжав зубы, скрыл за спиной кулак:

— Больше мне с вами говорить не о чем. Я требую, чтобы партия провела следствие и суд по делу Гапона.— Он поднялся со скамейки. Поднялся и стал рядом с ним Азеф. Рутенбергу показалось, что лицо у него растерянное, такого он никогда раньше не видел. Он точно угадал состояние Азефа — ничем хорошим партийный суд по делу Гапона обернуться для него не мог. Наоборот...

— Ладно,— наконец выдавил из себя Азеф.— Ваше требование суда я передам Центральному комитету, но, будучи человеком честным, предупреждаю вас, что мой голос как члена ЦК будет против суда.— Он взял Рутенберга за локоть, как бы дружески сжал его: — Петр Моисеевич, я понимаю ваше состояние, у вас издерганы нервы, мелочи видятся вам преувеличенно, наконец, вас угнетает отсутствие дела. Знаете что? Поезжайте-ка вы в Россию, включайтесь там в работу — и все станет на свое место.

У Рутенберга пресеклось дыхание, и он сорвавшимся голосом крикнул:

— Торопите меня на виселицу? Не выйдет! Не поеду!

И тут произошло настолько неожиданное, что Рутенберг потом не мог поверить, что это действительно произошло. Азеф резко приблизил свое лицо к его лицу, шепнул: «Поезжай, поезжай» — и прикоснулся к его щеке влажными губами. Рутенберг не успел никак отреагировать на это, потому что Азеф уже уходил от него широким шагом и вскоре исчез в толпе гуляющих.

Да, это был уже поистине поцелуй иуды...

В общем, Рачковский делал все, чтобы обезвредить опасного свидетеля Рутенберга. Лучше всего, конечно, было устранить его физически. И он бы это сделал, выполни Рутенберг совет Азефа ехать в Россию. Полковник Герасимов потом вспомнит, как Рачковский в те дни в разговоре с ним воскликнул: «Увидеть Рутенберга на виселице — больше мне ничего так не хочется! И это может случиться!»

Но почему все-таки Центральный комитет партии эсеров занял такую позицию, при которой истина о смерти Гапона скрывалась от всех, а все сосредоточилось на в общем второстепенной фигуре Рутенберга, который тем не менее действовал отнюдь не самостийно?

Как мы увидим дальше, после разоблачения Азефа все более или менее станет ясным. Но до разоблачения в этой игре сплетался тугой клубок из многих часто взаимоисключающих интересов и целей.

Здесь уместно привести личное письмо начальника заграничной агентуры охранки Ратаева своему другу начальнику департамента полиции Зуеву (письмо датировано 1909 годом):

«Дорогой друг Нил Петрович! Отправил тебе письмо по поводу подлой деятельности с.-р. Бурцева по раскрытию наших конспиративных связей (В. Бурцев первый публично разоблачил провокаторскую деятельность платного агента охранки Евно Азефа, а затем и других секретных агентов охранки Гартинга-Лездена, З. Жученко, Серебряковой и других.— *В. А.*). Вдогонку шлю тебе это письмо, в котором размышления о том, что в письме предыдущем.

Так случилось, что тебе выпало разгребать грязный мусор, оставленный Зубатовым, Лопухиным и другими твоими предшественниками, но так бывает всегда, вот и я здесь все еще подметаю мусор, оставшийся после Рачковского. И тут моя мысль проста и ясна: роковой ошибкой наших предшественников, которой мы должны избежать, была неразборчивость при подборе секретной агентуры, когда в погоне за сегодняшней весьма относительной полезностью не бралась в расчет прочность избранного в различных обстоятельствах последующего времени, предугадать которые чрезвычайно трудно, но чрезвычайно необходимо. И здесь я хочу вернуться к фигуре Гапона. Это прямо классический пример. Зубатов положился на него, наверно, только потому, что этот поп стал последовате-

лем его идей о легальном рабочем движении. Лопухин даже после 9 января, этой чудовищной провокации Гапона против монархии, поверил в возможности Гапона, уехавшего за границу, вести там освещение опасных врагов России, находившихся в эмиграции. Но как он мог при этом не задуматься над тем, что сам Гапон человек мелкий и безудержный искатель и раб публичной славы, за что он готов отдать все, что имел, и то, что никак ему не принадлежало — престиж и покой Российского государства, к тому же он еще и малоросс. Разве все это не было видно таким умным людям, как Лопухин, Рачковский и Герасимов? Но нет, торопились поскорее получить то, что получить очень трудно, учитывая опытность революционеров в конспирации. И что в результате произошло? Гапон прибыл в Европу и бросился в раскрытые объятия бездельников из среды политических эмигрантов из России, для тех это объятия вроде как с самой революцией, ибо они не имели представления, что произошло и происходит в далекой им России, а для Гапона это опять была слава, да еще на фоне целой Европы. Дальше больше. Совершенно ошалевший поп возвращается в Россию доделывать революцию. Ему неизвестно, на какие — не то американские, не то японские — деньги покупают целый пароход оружия. Правда, этот пароход удалось перехватить, посадить на мель и утопить, чему, я слышал, содействовала болтливость Гапона, который про этот пароход трубил по всей Европе. Но сам Гапон, как всякое говно, не утонул. В России он попадает под амнистию — ну ладно, пусть гуляет и по мере допустимости воняет, но происходит нечто совсем иное — кому-то (до сих пор не могу понять кому), но кажется, все-таки Рачковскому, впало в голову завязать Гапона в комбинацию по освещению боевой организации эсеров, используя друга Гапона эсеровского боевика Рутенберга. Ты только представь себе: Гапон должен завербовать опытного боевика и привести его на Фонтанку с подробным докладом о планах боевой организации!

Вот это и окончилось так, как именно и должно было кончиться — эсер-боевик Рутенберг повесил Гапона на какой-то даче. И эту комбинацию вел Рачковский. Но разве он не видел, кто такой Гапон, когда тот резвился в Европе? И вот опять — в состоянии дражемента за жизнь Дурново влезли в заведомо провальную комбинацию. Умоляю тебя, Нил Петрович, помни об этих уроках и при подборе агентуры будь особо внимателен и требователен, помни: плохих агентов сколько хочешь, а таких, как Азеф,— на всю жизнь может выпасть один раз...

Крепко жму твою руку Л. Ратаев».

Что касается Рутенберга, то он стал жертвой Гапона и собственной политической несостоятельности. В январские дни 1905 года ему даже померещилось, что связь с Гапоном приобщила его к самой истории. Однако чуть позже, находясь с ним в Европе, он, уже видя легкомыслие и авантюризм Гапона, однако, довольно долго оставался при нем, не понимая, что это поручение партии спасти Гапона попросту бессмысленно. И наверное, ему какое-то время было даже приятно находиться в лучах славы Гапона. Самостоятельно же разобраться в сути происходивших там событий он не мог. В общем, точно сказал о нем Савинков: «Симпатичный и честный малый, но интеллект его, увы, оставлял желать лучшего...»

Но почему же так боялись Рутенберга лидеры эсеровской партии, которые с таким беспощадным вероломством загоняли его в тупик безнадежности?

Если говорить отдельно об Азефе, тут все понятно — он боялся разоблачения его связи с охранкой, а в это время все упорней были разговоры в партии о том, что вблизи руководства действует предатель. Об этом он узнал не от кого-нибудь, а от своего главного босса в охранке Лопухина, который позже, спасая себя, поможет его разоблаче-

нию, подтвердив подозрения Бурцева. Вот и жена Азефа потом вспомнит, что в это время «ее муж находился в подавленном состоянии, ночью вскрикивал во сне «нет! нет!», точно предчувствуя страшную ложь, которую на него возведут» (она так и не поверила, что ее муж был предателем своих товарищей.— *В. А.*).

Но почему так старательно заталкивали Рутенберга в яму другие лидеры партии? Гершуни в этом не участвовал, он в это время умирал в Цюрихе. Савинков тогда еще не был членом ЦК и подозрительно часто напоминал об этом, в том числе и Рутенбергу, и, возможно, поэтому был к нему помягче.

Создается впечатление, что в это время Савинков предусмотрительно создавал для себя «алиби» непричастности к решению ЦК, санкционировавшему игру Рутенберга с охранкой во имя уничтожения Гапона и Рачковского одновременно. Во всяком случае, спустя почти десять лет он в письме сестре Вере Викторовне Мягковой в Прагу напишет: «В те черные дни (разоблачения Азефа) я иногда ощущал себя попавшим в лепрозорий прокаженных и мне все время хотелось мыть руки формалином...» Вождю партии Чернову тоже не хотелось в публикации Рутенберга прочитать свою фамилию в связи с тем решением ЦК.

Ближайшее после убийства Гапона время Рутенберг впоследствии назовет «самым тяжким во всей его жизни». А перед убийством он в конце концов пришел к выводу (теперь мы знаем — правильному), что Рачковский отказался от встреч с ним, видимо не веря, что игра стоит свеч. Но какое в этой ситуации решение должен был принять он сам? Единственно реальное: совершить суд над Гапоном. Однако, чувствуя над собой железную власть партийной дисциплины, Рутенберг все-таки решает прежде посоветоваться с Азефом.

В течение целого дня он делает все, чтобы уйти от воз-

можной слежки и вечером уже в темноте буквально в последнюю минуту садится в поезд, идущий в Гельсингфорс...

Прибыв в финскую столицу, он с вокзала позвонил Азефу и попросил его встретиться, заверив, что приехал чистым, без хвоста.

— У меня нет времени,— резко ответил тот.— Только если сейчас же.

В сумрачном гостиничном номере, пропахшем табачным духом, Азеф принял его стоя и сразу же спросил совершенно неожиданное:

— Как идет дело с Рачковским?

— Никак не идет,— растерялся Рутенберг.

— А кто же отменил приказ партии? — последовал новый вопрос.

— Я сам решил, что это затея сколь трудная, столь и бесполезная,— ответил Рутенберг открыто раздраженно.

Азеф передернулся всем телом и заговорил повышенным почти до крика голосом:

— Вы проваливаете свое задание и проваливаете других! Вы знаете, что в Петербурге арестованы трое наших ценных товарищей?

— И что же, вы считаете, что их провалил я? — задохнулся Рутенберг.

— Есть, однако, совпадение по времени,— понизил голос Азеф.— Рассказывайте в двух словах, что же вы все-таки делали?

Рутенберг еле справился с собой, начал торопливо и сбивчиво рассказывать. Азеф слушал нетерпеливо, досадливо морщась, будто собирался, не дослушав, уйти. Затем останавливающе приподнял ладонь:

— Хватит, мне ясно все. Дурацкую игру с Рачковским бросить. Вывод у меня пока один — надо покончить с Гапоном, и, надеюсь, вас на это хватит. Но я должен еще подумать. Зайдите сюда вечером. А сейчас у меня больше нет ни минуты.

Уже в вестибюле гостиницы он на ходу кивнул Рутенбергу и ушел.

Дрожа от ярости, Рутенберг подошел к стойке портье и написал Азефу записку, твердо решив, что вечером пойдет не сюда, а на вокзал и уедет в Петербург.

Записка была краткой и очень резкой, иную он написать просто не мог. Он писал, что после состоявшегося утром разговора, в котором он был совершенно непозволительно оскорблен Азефом и тем вызвал у него такое отвращение, что не находит возможным встречаться с ним еще, не в силах себя к этому заставить и возвращается в Петербург, чтобы продолжить там работу по своему разумению и по имевшимся и полученным им ранее партийным указаниям. Как мы знаем, он поступил иначе...

Это свидание Рутенберга с Азефом впоследствии получит свое отражение в публикациях Азефа, с которыми он выступит спустя годы после того, как будет изобличен как полицейский провокатор и скроется в Южной Америке.

«Глубоко и подло оскорбительная записка мне Рутенберга должна была стать предметом строжайшего партийного разговора и осуждения, но этого не произошло — такой кустарь от политики, как Рутенберг, оказался партии дороже меня, отдавшего партии все, что я имел, включая жизнь. Более того, нашлись даже такие негодяи, которые, абсолютно ничего не зная, утверждали, будто я предупредил Рачковского о готовившейся против него акции.

Ну что же, это типично для таких мелкотравчатых русских политиков, как Чернов и К°,— улюлюкать, когда товарищу тяжело. Но я верю в порядочность Рачковского, который в свое время обнародует всю правду».

Но Рачковский не обнародует эту правду, и понятно почему...

Перед нами стенограмма заседаний Верховного революционного трибунала в августе 1922 года, разбиравшегося в преступлениях эсеровской партии.

В речи государственного обвинителя А. В. Луначарского читаем:

«Практика отречения от компрометирующих работников, которые получали определенные поручения от партии социалистов-революционеров, эта практика входила в традиции партии... Центральный комитет партии социалистов-революционеров постановил поручить Рутенбергу притвориться провокатором и, таким образом, обмануть полицию... Савинков по этому поводу говорит, что революционер должен уметь быть не только героем, но и лгать. И вот, когда Рутенбергу было поручено убить Гапона, то Центральный комитет партии социал-революционеров отказался признать впоследствии этот акт, и Рутенберг в журнале «Былое» в 1909 году писал: «Я обвиняю бывший Центральный комитет партии социалистов-революционеров: а) в замалчивании смерти Гапона, совершенной членами партии на основании официально состоявшегося постановления партии; б) во введении в заблуждение публичного мнения сделанным Центральным комитетом заявлением в печати в мае 1906 года, где говорилось, что партия никаких сношений с Гапоном не имела; в) в том, что своим поведением Центральный комитет поставил меня в морально двусмысленное положение по поводу сношений с Рачковским, инициатива которых исходила от Центрального комитета и фактически была одобрена всем его составом, исключая одного голоса (Савинкова)».

А Рутенберг оставался все в том же невыносимом для него положении и продолжал тщетные попытки вырваться из этой трясины.

В Швейцарии он получил временную работу инженера

на фабрике, и у него появились хотя бы средства на жизнь. И он продолжал добиваться выяснения своих отношений с партией.

Он пишет письмо в Центральный комитет:

«Дорогие товарищи! Так как принципиально я не считаю допустимым, чтобы член партии, как частное лицо, предпринимал и решал такие дела, как мое, так как только благодаря этому соображению я воздержался в свое время (в самом начале) от самосуда и обратился к партии, так как я считаю, что партия мне полномочия дала, и только на этом основании я пригласил партийных людей для участия в партийном деле, т. е. одобренном партией, я не могу считать и заявить, что сделал происшедшее по собственному разумению. Суд товарищей должен выяснить, имел ли я полномочия от партии или сознательно злоупотребил доверием партийных работников ко мне, как к представителю партии. Этот суд я требую официально от ЦК при первом удобном случае. Прилагаемое заявление считаю нужным сделать. После свидания с Иваном Николаевичем (Азефом) я убедился, что выяснение дела затянется. Посылаю это заявление ЦК потому, что так или иначе партия окажется прикосновенной к делу: я как член партии, принимая во внимание интересы партии, не могу и не вправе судить, насколько удобна и своевременна эта публикация. Если же ЦК заявит, что ни в какие рассуждения по этому делу вступать не желает, прошу товарищей прочитать прилагаемое заявление, которое будет сдано в печать. ЦК я все-таки прошу при первом удобном случае назначить суд.

П. Рутенберг».

Приложение: Заявление для печати.

«Милостивый государь, господин редактор! Не откажите поместить в вашей газете следующее:

Ввиду того, что в настоящее время не могут быть опубликованы ни подробности по делу об убийстве предателя

Георгия Гапона, ни причины, по которым постановление суда рабочих над ним оставалось до сих пор анонимным, ввиду того, что дело это не может продолжать оставаться анонимным, чтобы не вводить никого в заблуждение, заявляю:

1. Я — то лицо, которому Гапон предложил пойти в провокаторы и выдать за 100 000 рублей правительству боевую организацию, членом которой он меня считал и таковым назвал вице-директору департамента полиции Рачковскому.

2. Я — то лицо, которое привело его к суду рабочих.

3. Подлинность распубликованного постановления суда рабочих подтверждаю своей подписью.

4. Материалы по этому делу находятся в распоряжении Центрального комитета партии С. Р.

Член партии социалистов-революционеров П. Рутенберг».

Копии письма и заявления Рутенберг передал Центральному комитету и ждал ответа. Но его все не было.

В связи с тем, что он не мог бросить с таким трудом полученную работу, Рутенберг поручил жене добиться встречи с кем-нибудь из членов ЦК и узнать об отношении к его заявлению. И его жене удалось пробиться к... Азефу. Его ответ ей выглядел так: для интересов партии можно пожертвовать и честью, и жизнью не только одного, но и двух и десяти членов партии, удивительно, что ваш муж этого не понимает.

Вернувшись после этой встречи, жена сказала ему: «Я уверена, что говорила с провокатором» (этот ее вывод довольно скоро подтвердится). Привезла она и ответ на заявление Рутенберга — в виде постановления ЦК и личного письма В. М. Чернова.

Постановление ЦК:

«В ответ на заявление ваше ЦК заявляет:

1). Ввиду того, что ему не поступало ни с чьей стороны

обвинения против вас, ЦК не считает возможным назначение над вами партийного суда.

2). Вы имеете право требовать передачи инцидента с вами на рассмотрение Совета партии или будущего партийного съезда.

3). ЦК единогласно считает устранение личности Гапона вашим частным предприятием, в котором вы действовали самостоятельно и независимо от решения ЦК.

4). Вполне понимая тягость и неопределенность вашего современного положения, ЦК в первом же № «Листка» сделает соответственное заявление об отношении к вам партии.

5). Если вы решите и при этих условиях публиковать в газетах письмо приблизительно того же характера, как сообщенное ЦК, то имейте в виду, что п. 4 этого письма ЦК считает неподходящим и вынуждающим его на определенные публичные заявления».

Письмо Чернова:

«Дорогой Мартын! Я прочитал ваше письмо, в котором вы требуете от ЦК суда над собою. По этому вопросу мне придется подать и свой голос. Я пользуюсь случаем, чтобы сообщить и непосредственно вам свое мнение по этому вопросу.

«Я считаю,— пишете вы,— что имел полномочия от партии». И мне, прежде всего, хочется протестовать против подобного заявления. Вы, конечно, помните, что именно я первый решительно высказался против вашего предложения — просто устранить одно известное лицо. Я высказался абсолютно против этого предложения, когда еще И. Н. (Азеф) был в колебании и решительно не говорил ни да, ни нет. Я тогда же утверждал, что хотя репутация известного лица сильно подорвана, но все-таки еще есть широкие слои, которые в него верят, что раз приобретенную им славу не так легко вычеркнуть из жизни, что в преступлениях, им совершенных, у нас не может быть для всех бесспорных и очевидных улик — настолько

очевидных, насколько они очевидны для нас, а потому всегда останется для широких масс нечто неразъясненное, нечто такое, на чем может играть правительственная демагогия. Я говорил, что легко может создаться легенда о друге рабочих, убитом революционерами частью из зависти, частью из боязни влияния, пользуясь которым он ведет их по другому пути. А потому здесь нужно нечто более веское.

Такова была, как вы, конечно, помните, позиция, которую я занял с самого начала и которой я не покидал все время наших рассуждений по этому вопросу. И эту точку зрения приняли и оба других товарища — П. (Савинков) и И. (Азеф), которые принимали участие в обсуждении второй комбинации (той, которую вы не исполнили) (речь идет о комбинации, при которой должны быть убиты и Рачковский, и Гапон.— *В. А.*). В конце концов, мы все трое единогласно высказались за вторую комбинацию как единственную соответствующую обстоятельствам и против первой (убить одного Гапона) как совершенно неудовлетворительной. И после некоторых колебаний вы согласились взяться за выполнение именно той, второй комбинации.

Для меня на этом дело кончилось. Я вскоре уехал из СПБ, и для меня было полной неожиданностью известие о событии. Что происходило в промежуток между нашим разговором и событием, какие обстоятельства заставили вас переменить свое решение — не знаю. (Спрашивается, а почему же вы не захотели это узнать и заткнули рот Рутенбергу? — *В. А.*)... Тотчас же после событий один очень крупный литературный деятель (не Горький ли? — *В. А.*) спросил меня о его подкладке, и я с полной уверенностью тотчас же сказал, что дело это не партийное, но что партии известно, по крайней мере, одно лицо из совершивших его и что совершившие имели в своих руках данные о несомненной преступности известной личности... Теперь вы ставите вопрос так: либо вы сознательно злоупотребили

чужим доверием, либо вы были уполномочены ЦК, либо вышло недоразумение, в котором одинаково виноваты и вы, и партия. Несомненно, вышло недоразумение, я отрицаю лишь, что партия в нем хоть чем-нибудь могла быть повинна. О сознательном злоупотреблении с вашей стороны не может быть и речи. В нем вас никто не обвиняет, а потому я и не знаю, какой же может быть здесь суд? Суд может быть по обвинению вас кем-либо: лицами из ЦК или лицами, принимавшими непосредственное участие вместе с вами в самом деле. Но обвинений никто не выставляет.

Я вполне понимаю — да и другие товарищи тоже,— что моральное потрясение, произведенное на вас падением лица, в которое вы верили и которое олицетворяло собою славные исторические дни, вместе с волнением, без которого не могло обойтись решение вычеркнуть это лицо из истории,— были совершенно достаточным основанием для происшедшего недоразумения. И потому-то мы не считаем возможным ни судить, ни казнить вас. Но тем менее права имеете вы теперь заблуждаться относительно характера совершившегося дела. И лично мне во всем этом странно только одно: как вы теперь можете еще думать и утверждать, что вы имели полномочия на то, что произошло.

Для суда, повторяю, по-моему, нет места. Но, конечно, рассмотрение всего инцидента может быть передано ближайшему съезду Совета партии. Но пока мы еще не имеем тех документов, о которых вы сообщаете. По этой причине, а также потому, что в этих документах нет ничего имеющего формальную юридическую силу для публики (вы — участник дела и суда и вы же — автор документов), я считал бы неудобным и невозможным п. 4 вашего письма в редакции газет, если только вы решите публиковать это письмо. Кроме того, имейте в виду, что редакция п. 4 предполагает неминуемо соответственное заявление или разъяснение ЦК, а таковое не может быть без упомина-

ния о том, что это дело не партийное. Таково мое отношение к делу».

Далее в письме шли сколь шаблонные, столь и беглые заявления об уважении и пожелания всего хорошего...

Нельзя не отметить демагогическое мастерство, с каким написано это письмо. С одной стороны, Чернов как бы демонстрирует последовательную принципиальность и отстаивает уже известную нам позицию ЦК по отношению к Рутенбергу. С другой стороны, в письме есть такое, что как бы снимает с Рутенберга всякую вину перед партией. Более того, Чернов подсказывает ему идею считать все происшедшее недоразумением, в котором одинаково не виноваты и партия, и он, и что о сознательном злоупотреблении нет и речи и в нарушении партийной дисциплины Рутенберга никто не обвиняет. А раз так, не может быть и партийного суда над ним. Чернов пишет, что рассмотрение всего инцидента может быть передано ближайшему съезду Совета партии. Но когда в октябре 1906 года Рутенберг окажется там, где как раз в это время открываются заседания Совета партии, его об этом не ставят в известность. Более того, рекомендуют уехать, дабы никого не скомпрометировать своим заявлением. А в утешение ему в номере «Партийных известий» от 26 октября печатается такое заявление: «Ввиду того, что в связи со смертью Гапона некоторые газеты пытались бросить тень на моральную и политическую репутацию члена партии социалистов-революционеров П. Рутенберга, Центральный комитет партии С. Р. заявляет, что личная и политическая честность П. Рутенберга стоит вне всяких сомнений».

Но и это не изменило тяжелого, безвыходного положения Рутенберга. Ему попросту не на что жить, а в руках у него — готовая рукопись воспоминаний об одиссее Гапона, и швейцарское издательство готово срочно издать ее. Рутенберг считает, что за рукопись он один несет ответственность, а читатель должен ему верить, так как его политическая честность официально признана вне всяких

сомнений. Но о его попытках издать рукопись каким-то образом узнает Савинков, который пишет ему 23 января 1908 года: «Подумай, нужно ли это, какую ответственность ты берешь на себя. Если все-таки решишь печатать — прошу, перешли раньше мне».

Чувство партийной дисциплины еще не умерло в Рутенберге, и он посылает Савинкову рукопись, тем более что из всех руководителей партии доверие у него сохранилось только к нему.

11 февраля Савинков отвечает ему: быть посредником между Рутенбергом и ЦК по вопросам издания рукописи он отказывается и предлагает послать рукопись в ЦК и тут же безапелляционно повторяет старую формулу, что приговора ЦК Гапону не было, Рутенбергу поручалось совсем другое — убить Рачковского и Гапона. Савинков словно забыл, что два года назад в Гельсингфорсе он в присутствии Натансона говорил, что рано или поздно дело Гапона придется взять на себя и лучше это сделать сейчас, чем позже...

Даже когда Азеф был разоблачен как агент охранки, отношение членов ЦК к Рутенбергу в общем не изменилось, только теперь они оправдывали это стремлением охранить ЦК от дополнительной неприятности. 3 февраля 1909 года Савинков пишет ему:

«Дорогой Петр! Вчера получил твое письмо. 1) ЦК хотя и скомпрометирован, но существует, и пока он существует, мне кажется, без его разрешения печатать по делу Гапона ничего нельзя... 2) В такой тяжкий для партии момент, как теперь, мне думается, твое сообщение, содержащее упреки в адрес ЦК, даже если бы эти упреки были справедливы, напечатано быть не должно. Оно внесет в уже существующее междоусобие — еще один повод...» И снова то старое, хотя и в иной транскрипции: «Если Азеф обманул в этом деле и тебя и нас (а теперь ясно, почему это было в его интересах), то из этого не следует, что ЦК, как целое, давал санкции устранения Гапона без

Рачковского... Это не исключает возможности обмана тебя Азефом... но тогда виноват Азеф, а не ЦК...»

Загнанный в тупик руководством партии эсеров, отрекшийся от него Рутенберг живет в Европе буквально на птичьих правах: ни своего дома, ни средств к существованию, а главное — без дела, ради которого имело бы смысл переносить все невзгоды. Единственной поддержкой в то время была жена, которая стоически переносила все трудности, верила в него и пыталась, как могла, ему помочь. В Берлине она случайно встретила на улице свою хорошую знакомую по Петербургу. В те времена, когда Рутенберг работал начальником мастерской Путиловского завода, ее муж, тоже инженер, был консультантом в «Электрическом обществе». Еще до 9 января эта семья уехала в Польшу, а теперь они жили в Германии, где муж имел какую-то причастность к действовавшей в Берлине сионистской организации. И вот эта случайная встреча жены Рутенберга стала для него началом ветра, повернувшего его судьбу.

Несколько раньше Рутенберга разыскал эсеровский деятель Бурцев, знаменитый главным образом тем, что он был инициатором разоблачения действовавшего в партии полицейского провокатора Азефа и первым опубликовал разоблачительный материал в издаваемом им журнале «Былое». Ознакомившись с тогда еще неоконченной рукописью воспоминаний Рутенберга, Бурцев принял ее к печати. Так у Рутенберга появились деньги, позволявшие ему не спеша подыскивать себе новое место. И вот тут муж знакомой, которую случайно встретила его жена, уговорил Рутенберга уехать в Италию и дал ему рекомендательное письмо в сионистскую организацию в Риме. Он пришелся там ко двору...

Во время жизни в Италии у него произошел беглый контакт с Горьким. Рутенберг попросил писателя стать посредником в устройстве его рукописи в итальянское издательство, но на этой почве у них случилось недоразу-

мение, виновником которого Рутенберг посчитал Горького, который-де не понял его душевного состояния и отказался ему помочь.

Здесь, мне кажется, самое время остановиться немного на личности Рутенберга. Всмотреться в него — а кто он все-таки такой, этот политический наставник Гапона и его палач? Собрать материал о нем было необычайно трудно. Но так бывает всегда — незначительный человек проходит по жизни, не оставляя яркого или хотя бы четкого отраженья в памяти и сердцах людей, даже его знавших, тем более — в архиве. И несколько неожиданно было обнаружить, что он попал в нашу историческую энциклопедию. Вот что о нем там сообщается.

«Рутенберг, Пинхус (Петр) Моисеевич (1878—1942) — деятель партии эсеров. (Деятель — это сказано чересчур громко, точнее было бы сказать — функционер.— *В. А.*) Род. в Полтаве в купеческой семье. Окончил Петерб. технологич. ин-т. В 1904, будучи нач. мастерской Путиловского з-да, сблизился с Г. А. Гапоном и приобрел на него влияние. После событий 9 янв. 1905 способствовал бегству Гапона за границу, пытался вовлечь его в ряды эсеров. (И здесь необходимо уточнение: идея вовлечения Гапона в партию эсеров принадлежала лидеру партии Чернову; Рутенберг мог быть только исполнителем этой затеи.— *В. А.*) Летом 1905 принимал участие в попытке доставить оружие в Россию на пароходе «Джон Крафтон», к-рая закончилась неудачей, а Р. был задержан. Узнав о связях Гапона с охранкой, Р. вместе с группой рабочих 28 марта 1906 осуществил казнь Гапона в Озерках (под Петербургом) по решению боевой орг-ции. В дальнейшем отошел от эсеров, примкнув к сионистам. Жил в Италии. В 1917 вернулся в Россию, участвовал в создании сионистских организаций. В окт. 1917 Р. был помощником «диктатора» Петрограда Н. М. Кишкина. В 1919 в Одессе сотрудничал с франц. интервентами. В 1922 эмигрировал в Палестину,

где занимал крупные должности в нефтяных и электрич. компаниях. Оставил мемуары: «Дело Гапона» («Былое», 1917, № 2 (24), «Убийство Гапона». Л., 1925».

Справка, хотя бы и энциклопедическая, это только справка, не больше как пунктир человеческой судьбы и притом не очень четкий. И все-таки из нее просматривается человек, о котором хорошо его знавший Борис Савинков сказал, что его беда — неустойчивое мировоззрение, оно у него подобно флюгеру, повороты которого зависят от силы и направления ветра...

Есть о Рутенберге еще и такое свидетельство. Как мы уже знаем, он, будучи инженером, возглавлял мастерскую при Путиловском заводе. Об этом говорится и в справке охранки, датированной 1904 годом. В ней сказано еще, что он член партии социалистов-революционеров и по поручению партии создавал в Петербурге рабочие дружины для защиты от полиции и что он предположительно связан с боевой организацией эсеров.

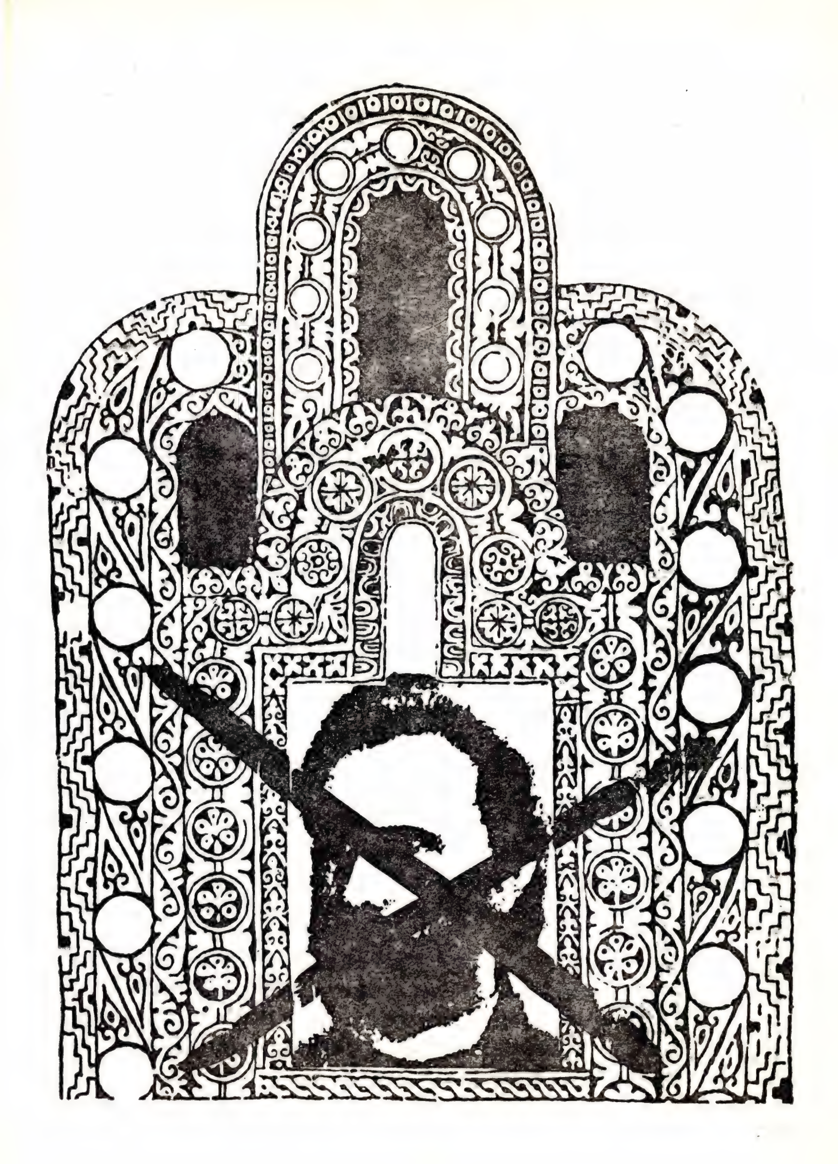
После 9 января охранка занялась более подробным выяснением его личности. Сам он в то время вместе с Гапоном находился уже за границей, и охранка собирала показания о нем людей, вместе с ним работавших, хорошо его знавших. Очевидно, так появилось «собственноручно написанное согласно поручению полиции» показание-отзыв о П. М. Рутенберге инженера-инспектора распорядительной дирекции Путиловского завода М. К. Парадовского. «Рутенберг,— говорится в нем,— долгое время производил на меня впечатление хорошего специалиста, увлеченного только своим непосредственным делом. Исполняя свои инспекторские обязанности, я занимался и мастерской, где он начальствовал, и всегда видел с его стороны деловую помощь и широкую заинтересованность всеми делами завода. И только когда наши деловые отношения переросли в личные и мы даже стали встречаться семьями, я стал замечать, что ему не чужды интересы, уходящие далеко за пределы заводских и даже затрагивающие политику.

Я должен сознаться, что некоторые его рассуждения политического характера мне импонировали и нередко мы уже вдвоем углублялись в рассуждения подобного свойства. Мы были единодушны в критическом отношении к войне с японцами, считая ее для России неудачной и даже позорной, но в этом вопросе мы не сходились по поводу отношения к государю, так как Рутенберг над ним злорадствовал и выражал надежду, что такая война подорвет его авторитет в народе, а я государю сочувствовал и считал, что патриотические чувства народа, оскорбленные японцами, сильнее преходящих критических настроений. В это время Рутенберг сообщил мне, что является членом партии социалистов-революционеров, и раскрыл мне ее программу и тактику. Программа была мне по душе, а в тактике я категорически не принял террор. Несмотря на это, Рутенберг стал уговаривать меня вступить в партию, заверяя меня, что в отношении террора он и сам не является его апологетом. В общем, я вступил в партию и стал посещать собрания группы, действовавшей при Политехническом институте и где Рутенберг был кем-то вроде лидера. По вопросу о терроре в группе были горячие споры, где позицию категорического отрицания террора занимал преподаватель института г. Ковров, в споре с которым Рутенберг выглядел беспомощно, а большинство в группе поддерживали г. Коврова. Я в этих спорах тоже был на его стороне, и кончилось это тем, что мы с ним вместе поставили вопрос о выходе из партии, в скором времени г. Ковров перешел в партию социал-демократов, я же решил быть вне политики и полностью отдаться делам завода. То, что я поступил единственно правильно, особенно ясно я понял в декабрьские дни, когда на заводе стали назревать беспорядки, завершившиеся 9 января кровопролитием. В это время я два или три раза виделся с Рутенбергом и так как я знал, что он близок к Гапону, я, естественно, заговорил с ним об этом, и он поразил меня своим непониманием происходящего и только твердил, что чем

хуже царю, тем лучше всем его верноподданным. Когда я сказал ему, что верноподданные царя — это русский народ и не Гапону быть представителем народа, Рутенберг рассмеялся и сказал: «Гапон — это пешка, и весь вопрос, кто эту пешку двигает». Я спросил: «Не вы ли эту пешку и двигаете?» На что он ответил, что «в данной ситуации его программа-максимум только в том, чтобы елико возможно помешать взяться за эту пешку социал-демократам, так как в этом случае может произойти непоправимое», но что он под этим понимает, он не объяснил. Последний раз я его видел во второй половине дня 8 января, он забежал ко мне на завод, был в очень нервном состоянии и по-дружески посоветовал мне завтра не появляться на заводе, помня, что у меня двое детей. На мой вопрос, а что может завтра произойти, отвечать не стал и только сказал: «Пешка, о которой мы с вами говорили, вышла из повиновения, но, к сожалению, я, как представитель своей партии, не имею права отойти от нее в сторону...» Подводя итог, я могу о Рутенберге сказать с убежденностью, что как самостоятельно действующая политическая фигура он принят во внимание быть не может».

На этом показании-отзыве Парадовского какой-то деятель охранки — скорей всего Рачковский — написал: «Герасимову. Мы были обязаны иметь эту информацию гораздо раньше, обращаю на это ваше внимание».

И наконец, еще один документ к характеристике Рутенберга — его заявление на имя министра внутренних дел, написанное в тюрьме «Кресты» в августе 1905 года: «...я был арестован немедля по моему возвращению в Петербург из-за границы и все дальнейшее время подвергался непрерывным допросам в департаменте полиции, но вот уже более недели меня не допрашивают, ибо убедились в непреложной истине, что к посылке в Россию парохода «Крафтон» я не имел отношения и никакой моей вины перед властью тут нет. Более того, сразу после ареста я всячески содействовал следствию прояснить



ситуацию, связанную с пресловутым пароходом «Джон Крафтон», в чем легко убедиться по материалам следствия. В связи с этим прошу ускорить мое освобождение из тюрьмы». И спустя несколько дней он был освобожден.

Любопытна и мне кажется точной характеристика Рутенберга, которую дал ему Борис Савинков десятилетие спустя после описываемых здесь событий в письме сестре В. В. Мягковой:

«Отвечаю на твой вопрос: кто такой Рутенберг, с которым связывают убийство Гапона, а книгу которого об этом, как ты пишешь, называют сенсационной? Я имел возможность лично убедиться, что революция — это такой вселенский водоворот, когда со дна жизни на поверхность поднимается всякий человеческий мусор, а потом в силу далеко не объективных обстоятельств какие-то случайные люди или сами объявляют себя или кто-то неосведомленный в истине объявляет их участниками революции. Русская революция в этом смысле не исключение, и здесь, может быть, наиболее типичным и ярким примером является Георгий Гапон и все его окружение, включая сюда и Рутенберга, который довольно долгое время был возле Гапона как его тень, ибо именно ему наш блистательный вождь Чернов поручил пасти этого попа, чтобы иметь возможность его громкое имя вплести в терновый венок славы нашей многострадальной партии. Рутенберг как мог, как умел это делал, но ничего хорошего из этого не получилось, а когда он убедился, что Гапон вульгарный негодяй, он его прикончил, будучи убежден, что совершает благое дело. Но он, бедняга, не знал ни нашего блицмейстера Чернова, ни положения дел в нашей партии и попал в тяжкую для себя историю, описать которую в этом кратком письме невозможно, но в общем дело было в том, что Чернов отрекся и от убийства Гапона и от его убийцы,

открыв Азефу возможность расправиться с Рутенбергом по его полицейскому усмотрению. Я пытался как-то помочь Рутенбергу, который просто не понимал происходящего с ним, но для этого у меня не было достаточно солидного положения в партии, я не был даже членом ЦК.

Между тем сам по себе Рутенберг в общем был симпатичный и честный малый. Но интеллект его, увы, оставлял желать лучшего. В партии у него было амплуа человека для поручений невысокого порядка и в этих пределах на него можно было положиться, если при этом не забывать о его субъективных возможностях. Вот Чернов необдуманно поручил ему блюсти Гапона, и он его блюл, блюл, но сделать из него позитивную политическую фигуру, как рассчитывал Чернов, было ему не по силам. Разобраться, однако, в его черной подлости он смог, но тут была такая ситуация, когда не разобраться в этом мог только полный дебил.

Теперь несколько слов о его, как ты выражаешься, сенсационной книжке «Убийство Гапона». Ее сенсационность примитивна. А по сути своей, по мысли она примитивна уже потому, что вся написана через «я»: я пришел, я увидел, я сказал и т. п. Но ни разу «я подумал». К выходу этой книжки я имел некое отношение: читал ее в рукописи и пытался внести в нее исправления в том смысле, чтобы в ней были не только Гапон с Рутенбергом, а хоть немного серьезной истории, в рамках которой все происходило. Рутенберг на такие исправления не шел и, как я обнаружил, только потому, что хода истории он-то не знал, но был убежден, что написанное им уже и есть история, и не понимал, что в рукописи только история одного происшествия и то без всякой попытки его анализа исторического или политического. Словом, он не мог сделать того, что не мог и не умел сделать. Так что мне непонятно, в чем сенсационность этой книжки?

Мне остается только сказать о мере его партийности и его политических убеждений. В этом Рутенберг — клас-

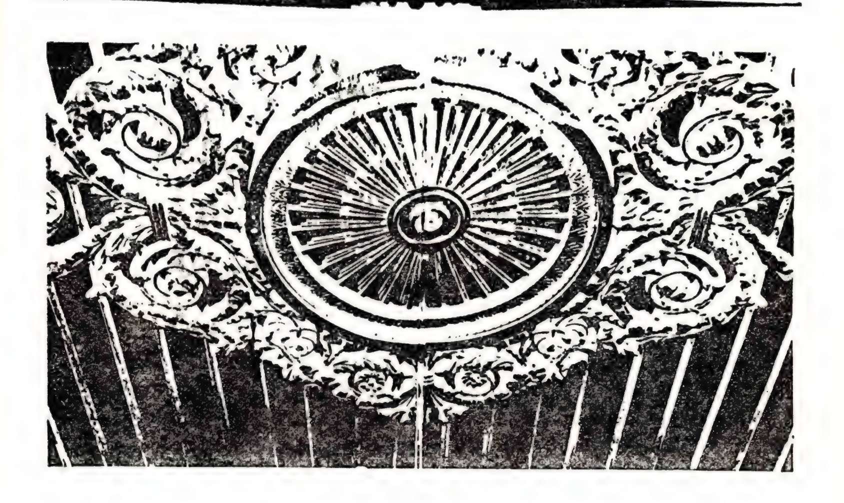
сическая аморфность, а сказать злее — беспринципность. Типичный флюгер, зависящий от направления ветра. Достаточно сказать, что он, в конце концов сильно обидясь на нашу и его партию, быстренько переметнулся — к кому бы ты думала? В Италию! К сионистам! Вдруг, обнаружив в себе не столько социалиста-революционера, а еврея, он сменил свое хоть какое-то участие в революции на возможность пользоваться благами от богатого и дружного еврейства, конечно же, противостоящего всякой революции, но в последнем он, вероятно, опять-таки не мог разобраться. Да поможет ему судьба разобраться в этом хоть когда-нибудь!»

По поводу этой последней надежды Савинкова сейчас можно сказать твердо — никогда Рутенберг в этом не разберется и даже вряд ли будет к этому стремиться.

В Италии под крылышком сионистов он спокойно прожил до 1917 года, но, как только узнал о Февральской революции, немедля бросился в Россию; ему, возможно, померещилась там большая и громкая карьера...

Но любопытно, что туда он взял с собой от швейцарского сионистского центра рекомендательное письмо к известному петербургскому банкиру, финансовому аферисту Рубинштейну и еще одно рекомендательное письмо — на Украину. Он уже убедился в солидности рекомендаций этой организации.

IX



В Петрограде Рутенберг, сняв номер в дешевой гостинице на Лиговке, отправился к Рубинштейну, который принял его в здании банка «Юнгер и К°». Заметив, что Рутенберг оглядывает простецкую обстановку кабинета, Рубинштейн тоже окинул ее взглядом и улыбнулся всем своим круглым налитым лицом:

— Вы же, господа революционеры, уверены, что банкиры сидят за золочеными столиками, как цари. О нет! Тогда бы мы не были банкирами и богатыми людьми,— его черные глаза весело блестели.— Ну что у вас ко мне? Из телефонного разговора я что-то не понял. О себе можете не рассказывать, я о вас уже имею полную справку от человека, который вас хорошо знает.

Рутенберг вопросительно поднял свои густые брови.

— Справку мне дал Манасевич-Мануйлов. Вы скажете — нашли кому довериться? — Рубинштейн кивнул.— Да, типчик нечистый, но, знаете ли, он, пожалуй, единственный уцелевший из свергнутого мира, а в том мире он знал все, можете мне поверить. Абсолютно все! И сейчас он у меня как штатный энциклопедический справочник.

— Все-таки я просил бы вас ознакомиться вот с этим письмом,— сказал Рутенберг и протянул ему через стол конверт.

Рубинштейн глянул конверт на просвет, надорвал кромку, вынул письмо и буквально за несколько секунд прочитал его и отложил в сторону. Рассмеялся:

— А Манасевич-то, оказывается, знает о вас далеко не все. Хорошо, но что я могу для вас сделать?

— Как-то помочь мне здесь пристроиться,— тихо ответил Рутенберг.

— Дорогой мой, для какой бы то ни было протекции я не гожусь. Более того, я сейчас подумал, что мне ваша протекция эсера с положением могла бы пригодиться,— он тихо посмеялся, будто протяжно произнося букву «эс».— Революция, дорогой мой, это когда все наоборот. Однако советом я помочь вам обязан.— Он глянул на швейцарское письмо.— Этими делами заниматься не стоит, вас могут не понять и счесть за агента еврейской буржуазии, а здесь сейчас всякая буржуазия подлежит остракизму, а проще — уничтожению. В Петрограде все люди этого направления ушли в подполье, и вы попросту никого стоящего и не найдете. Да и зачем вам это, если один ваш главный эсер Чернов в правительстве Керенского занимает пост министра земледелия, а другой, Савинков, и того больше — управляет военным министерством. И вообще, эсеры заняли здесь свое, кажется, прочное место. Не теряя времени, идите-ка в этом направлении, и весьма возможно, что я как-нибудь явлюсь к вам за помощью, с-с-с,— посмеялся Рубинштейн и, точно смахнув с лица улыбку, спросил: — Вы что же, примчались сюда из Италии? И не-

ОТРЕЧЕНІЕ ОТЪ ПРЕСТОЛА.

Депутатъ Карауловъ явился въ Думу и сообщилъ, что государь Николай II отрекся отъ Престола въ пользу Михаила Александровича.



бось боялись опоздать к революции? Но ваши лидеры, как видите, вас опередили, но это сейчас вам на пользу, ибо всякий хорошо устроившийся в жизни склонен помогать другим. В общем, мой совет вам абсолютно точный. Ну, а как там в Италии? В рухнувшее время я там парочку раз побывал на курортах. Райское место! Теперь вряд ли его когда-нибудь увижу. Впору голову бы не потерять, с-с-с-с-с-с-с,— отсмеявшись, Рубинштейн взял швейцарское письмо, энергично скомкал его в кулаке, положил в пепельницу и поджег, наблюдая, как огонь сжирает бумагу, и потом сказал: — Так будет лучше. И больше у меня времени, господин-товарищ Рутенберг, нет,— он встал и протянул коротконалую руку.— До свидания, синьор Рутенберг, и когда я приду к вам за помощью, отблагодарите меня за полезный совет, который я сейчас дал вам...

В тот же день Рутенберг пробился на прием к Чернову. Кабинет у того был не чета банкирскому — одним словом, министерский. Чернов сидел за огромным столом, и Рутенберг еле сдержал улыбку, глядя на его напряженно важное лицо.

— С чем пожаловали, Петр Моисеевич? — холодно и почти насмешливо спросил Чернов, окидывая взглядом свой заваленный бумагами стол, давая понять, что он немыслимо занят.

— Я поспешил приехать сюда из Италии, где имел хорошую работу и приличный заработок. Я торопился приблизиться к не чужой мне русской революции, вы должны это понять. И вы можете помочь мне найти здесь какое-то место?

— Здесь, у меня в министерстве? — удивился Чернов.— Извините, но, право же, смешно: Рутенберг и русское земледелие. Я-то знаю вас только как мастера разведения всяческой склоки,— Чернов откинулся на спинку кресла и, поглаживая бородку, глядел на Рутенберга, по-видимому, упиваясь этой минутой мести человеку, который не так уж давно в одной из своих публикаций в евро-

пейской печати назвал его мастером легкодумья и, кроме того, всячески очернил его в своей книжке.

Рутенберг помолчал и сказал сквозь стиснутые зубы:

— Я надеялся, что вы, Виктор Михайлович, в этом своем положении окажетесь выше преходящих ситуаций прошлого.

— Нет, Петр Моисеевич, никакое положение не может лишить меня памяти.

Рутенберг кивнул:

— Да. Известно, злопамятность — черта устойчивая...

Все это время он стоял, а сейчас круто повернулся и вышел из кабинета, так и не произнеся фразы, вертевшейся у него на языке: что ему жаль революцию, избравшую министром такого человека. Он произнес ее про себя, уже спускаясь по лестнице...

На другой день он явился к Савинкову и был уверен, что тот примет его совсем по-другому. Рутенберг помнил, что только Савинков, которого он всегда чтил, в то тяжкое время после убийства Гапона относился к нему по-человечески.

И действительно, как только он вошел в кабинет Савинкова, тот встал из-за стола, быстро прошел к нему навстречу и даже бегло обнял за плечи:

— Боже мой! Многострадальный Петр! Глазам своим не верю! Садитесь, садитесь,— он повел его к креслу перед своим столом и усадил в него.— Слушаю вас, Петр! — удлиненные узкие глаза Савинкова, казалось, излучали доброту и участие.

— Мне, Борис Викторович, нужна ваша помощь както устроиться. Я вчера побывал у Виктора Михайловича, он меня только что не выгнал.

— Удивляюсь, что вы к нему пошли,— хмуро сказал Савинков.— А зачем вы ходили еще и к экстражулику Рубинштейну? Удивлены, откуда я знаю? Но ведь в моих руках разведка, которая, как вы убедились, работает неплохо.

— К Рубинштейну у меня было письмо от швейцарского сионистского центра,— Рутенберг решил, от греха подальше, говорить всю правду.

— Ах, да! — воскликнул Савинков.— Я же запамятовал, что вы в Италии резвились именно на этом поприще,— лицо у него заострилось, стало серьезным и точно окаменело.— Здесь об этом зове своей крови надо забыть. И не к месту это, и не ко времени. Но что же мне с вами делать? Мое министерство для вас в такой же степени непригодно, как и земледелия, и тут Чернов, при всей своей отвратительности, прав, сами подумайте.

Рутенберг подумал только о том, что Савинкову уже известен и ответ Чернова на его просьбу о помощи.

— Вы с жильем устроились?

— Снял номер в гостинице на Лиговке.

— Деньги у вас есть?

— Немного есть.

— Если сядете на мель в этом отношении, Рубинштейн вам поможет, можете смело к нему обратиться. А мы с вами поступим так... Тут назревает одно очень серьезное дело, и мне будут нужны надежные люди. Позванивайте по утрам. Я вас не оставлю.

В Петрограде стояла немыслимая жара, и окно было распахнуто на Дворцовую площадь. Савинков прошел к окну и подозвал к себе Рутенберга, положил ему руку на плечо.

— Невероятно, Петр! Мы с вами в эпицентре революции, это мое окно смотрит в окна Зимнего дворца. Девятого января вас с Гапоном расстреливали не здесь ли?

— Нет, в другом месте,— негромко ответил Рутенберг, и в самом деле волнуясь от того воспоминания и оттого, что он стоит здесь вместе с Савинковым, а перед ними — Зимний дворец.

— Вы сейчас куда? — Савинков глянул на часы в углу кабинета.

— Пожалуй, в гостиницу, надо все это как-то пережить.

— А мне нужно ехать по делу, я вас подвезу.

Они ехали в громадном открытом автомобиле. Савинков приказал шоферу остановиться в квартале от гостиницы, пояснил:

— Не надо, Петр, лишний раз дразнить гусей...

Вздымая пыль, автомобиль умчался.

После этого Рутенберг каждое утро звонил Савинкову и слышал от него неизменную фразу:

— Еще рановато, Петр. Звоните...

В это время Савинков готовил контрреволюционный поход на Питер генерала Корнилова и заранее решил, что Рутенберг ему пригодится именно в этом деле.

Дожидаясь своего часа, Рутенберг пытался сам разобраться в происходящих в столице событиях. По всему чувствовалось тревожное ожидание каких-то решительных перемен, но что это за перемены, Рутенберг понять не мог.

В первых числах июля, когда он утром привычно позвонил Савинкову, то услышал его приказ:

— Весь день будьте на улицах поближе к центру, наблюдайте происходящее, а под вечер явитесь ко мне с докладом.

В этот день Рутенберг наблюдал знаменитую организованную большевиками мирную демонстрацию в поддержку революции. То, что он наблюдал, так было похоже на 9 января, что он волновался до дрожи. На вполне мирную демонстрацию напали юнкера, воинские части, казаки. Пролилась кровь.

Под вечер Рутенберг докладывал о своих наблюдениях Савинкову и по ходу доклада не мог не вспомнить 9 января. Савинков взбеленился:

— Что за чушь вы несете? Какая тут может быть аналогия! Тогда царь расстрелял рабочих, а сегодня мы, пока единственная революционная власть, защитили революцию от большевистского бунта и анархии! Мне огорчительно

обнаружить, что вы ничего не поняли. Но ладно, грядет нечто другое и абсолютно радикальное, и я надеюсь, вы тогда во всем разберетесь, поскольку сами будете в этом участвовать.

— Борис Викторович, мне разобраться очень трудно,— искренне признался Рутенберг.

Савинков пристально посмотрел на него и сказал примирительно:

— Да, я понимаю... Хорошо, коротко поясню главное. Сейчас здесь царит как бы двоевластие. Керенский не может шагу шагнуть без оглядки на Советы, а там большевики после приезда Ленина буквально распоясались. Мы поставили перед собой первоочередную задачу: ликвидировать это двоевластие и заявить о своей единственной в данный момент революционной силе. И это скоро будет сделано силой армии, преданной революции, во главе с генералом Корниловым. Сейчас я познакомлю вас с полковником Мартыновым, отныне вы поступаете в его распоряжение.

Полковник Мартынов понравился Рутенбергу — энергичный, немногословный, но, видно, хорошо во всем осведомленный. От него Рутенберг все-таки уяснил, что за событие грядет и что нужно будет делать ему самому.

Оказалось, ничего особенно сложного. Войска Корнилова двинутся на Питер, чтобы покончить с большевиками. Все в общем ясно и четко по-военному подготовлено. Но один частный вопрос еще не решен — кто станет военным диктатором в самом Петрограде? Сложность вопроса начиналась с того, что диктатором должен быть человек не военный. Корнилов хотел на этом посту увидеть Савинкова, к этому вроде склонялся и Керенский, но для монархически настроенных генералов фигура Савинкова была одиозной и даже неприемлемой, поскольку он был террористом антимонархического направления. А вскоре и Керенский потерял доверие к Савинкову. В этой атмосфере несогласия возникла, так сказать, примирительная канди-

датура деятеля кадетской партии Н. М. Кишкина, и вот к этому Кишкину Рутенберг и был пристроен личным адъютантом. До него эту должность исполнял эсер Флегонт Клепиков, и именно он оформлял назначение Рутенберга. Впоследствии Клепиков вспоминал, как Савинков, давая ему это поручение, сказал: «Рутенберг может пригодиться, во всяком случае, я могу рассчитывать на его верность мне лично. У него есть один недостаток — он своеобразная тень Гапона, и будет лучше об этом факте его биографии не вспоминать...»

Перед началом похода Рутенберга вместе с полковником Мартыновым включили в штаты корниловского штаба, и они двинулись в столицу. Что конкретно делал там Рутенберг — адъютант будущего диктатора Петрограда — непонятно.

Как известно, революционный пролетариат Питера под руководством большевиков сорвал заговор Корнилова.

Снова оставшийся не у дел Рутенберг ринулся к Савинкову, но увидаться с ним ему удалось только за неделю до Октября. Как вспоминал потом Рутенберг, Савинков в те дни был растерян и раздражен до крайности, разговаривал с ним грубо.

— Большевистский лозунг «Вся власть Советам!» — говорил он, вышагивая по кабинету,— осуществляется, и остановить это уже никто не может. Лично я собрался на юг, где осели наиболее крупные царские генералы. Они теперь — единственная реальная сила. Советую и вам срочно подаваться на юг. А там поищите меня. Школа для политических занятий с Рутенбергом распущена на каникулы, извольте постигать предмет сами.

Как выполнил это указание Рутенберг, точно установить невозможно. По одним данным, он еще в течение года оставался в Петрограде и некоторое время даже работал на Путиловском заводе. Все же в конце концов он очутился на юге, и след его обнаруживается в Одессе в то время, когда город оказался под властью французских ин-

тервентов. Там разыгрывался дикий шабаш борьбы за власть. Генерал Деникин потом назовет это время «политической круговертью одесского омута».

Энциклопедическая справка о том, что Рутенберг сотрудничал с французскими интервентами, подтверждается. Однако в чем выражалось его сотрудничество, точно выяснить невозможно. В «политической круговерти» активное участие принимал известный адвокат Маргулис, которого тот же Деникин в своих воспоминаниях называет «политическим маклером от крупной еврейской буржуазии».

Мы знаем, что Рутенберг, возвращаясь в Россию, запасся двумя рекомендательными письмами от швейцарского сионистского центра. Одно он вручил в Петрограде банкиру Рубинштейну, второе письмо было на Украину, очень может быть, что к Маргулису. Так или иначе, Рутенберг оказался именно возле него, а тот был близок к командованию французских интервентов. В опубликованных дневниках Маргулиса многие страницы начинались с фразы: «Сегодня с утра у полковника Фреденбера» (главный представитель французов по всем городским делам). И на одной из страниц дневника мы читаем о том, как он (Маргулис) «в этот день придя к полковнику Фреденберу, застал у него среди других и эсера Рутенберга». В скобках уточнение: «тот, который участвовал в убийстве Гапона».

Между прочим, вскоре после опубликования дневников Маргулиса появились воспоминания еще одного «героя» «одесской круговерти» — Баркевича, который резко критиковал эти дневники, обвиняя их автора в неточности и необъективности оценок участников событий.

Нас, однако, не интересуют подробности о том, что не поделили Баркевич с Маргулисом, зато нам интересно, что и в воспоминаниях Баркевича тоже появляется Рутенберг, который стал для него тем человеком, от которого он впервые узнал, что интервенты начали покидать Одессу. И по воспоминаниям Баркевича тоже понятно, что



Рутенберг был не последней фигурой в политической круговерти. Еще по одному источнику, он был официальным переводчиком при французском командовании и консультантом по местной обстановке. И еще — будто бы он отвечал за снабжение Одессы продовольствием. А дальнейшее уточнение не вызывается необходимостью, важно, что и в то время Рутенберг подтвердил свою способность поворачиваться, как флюгер,— по возникшему ветру.

Однако он не бежал, как Маргулис, вместе с интервентами за границу, а остался в Одессе, где вопрос о власти решали уже не Маргулис совместно с французами из Бордо, а Красная Армия и большевики. Скандально известный белогвардейский журналист Петр Пильский в воспоминаниях об Одессе того времени, опубликованных в Париже, в милюковских «Последних новостях», писал: «Кто только не воображал тогда, что держит в руках нашу Одессу-маму! И вальяжный адвокат Маргулис, который за преферансом в кругу друзей на еврейско-французском языке болтал о какой-то «порядочной» власти большевиков без чека! И бандит Мишка-Япончик, обещавший городу тихую анархию! И французские полковники, которые больше, чем большевиков, боялись собственных матросов, больше, чем русских,— большевиков и украинских незаможников! Был даже убийца Гапона эсер Рутенберг, тоже о чем-то хлопотавший и получавший паек по списку № 1! Наконец, были и такие российские тузы, как Деникин, и Шульгин, и Гучков, и Родзянко, наверно, решившие, что судьба всей России определится в Одессе! Был даже знаменитый впоследствии английский шпион, одессит по рождению Сидней Рейли, очевидно, на всякий случай приглядывавший за одесской вакханалией мудрым британским оком! Господи, кого там только не было! Всех их в одночасье степным сквозняком, как пыль, выдуло из города...»

Но вот Рутенберга как раз и не выдуло, и он оставался в Одессе до 1922 года, работал там инженером-электри-

ком в порту и занимался мелкой коммерцией. А в 1922 году на греческом пароходе нелегально перебрался в Палестину и там сделал крупную карьеру в нефтяной и электрической промышленности, стал акционером нескольких компаний.

Очевидно, это был последний поворот флюгера. В это время он писал эсеру-боевику Карповичу: «Я прочно обосновался здесь в новой своей жизни, когда я уверенно знаю, что умру не от случайной пули, а спокойно, в собственной постели, как положено умирать почтенным людям, занятым серьезными делами, а не болтовней». Так он и прожил почти до шестидесяти пяти лет.

Такова судьба Рутенберга, бывшего тенью Гапона. Сам Гапон вошел в историю с черного хода. И тень его — тоже...

Лет восемь назад, когда я находился в Ленинграде и работал в архиве по Гапону, мне в гостиницу позвонил незнакомый человек, представившийся ленинградским фотолюбителем Аксеновым.

— Я узнал, что вы интересуетесь Гапоном, и хочу подарить вам одну любопытную фотографию могилы Гапона, сделанную моим отцом много лет назад.

На другой день портье гостиницы вручил мне пакет, в котором была фотография, видимо, сделанная при плохом освещении, очень бледная — текст надписи я еле разобрал с помощью техотдела милиции.

Фотография изображала могилу, на которую была положена доска с такой надписью: «Ты жил только для себя и потому нет тропинки к твоей могиле...»

Закрыта последняя страница... Книга прочитана. И теперь вы знаете, кто такой был он — священник Гапон, вошедший в нашу историю с черного хода, чье имя стало в один ряд с именем русского царя и высоких царских сановников.

Старый большевик, соратник Ленина, Иван Иванович Скворцов-Степанов говорил студентам Института народов Востока: «...в разваливавшейся по всем швам монархической России должен был появиться какой-то проповедник веры в царя-батюшку, и он, этот проповедник, появился. Однако то, что он делал в своих рабочих обществах, объективно было его верным служением классу богатых и его кумиру — русскому монарху».

След Гапона в архивах был нечетким, расплывчатым, вырисовывавшийся облик — часто противоречивым. Понять его автору помогла фигура политического наставника Гапона — эсера Рутенберга, и потому в книге ему уделено немалое внимание. Кроме всего, фигура Рутенберга позволяет нам дать еще один штрих к портрету эсеровской партии, партии без четкой политической программы, руководимой мелкотравчатыми политиками вроде Чернова. Эта партия начала с эффектного террора против царских сатрапов, убив великого князя Сергея Романова, министра внутренних дел Плеве, затем публично отреклась от террора и занялась экспроприацией банков. Чернов и компания цеплялись за Гапона, надеясь поднять свои политические акции, использовать его популярность в народе. Такова подоплека миссии Рутенберга при Гапоне, и это представляет немалый интерес.

...Гапон исчез в тумане времени, даже могилу его теперь не отыскать в Ленинграде — да и кому она нужна! Но все-таки он был, он сыграл определенную роль, и важно знать, что это был за человек. Своей книгой я попытался ответить на этот вопрос. Ведь для того, чтобы увереннее идти вперед, надо знать больше правды о прошлом, о всегда живой истории Революции. Всю правду.